Багратион

Сергей Николаевич Голубов

SHOUT
SHARE
IT

- Голубов Сергей Николаевич

Голубов Сергей Николаевич Багратион

Голубов Сергей Николаевич
Багратион
{1}Так обозначены ссылки на примечания. Примечания в конце текста книги.
Содержание
Главы 1-10
Главы 11-20
Главы 21-30
Главы 31-44
Эпилог
Примечания
О Росс! О доблестный народ!
Единственный, великодушный!
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый.
По сердцу - прост, по чувству - добр,
Ты в счастье тих, в несчастье - бодр.
Р. Державин.
Легкие победы не льстят сердца русского.
Суворов
Глава первая
Солнце спускалось за горизонт, красное, как перегоревший костер. Лагерь был ярко освещен его косыми лучами. Под холмами, на которых расположились войска четвертого итальянского корпуса вице-короля Евгения, тихо струились воды широкого Немана. Река текла в уровень с берегами по гладкому раскату золотых полей, коричневых пашен и зеленых лугов. Но сейчас все это было розовое: и лагерь на холмах, и Неман, и его берега.

Лейтенант гвардейского легкоконного полка Массимо Батталья сидел на пеньке возле домика, в котором помещались вице-король и генерал Жюно, герцог д'Абрантес, командир восьмого Вестфальского корпуса, подходившего следом за итальянцами к Неману для переправы. Адъютантская шляпа молодого офицера съехала на ухо. На красивом черноглазом лице выражалось печальное недоумение. Он только что прочитал - вероятно, в двадцатый раз - письмо старшего брата Сильвио, жившего в России. Письмо было получено им еще в Милане, много месяцев тому назад. Но если бы не мешали темноватые

отсветы красного вечера, Массимо и еще читал бы и перечитывал это странное письмо. Зачем понадобилось лейтенанту брать его с собой в далекий северный поход? Черт знает зачем. Ведь и без того он прекрасно помнил каждую строчку на любом из множества листков, составлявших обширное послание Сильвио. В каждой строчке горячо дышала огромная чужая жизнь. Это она втянула Сильвио в свой могучий ход. Итак, он служит генералу Багратиону. А генерал Багратион России. Что же такое Россия? Письмо приоткрывало над ее дивными просторами таинственный покров необозримости. Но от этого тайна России не разгадывалась. Только в грозном смысле загадки Массимо уже не сомневался. Грудь его больно сжималась от глухой тоски. Страшное письмо! Лейтенант бережно уложил его на лацкан мундира и, вздохнув, прошептал:

- Пусть меня повесят, словно кошку, на солдатскую мишень, если... Одно из двух: или брат Сильвио стал умен, как Аристотель, а я глуп, как пучок редиски, или... Массимо Батталья глубоко задумался. Между тем подступала ночь. Заря разлилась по прозрачному небу. Собственно, ночи не было, а был какой-то бледный сумрак, настолько слабый, что очертания предметов нисколько в нем не менялись, лишь самые предметы казались слегка колеблющимися. Этому способствовал отчасти и дым бесчисленных костров, носившийся над лагерем тонкой пеленой.

Множество понтонных повозок катилось к реке. Необычайно рослые лошади, впряженные тремя парами в каждую повозку, развозили инженерный груз по тем местам, где должны были перекинуться через Неман мосты. И мосты уже перекидывались. Казалось, будто они отрываются от реки, плывут над ней в тревожной подвижности. И это производило неприятное впечатление на людей, настороженно следивших за ходом грозной операции. Всю ночь шли к Неману войска - пешие и конные, артиллерия и обозы. Все это двигалось стройной массой, наполняя воздух глухим и разнообразным гулом, таким же пестрым и воинственно-красивым, как и мундиры этих войск, их кони, знамена и оружие.

Солнце начало было всходить ярко, и величественная картина ожила, засверкав переливчатыми цветами радуги. Но это продолжалось недолго. Вскоре золотое поле, лежавшее по ту сторону реки и густо залитое синими васильками, потонуло в тумане. Потом и на лагерь тоже лег туман, едкий, как дым, от которого хотелось кашлять. Сухая земля притягивала к себе ночные тучи, чтобы высосать из них влагу. И водяная пыль впитывалась в землю медленно и прочно. Постепенно туман редел. Он поднимался все выше и выше - до тех пор, пока солнце

снова не заиграло над лагерем. Однако легкие белые облака, похожие на клочки аккуратно расчесанной шерсти, еще висели на небе. "Как изменчива сегодня погода, - подумал Массимо Батталья, - будто она примеряет наряд 66 за нарядом, не зная, в каком из них следует встретить гостей". И едва он подумал это, как ослепительный блеск утра опять погас. Белые облака растянулись в паутину и заслонили солнце.. Некоторое время его лучам удавалось пробиваться где-то сбоку, и они сыпались вниз, как золотые червонцы из дырявого мешка. К полудню и это кончилось. Сплошная серая туча клубилась над лагерем. Неподвижный воздух был мутен и тяжел.

Над холмами и лесами глухо ревели военные марши. Вице-король Евгений и Жюно стояли с подзорными трубами у глаз. Переправа началась. Понтонные мосты с легкостью огромных пробок прыгали под непрерывным потоком шагавших по ним войск. Тускло поблескивали над водой серебряные трубы гвардейской дивизии, медленно колыхались огненно-красные значки улан, туго натянутыми нитями чернели ровные ряды гренадерских шапок, грохотали зарядные ящики и лафеты пушек. Солдаты были приодеты по-праздничному. Вид у них был отважный и бодрый.

- Взгляните, герцог, - с живостью обратился вице-король к Жюно, - как это прекрасно! И как похоже на воскресный парад перед Тюильрийским дворцом в Париже в присутствии императора. А?

Суровое солдатское лицо Жюно сморщилось. Да, это было похоже на парад в Париже, но... черт побери! Чего-то все-таки не хватало. Чего же? Ага! Жюно нахмурился и сказал:

- Солдаты невеселы, ваше высочество... И нет песен!

Действительно, все то, из чего создавалась военная гармония этого дня, давало о себе знать: колеса орудий и фургонов стучали, кони ржали, начальники командовали, обозные кричали. Но молчала душа... Не было слышно буйных восклицаний восторга и радости. Двадцать пять тысяч итальянцев гвардия и армейская дивизия генерала Пино - переправлялись через Неман в удивительном порядке. Однако зоркий взгляд Жюно не поддался очарованию, и герцог мрачно подтвердил наблюдение своего опытного уха:

- Заставить их петь сейчас так же трудно, как посадить сотню дьяволов на острие одной иглы.

К кучке штабных офицеров подошел любимец армии, вице-короля и самого императора - блестящий полковник Гильемино, известный храбрец и весельчак. Он протянул вперед ладонь правой руки и щелкнул по ней пальцем левой.

- Когда я смотрю на то, что передо мной совершается, господа, у меня такое чувство, как будто история зажата в моем кулаке. Клянусь святым духом - вот она, история, здесь! Его высочество принц Евгений только что получил сведения: первый корпус - Даву, второй - Удино, третий - Нея, король Мюрат с кавалерией Нансути и Монбрена, гвардия - Мортье, Лефевр, Бессьер, наконец, император с главной квартирой - все без всяких затруднений переправились утром двадцать четвертого{1} через Неман у Ковно, а десятый корпус Макдональда - под Тильзитом...

Офицеры с жадностью слушали новости.

- Удино опрокинул русский арьергард под Вилькомиром, король Жером выбил казаков Платона из Гродна. Нет сомнений, что император также вышвырнул из Вильны хвост армии генерала Барклая и занял город. Он будет ждать, пока подтянутся обозы и переправимся мы - правый фланг великой армии...

- Клянусь парусом со шлюпки святого Петра, - воскликнул бравый капитан Дельфанте, - императору недолго придется ждать! Завтра утром мы все будем на русском берегу...

- Еще бы! - подхватил Гильемино. - Да и вообще эта охота на русского медведя кончится, не позже чем через месяц, дележом его шкуры. Пусть мне покажет шиш святой Амвросий Медиоланский, если будет не так...

Сказав это, он захохотал. За ним - Дельфанте и другие. Посыпались шутки, удачные и неудачные, но все, как одна, грубовато-веселые.

- Батталья... - вытирая слезы душистым платочком, продолжал дурачиться полковник, - вы отличный офицер! Ха-ха-ха! Но почему, дружище, у вас сегодня такой вид, будто... ха-ха-ха!.. будто вы обожрались ячменем?{2} А? Ха-ха-ха!..

Массимо поднял голову. Он никак не мог сладить с собой. Его положительно одолевали мрачные мысли, вызванные письмом брата. На душе у лейтенанта было смутно, и лицо его в самом деле поражало унылостью.

- Не надо смеяться, полковник! - резко ответил он Гильемино.

- Почему?

- Сегодня великий день!

- Что это? Канонада?

Все насторожились. Глухие раскаты доносились совершенно отчетливо. Но это была не канонада, а гром, и удары его с каждой минутой становились все оглушительнее. С востока ползли две тучи - одна серая, другая черная. Из первой вырывались зигзаги бледных молний. Вторая обдавала небо красным огнем. Гроза в полном блеске вставала над лагерем, гоня перед собой бурю и внезапно сгустившийся мрак. Молнии все чаще распарывали этот

мрак на куски. Все яростнее грохотал гром. Вдруг белый свет ослепительной яркости упал на Неман и его холмистые берега. Гром грянул с такой бешеной силой, будто все небо рухнуло на землю, чтобы раздавить ее. И тогда разрядились тучи: черная брызнула дождем, серая - градом.

Шум и гам разнеслись по лагерю и перекинулись на переправу. Лошади рвали коновязи и шарахались куда попало. Всадники старались повертывать их хвостами к непогоде. Кони жались, фыркали, трусливо закладывали уши и, не слушая поводов, мчались навстречу буре. Град бил жестоко. Сначала мелкий, как толченое стекло, он больно резал лица и руки. Но скоро превратился в ливень крупных и тяжелых камней. Некоторое время они падали редко, затем все чаще и гуще и, наконец, опрокинулись вниз ледяным ураганом неслыханной силы. Страшными порывами ветра разметало солдатские ружья из козел, шалаши и палатки. Потоки пенистой воды стремительно мчались по дорогам. Бурные озера волновались над полями.

Завернувшись в плащ, Массимо прижался к толстому стволу огромной сосны и так простоял всю ночь. Он видел, как под утро стали падать лошади, - их ноги вязли в грязном болоте, образовавшемся на месте лагеря. Проклятья, крики гнева и боли раздавались со всех сторон. Холодный, как дыхание полюса, вихрь еще выл и стонал, когда на мутном востоке забрезжила бледная полоска зари. Солдаты промокли и окоченели, измученные и голодные, словно корабельщики после крушения. Один проклинал град, надававший ему в спину таких тумаков, что хоть спиртом натирайся. Другому на затылке посадило желвак. Третьему раскроило до крови висок. Кому-то погнуло на кивере герб, скривило шишак на каске. Итальянцы суеверны. На ум приходили самые беспокойные мысли. Обозы застряли в болотистой топи, - это грозило голодом. Тысячи лошадей подыхали в грязи и воде, - как двигаться дальше? Небо грозно вздрагивало в белых вспышках зарниц. Оно как бы предостерегало пришельцев от опрометчивости. И все это именно тогда, когда они ступили на берег враждебной, далекой, непонятной земли! Жестокое предзнаменование!

Почти совсем рассвело, когда Массимо Батталья покидал лагерь верхом на отличном вороном жеребце из конюшни принца Евгения и в сопровождении пяти конных велитов, Поручение вице-короля, с которым он ехал, превосходило по своей важности все, о чем может мечтать молодой адъютант. Проскакать до Вильны, доставить в собственные руки императора Наполеона рапорт о переправе итальянского корпуса через Неман у местечка Полонного и вернуться назад с повелениями... Со щитом или на

щите! Так делается карьера! За ласковый взгляд императора, за слово его и улыбку люди платят головами...

Но странно: как ни старался Массимо подбодрить себя этими мыслями, на душе у него не становилось ни радостнее, ни веселее. Не оттого ли, что пакет с донесением вице-короля и письмо брата Сильвио лежали рядом, в одном и том же жилетном кармане под мундиром? До границы лагеря на каждом шагу встречались знакомые. Посиневшие физиономии этих офицеров, их обвисшие усы выглядели жалко. Вероятно, они сами знали это. Никому не хотелось смотреть в лицо друг другу. Грустный отъезд!

Лейтенант хлестнул жеребца и вынесся на дорогу, покрытую лужами. Копыта лошадей взбили фонтан черных брызг. Почему-то именно в эту минуту Массимо ужасно захотелось вернуться назад. Домик на холме...

Сумрачное и бледное, но прекрасное лицо вице-короля... Брюзгливая мина на солдатской роже Жюно... Они толкуют о ночной буре.

- Скверная примета! - качая головой, говорит герцог.

- Да, римляне, вероятно, принесли бы умилостивительную жертву богам...

Массимо Батталья сердито ударил своего коня рукояткой хлыста по голове. Конь вздрогнул и рванулся из повода. Всадник ударил его еще раз, еще и еще...

Глава вторая

Куча кривых изб посреди неоглядных болот и сосновых рощ. На песчаном бугре - серое привидение замка, пустого и заросшего высокой травой. Старый, бедный деревянный кляштор{3}, повисший над обрывом днепровского берега. Вот и весь город Мир, возле которого остановилась на ночлег Вторая армия князя Багратиона. Впрочем, в голубом полумраке лунной летней ночи город не казался таким убогим и жалким, как днем.

Главная квартира армии разместилась в пригородной корчме - обширной грязной хате с земляным полом. Длинные скамьи у стен, насквозь просалившийся липовый стол и кровать, кое-как прикрытая соломой, составляли скудное убранство просторной горницы. На кровати сидел, поджав ноги, молодой рыжеватый офицер в коротенькой походной шинели вместо халата. Около него в глиняной чашке горела свеча. Из другой чашки он брал картофелины и, медленно отправляя их в рот, задумчиво жевал. На лавках, вдоль стен, запрокинув головы, спали адъютанты и ординарцы главнокомандующего. Их храпу вторил ветер, выпевавший и высвистывавший дикие мелодии по щелям и закоулкам корчмы.

Кто мог бы полгода назад представить себе поручика лейб-

гвардии егерского полка Муратова из старинной, богатой, всей России известной семьи, молодожена, с превосходными видами на будущее, в его теперешнем странном положении? Бессонная ночь на соломе... Картофель на ужин... Но это - лишь начало. Что же будет потом? Муратов вытащил из-за обшлага шинели, листок бумаги и прочитал вполголоса:

МЛАДОСТЬ

Предопасенья нам не сродны,
И дерзновенен дум полет.
Размахи наших крыл свободны:
Кто молод - не глядит вперед...

Эти четыре строчки ему нравились. Но дальше стихотворение никак не вытанцовывалось. С досадой отбросив листик, он кулаками протер усталые глаза, круглые и желтые, как у большого степного кота. А все-таки - хорошо! Наконец сбылось то, о чем давно мечтал он. Зарю каждого дня его новой жизни приветствуют и труба, и пушка, и ржанье коня. Фланкировки, атаки, скачки по чистому полю, живые дымки перестрелок, удачные схватки охотников - есть от чего дрожать сердцу в буйной радости! И какой далекой кажется опасность смерти! Чудное дело война - высокая доля чести, любви к отечеству и славных жертв! Чего не хватает воину для счастья? Стоит лишь захотеть - и любой подвиг свершен. Вот знаменитый генерал Муратов, спаситель родины, везет в Петербург плененного им Наполеона. Злодей мечется за решеткой железного ящика, в бессильной ярости щелкает зубами, выбрасывает из себя искры - ни дать ни взять, как тот фокусник, что кривлялся на масленице в балагане на Сенной! Искры трещат, - так бывает, когда волосы попадают в огонь. Зубы стучат глухой дробью, словно картофель сыплется наземь. Ах, канальство! Нет, не уйдешь! Муратов бросается к клетке, - странный запах ударяет ему в нос. Фу! Да ведь это солдаты палят свинью над костром... Дивно! Значит, будет ужин, вкусный и сытный. А волосы трещат, и картофель сыплется...

- Душа, очнись! Эй, разбойник!

Главнокомандующий тряс поручика за плечо. Муратов спрыгнул с кровати и вытянулся - красный, сконфуженно хлопая глазами. Так и есть: чашка с ужином - на полу, а рыжих кудрей, что так круто вились надо лбом, точно не бывало. Их спалил огонь свечи, на которую во сне склонился дежурный адъютант. Главнокомандующий покачал головой.

- "Кто обнимается с Морфеем при свечи, тот берегись, чтоб не сгореть спючи", - медленно проговорил он. - Есть, брат, такие станцы старинные, про тебя, видать, писаны. А за спанье на

дежурстве вдругорядь крепко взыщу. Получишь, душа, большущий шнапс!

Муратов покраснел еще гуще. Теперь, когда поручик стоял, можно было видеть, что он очень высок ростом - аршина под три - и, как будто стараясь убавить громадность своей фигуры, слегка горбится. Багратион не торопясь обошел горницу и остановился у стола, заваленного бумагами. То, что речь и движения его были непоспешливы и как бы ленивы, ободрило Муратова. Значит, гнев прошел мимо. А что такое Багратионов гнев, знали все, - он вспыхивал, как молния, и гремел с бешеной силой мгновенно налетевшей грозы. "Слава богу!" Несмотря на крайнюю неловкость, которую испытывал Муратов от сознания своей вины, он с восхищением смотрел на генерала, на его горделивую осанку и воинственное лицо. Два часа ночи... Когда же он спит? И спит ли? Багратион был в сюртуке со звездой и в папахе, с нагайкой, перекинутой через плечо, и шпагой - подарком Суворова у бедра. В этом костюме днем и ночью видел его Муратов с той минуты, как началась война и армия двинулась в отход. Раздевается ли он когда-нибудь?

- Что нового, душа? - спросил Багратион.

- От военного министра весьма нужный, конфиденциальный пакет, ваше сиятельство. Но пометы о срочности нет, печать без перышка{4}.

- От министра? Рви пакет. Так! Подай сюда. Свечу ближе. А-а-а...

По мере того как Багратион читал, на его открытом лице последовательно отражались сперва удивление, потом удовольствие и, наконец, простодушная радость. Муратов жадно ловил эти смены выражений, словно влюбленный, исподтишка наблюдающий милую непосредственность дорогого существа. Известно, что главные квартиры всех армий на свете всегда бывают наполнены бездельниками и болтунами всяких чинов. Именно они плетут военные интриги и опутывают ими начальство. Но ничего этого не было в главной квартире Второй армии.

От дежурного генерала до конвойного казака все здесь были беззаветно преданы своему главнокомандующему и считали за счастье исполнить любое его приказание. Так было в штабе. В войсковых же частях люди проело рвались в огонь и воду по первому знаку Багратиона. Едва ли сыскался бы в российской армии другой генерал, менее Багратиона дававший чувствовать подчиненным свою власть и столь же безотказно властвовавший над ними.

Внимательно прочитав бумаги, присланные от генерала

Барклая де Толли, князь Петр Иванович несколько минут стоял неподвижно в тихой задумчивости. Потом повернулся к Муратову и положил на его могучее плечо свою легкую руку.

- Любишь ли ты меня, душа?

Поручик вздрогнул. Любил ли он Багратиона? В обычное время Муратов говорил плавно, чуточку нараспев, приятно "акая" и по-московски растягивая слова. Но при сильном волнении случалось с ним что-то такое, от чего он вдруг становился как бы заикой. И сейчас он тоже не сразу ответил на вопрос, простояв довольно долго с раскрытым ртом и выпученными глазами. А затем выпалил одним духом:

- К-как жизнь, ваше сиятельство! Багратион улыбнулся.

- Жизнь? Ее и впрямь любить надобно. Ведь ты и женат-то год всего?

- Так точно, ваше сиятельство!

- На сестре Олферьева?

- Да-с!

- Счастлив ты, Павлище! А я - что за ферт? И женат, и не женат... Сам не пойму. Жена в Вене с австрийскими министрами приятные куры строит, я же здесь грудью стою против Бонапарта и полоумного его тестюньки{5}. Как это? А?

Часто бывает, что глубокое уважение, с которым люди относятся к своему избраннику, несколько охлаждает пылкость их привязанности к нему. Но ничего подобного не было в горячем и почтительном сочувствии, с которым Муратов слушал дружески откровенную речь Багратиона.

- Тридцать лет службы военной... Из них двадцать три года - в походах... У таких, как я, знаешь ли, жены где?

Князь помолчал, задумавшись.

- Помнишь, как в песне: "Наши жены - ружья заряжены, вот где наши жены!" Помнишь, Павлище?

- Наши сестры - это сабли востры, ваше сиятельство... вот где наши сестры! Наши деды - громкие победы... Н-наши...

- Браво! Славно, душа! Выйдет из тебя со временем настоящий отечеству... Карамзин! Любезен ты мне, Павлище! Ты да еще свояк твой Олферьев - двое вы всех прочих милей. Возьми же от меня, братец, на память писульку эту, что военный министр прислал. Возьми... Писулька забавна, да и не пуста. А главное, все в ней лживо. Правда - лучший монумент человеку. Чудо! Из мелочи нечто вдруг большое сгрудилось! Убили на днях сих Барклаевы казаки итальянского военного курьера. И с прочими важнейшими бумагами взяли на нем и эту, писанную обо мне наемным слугой моим, итальянцем же, к брату, в Милан. Вот министр, думая не долго, и шлет мне, дабы любезностью своей

князю Петру глаза залепить. Хитер министр! АН и князь-то Петр не с ослиным ухом...

Багратион весело засмеялся.

- Бери, душа, памятку. Ты да Олферьев - в секрете. Для прочих - нет ничего!

Один из офицеров, лежавших у стены на скамейке, громко зевнул, повернулся на бок и, разглядев главнокомандующего, с шумом вскочил на ноги.

- Желаю здравия, ваше сиятельство!

- Олферьев! Душа! Еще ли не обоспался?

Входная дверь осторожно скрипнула, пропустив на порог горницы маленькую, живую и на редкость изящную фигуру молодого франтоватого генерала в прекрасных темных локонах. Он любезно поклонился. Это было короткое, быстрое, еле приметное движение. Но учтивости, которая в нем заключалась, хватило бы, вероятно, на весь старый версальский двор. Простодушная улыбка потухла на лице Багратиона, словно ушла внутрь. От этого лицо его потускнело, и новое, неприятное выражение возникло в нем.

- А вот и господин начальник штаба, - сказал главнокомандующий странно чужим голосом. - Доброе утро, граф.

Сдав Олферьеву дежурство, Муратов похвастался подарком. Две головы низко склонились над письмом Бат-талья - одна огромная, как ворох ржаной соломы, и другая белокурая, с волнистыми зачесами на висках.

- Когда дым бивачных огней окутал Европу, словно черные туманы средневековья, - проговорил Олферьев, - язык Данте и Тассо как раз у места для славы нашего вождя. Я в подлиннике читаю великих итальянцев - стало быть, послание грамотея этого сейчас разберу. Ты же, Поль, возьми копию с переводом. Итак: "Господину Массимо Батталья, второму лейтенанту легкоконного велитского полка итальянской королевской гвардии, в городе Милане".

Головы склонились еще ниже.

"Мой дорогой брат! Прошло двенадцать лет с тех пор, как я в последний раз обнял тебя и тетушку Бобину. Это было на выезде из Милана, у Верчельских ворот, возле хижины из серых булыжных камней, в которой помещалась старая кузница нашего покойного отца. Клянусь святой троицей, я ничего не забыл. И сегодня, оглядываясь в прошлое, я снова вижу, как по бледным и смуглым щекам моего маленького братца Массимо быстро катятся крупные слезы.

Я оставил родину и покинул близких для того, чтобы спасти

их от жестокой нужды, а может быть, и от голодной смерти. Другого способа не было. Накануне отъезда я вывернул наизнанку свои карманы. Из них выпало лишь несколько ничтожных сольдо и чентезимов. В доме - кусочек рождественской колбасы и банка с салом, перетопленным из свечей... В винограднике Сан-Витторио - четвертая доля пертика на всю нашу семью... Что же оставалось делать? Я уехал в Россию.

Двенадцать лет - очень, очень много... Кузница у Верчельских ворот давно развалилась. Тетушка Бобина уже не торгует на рынке весенними стрижами. С тех пор как ее младший племянник сделался адъютантом итальянского вице-короля, это занятие больше не по ней. Вот и все, что я знаю о вас обоих, Массимо. Но обо мне у тебя нет даже и таких сведений. Ты хочешь иметь их. Слушай же, дорогой мой.

Два брата - две судьбы. В кузнице отца мы вместе учились быть стойкими, привыкая к бедности и воздержанию. Я остановился на этом. А ты пошел дальше и теперь сам учишь своих бравых солдат презирать страдания, лишения и смерть. У тебя нет другого божества, кроме повелителя Европы, другого разума, кроме его силы, и другой страсти, кроме общего с ним стремления к славе. Я обращаюсь к тебе, заслуженному и блестящему воину, с братским "ты" и без всяких пышных титулов. Нет ли в этом ошибки? Не почувствуешь ли ты себя оскорбленным, узнав, что твой старший брат по-прежнему только лакей? Не покоробит ли тебя от его фамильярности, которая перестала быть уместной? Да, любезный Массимо! Я действительно все тот же и совершенно не желаю быть другим. Опыт раскрыл передо мной несомненные преимущества скромных жизненных путей. И я отношусь с теплым уважением к людям, достойно по ним идущим. С тысяча семьсот девяносто девятого Года я - верный слуга моего русского господина. И не нахожу в этом ничего, кроме чести. В объяснение я мог бы привести немало фактов. Военные доблести моего господина известны целому свету; он добр, благороден, неутомим в трудах и бесстрашен в опасностях; недостатки его гораздо привлекательнее достоинств, которыми обычно кичатся люди; наконец, он - правнук карталинского царя Иессея, следовательно, знатен, как король обеих Сицилии или по крайней мере как тосканский герцог. Все это - безусловная истина. Однако и ее не хватает для камердинерского самолюбия твоего брата. Слушай же, слушай! Массимо!.."

Глава третья

Летом прошлого, одиннадцатого, года генерал Багратион гостил у своих родственников в Симах, близ Владимира. Симский

усадебный дом был огромен и бел, с высокой крышей и широкой колоннадой двух террас, смотревших в сад, полный роз и жасмина. Посреди яркой зелени под ослепительным июньским солнцем сверкали статуи древних богов. За садом искрился овальный пруд.

Вплотную к его берегу подступал необъятный столетний парк из дубов и лип. Глядя на него, Сильвио Батталья смущенно думал, что для обмера этого парка в итальянских туазах может, пожалуй, недостать всех чисел арифметики. Симы повергали миланца в изумление на каждом шагу. Вот отличная хозяйственная ферма и по соседству образцовый конский завод. Вот важный берейтор-англичанин и дюжина гигантских ньюфаундлендских псов... А вот какое-то необычайно сложное устройство для орошения полей, засеянных клевером...

Поместье принадлежало генералу Голицыну, старому весельчаку с широким, красным и улыбчивым, как луна после ветреного дня, лицом. По жене, которая была княжной грузинской, из рода царских последышей, он приходился Багратиону дядей. До сих пор Сильвио не видел ничего роскошнее здешней, голицынской, обстановки. К дому вела двойная лестница. За вестибюлем, буфетной и столовой сверкала длинная анфилада комнат с настежь открытыми дверями - залы, гостиные и боскетные. Бронзовые люстры свешивались с позолоченных потолков, нежно розовели фарфоровые вазы, сияли фигурные зеркала, и задумчиво смотрели со стен превосходные старинные портреты. Все это было собрано в Симах, чтобы сделать жизнь их владельцев просторной, удобной и красивой. Но дворец строился и обставлялся много лет назад. Паркет кое-где уже потрескался. Налет времени, похожий на серую, дымчатую пыль, густо покрывал некоторые предметы. Хрусталь серебряных кубков в шкафах был темен, как топаз. Бархат, металл и мрамор тоже изменили свои первоначальные свежие цвета. И пахло здесь как-то странно - смесью тягучего и скучного с уютным и ласковым.

Стоило Багратиону появиться в Симах, как кареты, коляски, фаэтоны, брички и другие экипажи начали подкатывать к дому почти непрерывной вереницей. Кому не было знакомо прославленное громкими военными подвигами имя голицынского гостя? И вот соседние дворяне - вхожие и невхожие в симский дворец, знатные и безвестные, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины - кинулись сюда, движимые общим неудержимым порывом. Напудренные лакеи в башмаках и ливрейных фраках еле успевали высаживать прибывших. И к вечеру Симы превратились в маленький шумный городок.

Сильвио усердно помогал дворецкому. Эту важную должность при голицынском "дворе" занимал субтильный старичок в длинном коричневом сюртуке. Он был плешив, то и дело нюхал табак из лакированной черной табакерки с ландшафтиком на крышке и был чрезвычайно разговорчив. В обычное время Карелин не очень обременялся заботами, так как в Симах все шло по издавна заведенному, прочному порядку, будто само собою. В конце концов его основная обязанность заключалась только в том, чтобы варить по утрам кофе для княгини. И он выполнял эту обязанность с артистическим искусством. Но теперь, принимая гостей, старикашка вовсе сбился с ног. Впрочем, не меньше хлопотал и сам хозяин - князь.

Среди этой торжественной сутолоки Сильвио еле находил время для наблюдений. Лишь изредка удавалось ему издали глянуть на своего господина и на его тетушку - глянуть и удивиться несходству между близкими родными. Багратион был невысок ростом, но сложен с точным соблюдением всех пропорций подлинного изящества: широкие плечи, тонкая, словно у девушки, и такая же стройная талия, смелая, легкая поступь. Если прибавить сюда мужественную, смуглую физиономию, быстрый взгляд черных глаз, орлиный нос, крутые кудри цвета воронова крыла, беспорядочно венчающие гордую голову, - это и есть Багратион, точь-в-точь такой, каким видел его Сильвио. В пестром симском обществе он был весел и неистощим в речах, шутил метко и не зло, одинаково просто и прямо обращаясь со всеми, - особенность, свойственная только самым настоящим военным людям. Волны поклонения бурлили кругом Багратиона. Но он не слышал их шума, холодно равнодушный к восторженным похвалам и горячо отзывчивый на всякое искреннее слово.

Мало, очень мало походила на своего племянника княгиня Голицына. Это была высокая женщина со строгим, неподвижным лицом. В ее жестах, в суровом выражении глаз и манере говорить легко замечались упрямая воля, жесткий характер и резкий ум. Точно дерево среди зимы, Она растеряла листья молодости, но сохранила в неприкосновенности твердый ствол и крепкие сучья. Иней лет уже посеребрил ее голову. А гости, входя в боскетную, где она восседала на зеленом штофном диване, приближались к ее угрюмому величию, как к святыне.

Вечером ужинали в большой передней зале. Восковые свечи ярко горели в трех люстрах. Ужин сверкал на длинном столе. Осетры, стерляди, сливочная телятина, индейки - чего здесь не было! Оранжерейные фрукты, груши, яблоки, груды конфет, прохладительные напитки без счету... И шампанское - как вода!

Сильвио следил за тем, что делалось в зале, из буфетной. Забегал в буфетную и Карелин, потный, усталый и довольный. Его праздничный фрак и узкие бархатные панталоны были удивительно свежи. Огромные углы воротничков и галстук поражали белизной. Отправляя в нос понюшку за понюшкой, он непрерывно говорил, - многие в его возрасте бывают болтливы. От волнения круглое личико старика разрумянилось под цвет хорошо запеченной ветчины. Голая, как кегельный шар, голова тряслась и прыгала. А давно полинявшие голубые глаза все явственнее источали горячую влагу слез. Карелин говорил. Приятный басок его проникал в душу. Сильвио слушал с жадным вниманием...

- По науке теоретической и практической, почтеннейший господин Батталия, тридцать лет - большой для жизни человеческий срок-с. И потому в семьсот восемьдесят первом году были мы все гораздо против теперешнего моложе.

Княгине Анне Александровне всего лишь под двадцать подходило. А господин ваш едва ли даже шестнадцать считал. Да и я еще полным глядел лихачом-с... У-уф! Ап-чххи! Чхи! Ч-хи! Благодарствуйте!.. Состоя в нежном отроческом возрасте, жил князь Петр Иванович с батюшкой своим на Кавказе, поблизости города Кизляра. Можно сказать, жили они света на краю, где прачки, белье моючи, мыло на небо кладут-с. А далекое такое пребывание по той нужде имели, что батюшка князя Петра, при великой породе своей, самый прямой был голик: отставной полковник, и, окромя малого садика под Кизляром, не было у него ничего-с. Бросался его сиятельство на рюмки, будто магнит на железо, и - обеднел. Так-то, мешая дело с бездельем, чтобы, избави бог, с ума не сойти, и обитали они в своем садике.

Подоспело, однако же, время князька молодого в военную службу везти. А куда-с? Бог весть. Само дело не ползет, не лезет. Принялись перебирать столичных доброхотов. И княгинюшку нашу вспомнили. Благодушие ее тогдашнее всем было известно... У-уф! Ап-чххи! Чхи! Чхи! Благодарствуйте!.. Взялась она без отказа за хлопоты. И на тот конец, чтобы жребий племянников лучшим манером устроить, выписала его в Санкт-Петербург. Приехал князь Петр черен, худ, мал... Недоросток галчи-ный с виду - и только. А всего главнее одет так, что и показать его людям возможности нет. Не то на нем куртка длиннополая была, не то кавказский бешмет, и поверх - балахон пресмешной. Все это - из грубейшего верблюжьего суконца. Тут и весь был его мундир-с. Мечтается мне господин ваш таким часто и поднесь... Ей-ей! В те поры царствовала в России Екатерина Секунда{6}, государыня ума величайшего и сердца неохватного. Военными же

всеми делами заправлял без отчету знатный чудодей, светлейший князь Потемкин. Через высокую эту планету затеяла княгинюшка возвести племянника своего на первую ступень натурального счастья. И клюнуло. Да маленько во времени разошлось. Покамест Петру Иванычу у лучшего столичного портного кафтан, камзол, штанишки правили, кланяться и французским кое-каким словам учили, вдруг, как гром с небеси, от Потемкина к нам фурьер: немедля представить светлейшему недоросля из дворян Багратиона для наискорейшего его в службу определения... А в чем представить? Как есть не в чем-с... Ретивный фурьер у крыльца ждет. Кони, нетерпеливо фыркая, копытами о землю бьют-с. Страшная тут поднялась у нас суматоха, шуму полны горницы, а дела - нет-с. И как знать, чем бы катавасия завершилась, кабы не я. Мир сей, господин Батталия, - лавиринф и загадка. Все в нем к чему-нибудь да пригождается. Так и я пригодился. Тогда еще мода была на англезы, и барин наш, князь Борис Андреич, - бывалый в свете и не последний щеголь - с грацией дивной оттопывал англезы эти на бальных паркетах в разных дворцах. Для вечерних куртагов водилось у него многое множество разноцветных шелковых кафтанов, один другого богаче, а иные и с алмазными пуговицами. Наскучит кафтан - с плеч долой, и мне - новый подарок-с. Оттого я и ходил франтом: расчесан на три пукли, в пудре, в брыжах, камзолы ярчайшие, а о кафтанах и речи нет, - словом сказать, Бова-королевич, а не слуга. В тот день, как прикинулась у нас суматоха эта, князь Борис Андреич, по прыткости его тогдашней, дома не сыскался. И подвернулся на глаза княгинюшке я - в светло-голубом кафтане и претонком этаком кружевном жабо. Глянула она на меня раз, другой, да и пальчик к губам. Сперва задумалась, потом всхохотнула. "Стой, говорит, Никишка! Сымай с себя весь костюм". Я было застыдился. А княгинюшка на меня - грозой. Я скорей с себя все прочь, от парика до туфель, - замер в бельишке худом и жду: что будет-с? "Князь Петр, говорит, облекайся". Ну, князь Петр просить себя не заставил. Вмиг преобразился из длинной черкески в куцый кафтан и выступает фертом, будто ввек ничего, окромя шелковых французских нарядов, не нашивал. И так вышло, что сложением и ростом оказались мы в одну мерку точно. Помчал князь Петр Иваныч во дворец. Принял его светлейший с немалой ассистенцией, и понравился ему князек. Правду сказать, был он смолоду диковат и безгласен, но ведь не один тот бывает учен, кто многим наукам учился, а и тот, что с примечанием живет-с. Понравился... Через час назад прибыл, да уж не недорослем, а сержантом Киевского мушкетерского полка-с. Радостен вернулся. Казалось ему, что на третье небо попал и

неизреченные слышит там глаголы. А тут у нас и бишоф, и вино, и пунш! Так-то довелось мне, почтеннейший, при первом господина вашего карьерном шаге не самоидцем простым быть, но и главным в деле участником... Мир сей - загадка-с! О том и в Священном писании мудро изображено: не уявися, что будем...

Гости отобедали, отдохнули, отужинали и толпились теперь на громадной галерее симского дома вокруг Багратиона. Каменные лестницы, мшистые, как бархат, вели отсюда прямо через сад в длинные аллеи столетнего парка. Перед входом в парк поблескивал пруд, голубели в сиянии месяца статуи и обелиски. Где-то за садом велся крестьянский танец и звенели веселые деревенские песни. Вечер был тепл и тих на удивление. Пламя свечей, горевших на террасе в больших бронзовых шандалах, несмотря на открытые окна, не шевелилось. Что за прелестный вечерний час!

Но при всем том было в нем нечто страшное. И под тягостным впечатлением этого страшного общество вдруг приумолкло. Никто не похвалил красоты вечера. Никто не спустился из галереи в сад. А князь-хозяин шепотом приказал Карелину немедленно остановить крестьянские песни и пляски на заднем дворе. Словно завороженные, глядели все на темно-синее чистое небо. В его бездонной' глубине, там, где обычно сверкают семь звезд Большой Медведицы, висело чудовищное помело невидимой ведьмы. Багровая комета пылала гигантским, загнутым книзу хвостом. И великолепное безобразие этого зрелища наводило на души какой-то мучительно-сладкий трепет. Уже не первую ночь миллионы глаз смотрели на небо и не могли привыкнуть к его новому виду. Хотелось доискаться смысла этого необыкновенного явления. Но смысл не отыскивался. И отсюда возникал ужас.

- Комета... Комета... - пронеслось на галерее. - Чем грозит она нам, о боже?{7}

И Багратион тоже казался взволнованным. Его руки были сложены крест-накрест поверх бриллиантовых орденских знаков и широкой голубой ленты. Голова задумчиво склонена на грудь.

- Не феномен этот страшен, - вдруг вымолвил он, - а то, чего вся Россия ждет... Други!.. Отечество наше в опасности. Не нынче-завтра бросится на нас Наполеон. Война неминуема - свет не видал подобных войн. Все станет на карту - свобода нации и честь священной нашей земли...

Голова его гордо вскинулась, и ордена звякнули. Привычным движением он вырвал из ножен шпагу до половины клинка и с лязгом всадил ее обратно. На галерее царила такая тишина, что у многих загудело под черепом. Старый отставной генерал в

камлотовом мундире малинового цвета, странного покроя первых годов века, - из тех отставных, которыми хоть пруды пруди по тихим полукаменным усадебкам великого российского черноземья, - неожиданно выступил из толпы и заговорил нескладно и робко. Но в голосе его дрожало чувство, а в маленьких серых глазках под насупленными седыми бровями блистали слезы.

- Ваше сиятельство! - начал он. - Слушаю вас, а слышу Суворова. Будто не вас - его вижу. По образу и подобию бессмертного россиянина созданы вы, новый герой наш... - Он сделал несколько шагов вперед. - Суворов - отец русской славы, вы - сын ее. Где Багратион - там победа. Нет у нас другого, как вы! Нет! Генерал ринулся вперед.

- Ваше сиятельство! Оборони... оборони Россию, князь!

Багратион побледнел. Когда на его смуглое лицо находила внезапная бледность, оно становилось бело-коричневым, и тогда на него бывало жутко смотреть. В такие мгновения он задыхался от боли - его грудь не выдерживала могучих толчков взволнованного сердца. Он круто повернулся, чтобы уйти во внутренние комнаты. Но остановился на пороге гостиной, ярко освещенной кенкетками и карселевыми лампами. Эта гостиная была яхонтового цвета стены, мебель и пушистый ковер. И здесь бледность Багратиона сделалась чрезмерной. Многие хотели броситься к нему. Однако он поднял руку, и все замерло.

- Други мои! Клянусь счастьем родины, памятью и славным именем предков! Всем, что есть для меня в этом мире святого... - Он прижал руку к груди. Клянусь умереть за Россию!..

Откуда взялся прекрасный обычай подбрасывать кверху любимых военных вождей? Что-то лучезарное, как истинная слава, заключено в дружной искренности, с которой люди чествуют таким способом своих героев...

Десятки рук подхватили Багратиона и с радостной пылкостью взнесли под потолок. Князю всегда бывала по душе любая солдатская шутка. А эта - в особенности. Лицо его порозовело - значит, сердце забилось легче и вольней. Долго печалиться он не умел и, взлетая все выше, смеялся весело и беззаботно. Вдруг...

Портьера отпахнулась. За ней тихонько притаился Карелин. Старик переживал счастливые минуты. Тщедушное тельце его вздрагивало от непослушных рыданий. Живой пьедестал опустился под Багратионом. Очутившись на собственных ногах, Петр Иванович быстро зашагал к двери. Еще мгновение - и он вывел дворецкого на середину комнаты.

- Здравствуй, любезный Никита! Здравствуй, душа!

Он крепко обнял Карелина. А потом поцеловал его в щеку и громко - так громко, что слова эти были услышаны решительно

всеми, - проговорил:

- Без тебя не был бы я тем, чем есть. Спасибо за прошлое, душа, тысячу раз спасибо!

...Поздно вечером Сильвио помогал своему господину раздеваться перед сном. Багратион был задумчив и молчалив. От недавней веселости не осталось в нем и следа. Этому унынию его отвечал мерный стук часов, стоявших в спальне князя на подзеркальнике между окнами. Минутная стрелка на них завершала свой круг. Они четко пробили один раз, и за ними множество других часов, стоявших и висевших в разных комнатах огромного дома, принялись отбивать и отщелкивать ночной термин. Эта трескучая музыка вывела Петра Ивановича из задумчивости. Он пересел из кресла на постель и медленно выговорил:

- Если, моей родине, Сильвио, грозит будущее... я первым иду навстречу! Да, я иду первым, Сильвио!

Глава четвертая

"...Бывают, Массимо, слова, которым нельзя внимать равнодушно. И вот их произнес могучий воин великой страны. Они вырвались у грозного полководца, который не погнушался поцелуем теплой благодарности почтить старого раба. Бог знает что со мной сделалось... Не помню и того, как это сделалось. Только я, свободный итальянец, схватил маленькую руку этого удивительного человека и крепко-крепко поцеловал ее. Кажется, я шептал в этот момент что-то очень банальное, вроде: "Скорее небо упадет на землю и река По потечет вверх, чем я..."

Но не то важно, что я шептал и шептал ли вообще что-нибудь, а то, что я поцеловал его руку и от этого почувствовал себя не хуже, а лучше, чем был до того... Надеюсь, что теперь тебе понятно, почему я не считаю унизительной свою лакейскую должность и не стремлюсь ни к какому другому более высокому положению в жизни. Если же и теперь ты этого не понял, вина не моя.

Никогда не случалось мне писать так много, - впрочем, дело заслуживает того. Не оскорбляйся моей откровенностью, Массимо. Знаешь ли ты своего героя так же хорошо, как узнал теперь моего? Истина... Где она скрывается, никому не известно. Да едва ли и нуждаются в ней люди, у которых есть убеждение. Так, я обращаюсь не столько к королевскому лейтенанту, сколько к маленькому кузнечному ученику, которого оставил двенадцать лет тому назад в Милане, у Верчельских ворот. Обращаюсь к нему и прошу не отвергать дружеского и братского объятия. Нежно обнимаю также тетушку Бобину. Я очень желал бы знать, продолжает ли она по-прежнему молиться обо мне ежедневно

утром, вечером, после завтрака и после обеда святому Бонифацию Калабрийскому. Извините, мои милые, за каракули и сохраните в памяти и родственном расположении вашего

Энея Сильвио Батталья.

Село Симы, Владимирской губернии, 18 июня 1811 года".

Муратов и Олферьев молча смотрели друг на друга. Потом обнялись, также без слов, радостные и светлые. Не в итальянце, конечно, дело и не в его восторгах, а в том, что и вся Россия знает Багратиона таким, каков он в действительности, и другого, лучшего Багратиона ей не надо. Муратов бережно спрятал на груди письмо-подарок.

- Покамест сердце бьется, хранить буду здесь, Алеша!

Громкий голос главнокомандующего донесся из соседней горницы, и адъютанты кинулись на зов.

- Подать сюда старого мухобоя!

Городничий был из отставных кавалерийских майоров и в спокойное время любил заливать за воротник. Сейчас он стоял перед Багратионом бледный, как мука. Нижняя челюсть его очень приметно тряслась.

- Ваше сиятельство, - повторял он отчаянным голосом, - ваше сиятельство! Христом-богом... Как же это? Давай квартиры, строй печи для сухарей, давай дрова, давай подводы - все на свете-с. Ваше сиятельство! Вы городишко наш изволили видеть... Откуда же? Куда же мне? В реку броситься...

Багратион поднял руку и с такой неожиданной силой опустил ее вниз перед красненьким носом старика, что лицо городничего явственно ощутило дуновение свежего ветра.

- Знать ничего не хочу! Чтоб было! Не то повешу!

Олферьев с волнением следил за развитием этой сцены. Оба участника ее были правы, каждый по-своему. Князь Петр Иванович берег людей, но, сам неутомимый, бывал и к ним в нужде требователен до крайности. А городничий... Старый майор вдруг побагровел. Челюсть его перестала дрожать.

- Меня повесить? - рявкнул он. - За что-с? Аль не служил я кровью своему государю! Али сын мой, Смоленского полка, что в седьмом вашем корпусе, подпрапорщик Зиминский, не льстится надеждой за родину жизнь сложить под вашей командой? Меня повесить! Как-с?

Городничий сорвал с себя зеленый сюртук и, распахнув рубашку, плачущим от обиды голосом прокричал;

- Вот они, раны-с... Багратион хотел отвернуться.

- Нет, уж извольте взглянуть, ваше сиятельство!

Плечо старика было много лет назад разворочено осколком фугаса и до сих пор имело уродливый и жалкий вид. Через грудь

шел багровый рубец от глубокого сабельного удара. На животе... Князь Петр Иванович подошел к ветерану и обнял его.

- Прости, душа! Я думал, что ты из крапивного семени{8}, а не наш брат. Прости же великодушно. А теперь без крика и шума скажу: не выполнишь расстреляю!

Несколько секунд городничий молча смотрел на него так, как был, - с голым плечом и обнаженной грудью. Потом аккуратно застегнул сюртук и, вытянувшись, отчеканил:

- Будет исполнено!

Глава пятая

- Садись, Алеша, и пиши, что говорить стану. Или... обожди малость. Ей-ей, не подьячий я, чтобы сочинять что ни день письма царю. Я - воин. В том мое дело, чтобы командовать. Не дают! А если бы отказался министр?{9} Завтра был бы я в Витебске. Отыскал бы там Витгенштейна с первым его корпусом. А потом распашным маршем двинулся бы, в приказе отдав: "Наступай! Поражай!" Вот моя система: кто раньше встал, тот и палку взял. Ой, сколь много важности в быстроте! Под расстрел готов, коли господина Наполеона в пух не расчешу! Но что делать! Не открыт государем мне общий операционный план. Министр знает, да от меня в секрете держит...

Багратион шагал по горнице. Вдруг, пораженный внезапной догадкой, он остановился перед Олферьевым. Пронзительный взгляд его огненных глаз упирался в молодого офицера. Но Олферьев чувствовал, что князь не видит его.

- А что, коли и министр тоже ничего не знает, кроме того, что государю не угодно больших сражений давать? Скрытен от нас государь! И легко может Барклай, как и я, ничего не знать. Тогда так сужу: либо не имеет министр вожделенного рассудка, либо лисица. Знает и молчит, - гнусно. Не зная, молчит, - опять же гнусно, ибо в одном со мной положении быть стыдится. Приказчик он, бурмистр государев, а не министр. Но при всем том министром зовется и на шее моей сидит...

Багратион крепко ударил себя по шее. Раздражавшие его мысли неслись, как тучи по небу, тяжелые, темные, готовые излиться яростными потоками гневных слов. Да разве один Барклай сидел у него на шее? А тот, красавец в локонах, с узкими, слегка поджатыми губами, начальник штаба Второй армии, господин генерал-адъютант граф де Сен-При? Отец его был француз, мать австриячка. Родился он в Константинополе. Учился в Гейдельбергском университете. С семнадцати лет в русской службе. Под Аустерлицем потерял лошадь и за то получил Георгия. При Гутштадте ранен в ногу картечью. Отлично! Но кто же все-таки он, этот граф? Что он для России? Почему он

начальник штаба одной из российских армий и генерал-адъютант императора? Царь шлет ему письма. О чем? От Сен-При не дознаешься. Иной раз будто вытолкнет его что-то вперед с каким-нибудь неожиданным новым планом. Ясно: не его это планы, а государевы. Но зачем же государь шлет проекты к Сен-При, а от главнокомандующего таит их? И выходит, что главнокомандующий должен повиноваться начальнику своего штаба - мальчишке, проходимцу. А как этот французишка на ухо легок! Не шпион ли? "Мы проданы, - думал князь Петр, ведут нас на гибель. Где сыскать равнодушия? Нет мочи дышать от горя и досады..." Он присел к столу против Олферьева.

- Хотел писать царю, не буду. А чтоб душу отвесть, черкнем, душа Алеша, тезке твоему, Алексею Петровичу Ермолову. Начинай без экивоков: "Мочи нет, любезный друг, дышать от горя и досады. Стыдно носить мундир! Бежит министр, а мне велит всю Россию защищать. Мерзко мне фокусничество это. Ей-ей, скину мундир!.."

Багратион взглянул на своего адъютанта. В ясных серых глазах Олферьева дрожали слезы. Нежное, как у девушки, лицо его было искажено судорогой отчаяния и горя. Князю Петру стало жаль его. Он протянул руку через стол и ухватил офицера за ухо. Потом, пригнув к себе, прошептал:

- Не горюй, душа! Сперва Россию из ямы вытащим. А уж там и мундир сниму. Одна-то голова - не бедна. Да еще и сниму ли? Ермолову ведь пишем. Он - тонок, покажет письмо министру, - то и надо!..

Вьюки, чемоданы, седла валялись по скамейкам и на полу. Столы, табуреты и стулья были расставлены так беспорядочно, словно их уронили наземь с большой высоты. Денщики толпились в дверях, ожидая приказаний. Человек пятнадцать офицеров - кто в сюртуке, кто в шпензере{10}, а кто и просто в архалуке - расхаживали по горнице с трубками в зубах. Некоторые что-то писали, устроясь на чемоданах. Говор и смех висели в воздухе. Писаря суетились. С аванпостов то и дело являлись верховые с донесениями.

Государев флигель-адъютант вошел в дежурную комнату главного штаба Второй армии около полудня. При виде золотого аксельбанта и вензелей на эполетах приезжего полковника шумная офицерская ватага сконфузилась и замерла в почтительном молчании. У флигель-адъютанта была немецкая картонная физиономия, измятая и усталая, с мягкими, впалыми щеками и тем приветливо-постным выражением, которое бывает свойственно придворным людям неискренним, пустым, уклончивым и равнодушным. В походке и манерах он заметно

подражал императору - сутулился и вытягивал вперед шею, словно ожидая услышать или собираясь сообщить нечто важное. Флигель-адъютант скакал сюда по местам лесистым и болотистым. Кругляки, которыми мостились дороги в Белоруссии, в течение целых суток непрерывно плясали под колесами его брички. Скачка походила на пытку. И сейчас узкая грудь флигель-адъютанта ныла от долгой тряски и бесчисленных толчков. Он огляделся и уже раскрыл рот, чтобы осведомиться, где главнокомандующий, когда из соседней горницы быстро вышел граф Сен-При с радостно протянутыми вперед руками.

- Бог мой! Как вы добрались до нас, полковник? Что вы привезли нам?

- Es ist schauerlich!{11} - ответил приезжий. - Дороги стали столь трудны и опасны, что государь, отправляя меня, не дал мне письменных повелений.

- Каким же путем вы ехали?

- Через Дриссу, Борисов и Минск. Навстречу мне из Минска мчалось множество экипажей. Непрерывной вереницей тянулись обозы. А под самым Минском я столкнулся с губернатором и чиновниками, которые бежали из города. Они уверяли меня, что неприятель через полчаса будет в Минске. Но я проскакал по улицам благополучно. Впрочем, через час там действительно были французы.

Громкий вздох пронесся по горнице. Как? Минск взят французами? А ведь Вторая армия спешила именно к Минску, чтобы заслонить собой средние области России от наступавшего Даву... И вдруг - Минск взят! Значит, Даву предупредил Вторую армию... Стало быть, расчет главнокомандующего рухнул... Сен-При взял флигель-адъютанта под руку и увел его из общей комнаты в соседнюю, пустую. Здесь он аккуратно притворил дверь и тщательно припер ее тяжелой скамьей.

- Мне хорошо известно, дорогой полковник, как вы осторожны. И я поражен откровенностью, с которой вы сообщили сейчас urbi et orbi{12} о постигшей нас неудаче...

Флигель-адъютант внутренне вздрогнул. В самом деле, привычка к сдержанности ему изменила. Проклятая дорожная тряска! Надо исправить ошибку. Но как? Ни на секунду не теряя достоинства и в полной мере сохраняя репутацию ближайшего к государю человека. Его пресная физиономия строго сморщилась.

- Зачем скрывать правду? - проговорил он. - Пусть Вторая армия знает, к чему ведут наивная самонадеянность и неосновательная хвастливость ее вождя... Что, собственно, получилось? Наполеон распустил ложные слухи, будто его главные силы сосредоточены в Варшаве и что австрийская армия

двинется на нас из Галиции. По этой причине мы разделили наши войска на части. Между тем Наполеон начал войну совершенно не так, как мы ожидали. С основной массой своих корпусов он перешел Неман у Ковно и направил Даву на Минск, против князя Багратиона. Теперь ясно, что он желает помешать соединению генералов Багратиона и Барклая. С этой точки зрения потеря Минска равна катастрофе. Не скрою от вас, дорогой граф, что действия вашего главнокомандующего внушают его величеству серьезные опасения. Вам поручено присматриваться к князю Багратиону и изучать его. Скажите...

Сен-При провел рукой по своему бледному тонкому лицу. И на лицо легла грустная тень. Прекрасные глаза его, потемнев, тоже сделались грустными.

- Наш главнокомандующий, - начал он, - неподражаем в своих мгновенных вдохновениях. Он храбр в битвах, хладнокровен в опасности, необычайно распорядителен, тверд в ведении дела. Но...

- Но?

- Видите ли... Князь Багратион провел бурную и рассеянную молодость. Ему некогда было учиться. Он овладел военным искусством на опыте. А так как опыт часто противоречит книжным доводам кабинетной науки, князь своеобразно отличается от множества других военачальников. В этом отчасти причина его магического влияния на умы таких образованных генералов, как, например, Раевский. Они идут за ним совершенно слепо. Je le leur disais bien. Mais ils n'ont pas vouli suirve mes conseils, et bien les voila punis!{13}

- Вы правы. Князь упустил Минск. Государь очень опасается, что подобные промахи будут повторяться. Его величество находит, что недостаток военного образования и общей учености обезоруживает князя перед лицом великолепной стратегии Бонапарта...

- Бонапарта - да. Но, к нашему счастью, с Наполеоном нет ни Массены, ни Мармона, ни Ланна, ни Журдана, ни Сульта, ни Ожеро. Один из этих блистательных полководцев командует Домом инвалидов в Париже. На челе другого уже горит иудина печать измены. А прочие исполняют обязанности дядек при тупоумных братьях гения. В Россию пришли Мюрат, Ней, Даву... Это первоклассные таланты. Однако кто из них ученее Багратиона? Я хочу вас просить, дорогой полковник, вручить государю мое письмо. Я изложил в нем как эти соображения, так и многие другие, в сущность которых его величество, несомненно, посвятит вас. Я счастлив доверием государя, но удручен тягостью моей двойственной роли здесь, при князе Багратионе. Я так

ненавижу Наполеона, что с невольной горячностью присоединяюсь к самым решительным порывам князя. И все же никак не могу завоевать его сочувствия. Он видит во мне прежде всего наблюдающее око, - это его раздражает. Я для него человек, лишенный родины, и он не хочет понять, что уже около двадцати лет назад я заменил потерянную родину долгом присяги и чести...

Голос Сен-При прерывался от волнения:

- Я очень хочу чувствовать себя русским. Скажу без похвальбы: мне удается это. И что же? Князь постоянно возвращает меня на какое-то неопределенное и крайне неудобное место. Боюсь, что я никогда не сумею победить его предубеждение...

- Вероятно, ваше сиятельство, намереваетесь просить государя о переводе в Первую армию?

- Нет. Генерал Барклай еще менее радовал бы меня как начальник. Кстати: он так же мало посвящен в планы государя, как и мой главнокомандующий?

- Он посвящен больше. Но, конечно, тоже не полностью. Идея отступления Первой армии в укрепленный Дрисский лагерь принадлежит исключительно его величеству, и генерал Барклай - всего лишь точный исполнитель...

- Тьфу, пропасть! - раздался за дверью громкий голос Багратиона. - Да куда же делся граф? Что? С государевым флигель-адъютантом? А ты не во сне видел, душа?

Сен-При и приезжий полковник вскочили с мест. Граф испуганно поджал губы и бросился отодвигать скамейку от двери. Полковник одернул сюртук и поправил аксельбант.

Глава шестая

Командир седьмого корпуса генерал-лейтенант Раевский был слегка глуховат и поэтому ужасно не любил так называемых военных советов. Кроме того, столько раз случалось ему в них участвовать, принимать вместе с другими участниками общие решения и потом видеть, как все совершается иначе, что он привык время, затраченное на эти словопрения, считать просто потерянным. Особенно не нравились ему военные советы в присутствии царских посланцев, - таков именно был сегодняшний. Здесь дело положительно отступало на задний план. Зато сложно развертывалась утомительная игра людского самолюбия. И Раевский заранее знал, как сгруппируются интересы, и какие образуются лагери, и из каких соображений каждый участник совета будет говорить то или иное. К главнокомандующему примкнут донской атаман Платов по слепому доверию, и он, Раевский, - по убеждению в превосходстве

смелой и самостоятельной военной мысли над робкой и малодушной. Государев посланец будет молчать, наблюдая. Но то, за чем он прислан, выскажет как бы от себя Сен-При. А к нему по дружбе и общим придворным привычкам присоединится начальник сводной гренадерской дивизии граф Воронцов. Шеф ахтырских гусар Васильчиков беспомощно повиснет в воздухе. Всего труднее будет Багратиону из-за его горячности. А тяжелее всего ему, Раевскому, - от глухоты и досадливых чувств.

Николай Николаевич сидел возле князя, подперев кулаком большую курчавую голову. В лице и во всей невысокой и стройной фигуре, в движениях и даже в неподвижности его можно было легко заметить нечто такое, от чего благородство и ум этого человека казались несомненными. Вот он повернулся к Багратиону, взглянул на Воронцова, опустил голову и задумался, - просто и открыто, с достоинством, без малейшей позы, точно взял и подчеркнул какую-то свою мысль. Но вместе с тем заметны были в Раевском и усталость, и холодность, и даже, пожалуй, равнодушие. Такие люди очень часто возбуждают великие ожидания, но оправдывают их далеко не всегда.

- Вашему сиятельству предлагается план решительный, но вместе и осторожный, - вкрадчиво говорил Сен-При, - он прямо вытекает из положения, в коем мы находимся. Будучи отрезаны от Первой армии, мы, однако, без особых затруднений можем еще сосредоточить все наши части в Несвиже. Пользуясь природными условиями местности, а также старинными замковыми постройками князей Радзивиллов, нам легко будет там закрепиться и выжидать неприятеля не на открытой позиции, но в укрепленном лагере, наподобие Дрисского, куда Первая армия идет...

Багратион слушал с недовольным, почти сердитым видом.

- Не годится, - твердо произнес он.

Потом, вспомнив, что предложение Сен-При, по всей вероятности, есть один из планов императора, что привез его флигель-адъютант, что главнокомандующий, по обыкновению, отстранен от своей естественной роли довольно оскорбительным приемом, он проговорил еще тверже:

- Нет, не годится! Несвиж на дальнейшем пути армии нашей и впрямь лежать может. Но сидеть там и ждать, покамест неприятель пожалует, когда ничто не мешает ему мимо пройти, - дурно задумано. Это все - натуральный ход ошибок, одна за другой с первого дня войны начатых. Да и до войны еще в том промах был, что растыкали нас по границе, как шашки на доске. И стояли мы так, разиня рот. Знаю, в чем цель была: хотели тонкой линией кордонов перехватить все три пути, возможные

для наступления Бонапартова, - и от Тильзита на Петербург, и от Ковна на Москву, и от Гродна на Москву же. А того в разум не взяли, что перехватить тонкой линией кордонов операционные направления еще никак не означает, что они уже и перерезаны. Нет! Это означает другое: взяли и подставили свои силы частями под удар. И притом вообразили, что пойдет Наполеон обязательно на Первую армию. Нашей же назначили действовать ему во фланг, а генералу Тормасову с Третьей армией во фланг тем войскам, кои пойдут на Вторую. Ах, умно! Но каналья Бонапарт двинулся сразу и против Первой армии, и против Второй. Тогда - с перепугу, что ли? - некий придворный чумичка и методик, из тех, о коих Суворов "гадкие проектеры" говаривал, приказал нам бежать...

Выговорив эти дерзкие слова, Багратион гордо вскинул голову и оглядел смущенные лица сидевших кругом генералов.

- Методик приказал - и побежали. Куда? Никто не знал толком. Эх, жаль! Слезы кипят! Июня шестнадцатого начал я отступление на Минск и расчет имел к двадцать пятому там быть. Хорошо! Очень! Однако восемнадцатого - в Зельве вы, полковник, доставили мне именное его величества повеление следовать через Новогрудок и Вилейку на Свенцяны. Тут только я, главнокомандующий армией, известился о том, что за благо признано против главного направления войск Бонапартовых Первой и Второй армиям соединиться и сосредоточиться. Где? Оказывается, пиво{14} для общих операций в Свецянах выбрано. Славно! Добрался я до Немана. И уж совсем было переправился, да счастью несчастье помогло - мост попортился. Задержка, богу благодарение! Узнаю двадцать третьего, что государь и министр - в Свенцянах, и пиво - между небом и землей. Тем часом перерезал Даву дорогу на Витебск, остались мне леса и пути непроходимые. Что делать? Снова решил я двигаться к Минску. А дни потеряны. Кто вернет их? Никто. Узнаю, что грозные силы французские мчатся к Минску. И опередить их теперь уж никак невозможно мне, - сорван марш мой короткий, и опоздал я безвозвратно. Разбить французов у Минска и прорваться напрямик к Первой армии? Думал. Но людей множество и обозы потерять не хотел. Вот и нашелся я тогда - повернул на Мир и Кайданов, чтобы и от Даву уйти, и честное соединение с Первой армией, как то свыше повелено, из предмета не выпустить. Приказываю Матвею Иванычу{15} снова на левый берег Немана у Николаева перескочить и движение мое прикрывать обманным видом. Расчет у меня: узнав про ложную переправу мою у Николаева, попробуют французы отрезать меня от Первой армии и для того сломают направление свое на Минск, а я тем временем к Минску подоспею

и прорвусь... Уф!

Багратион быстро вытер платком бледное и потное лицо.

- Финал: приезжает ныне господин государев флигель-адъютант и сообщает, что Минск французами занят. А нам до него еще два больших перехода, - разве двадцать седьмого достигнем. Вернется полковник в императорскую квартиру и доложит государю, что Багратион - глуп, неуч и Минск проморгал. Полагать должно, что и господин начальник штаба моего о том же в партикулярном письме его величеству отпишет. Так глуп Багратион, - окружен, как медведя с рогатинами окружают. Французы и в Вилейке, и в Воложине, и король Жером из Новогрудка грозится бить по тылам. У Даву - шестьдесят тысяч, у Жерома столько же, а у Багратиона - сорок. Сгиб ротозей Багратион, как швед под Полтавой! И в таких-то обстоятельствах предлагает ему господин начальник штаба армии генерал-адъютант граф де Сен-При шествовать к Несвижу и там спокойно ожидать врага. Дельно ли? Избави бог!

Он помолчал, тяжело дыша.

- Что ни день - оплох, что ни час - спотычка. Повинен в том Багратион. А окромя него кто? Кто ему повелевал идти то так, то этак, из-за чего и упустил он Минск? Кто странно так дело ведет, что пробивается Багратион изо всех сил к Первой армии, а она все уходит от него да уходит, и похоже, что и впредь ему все пробиваться, а ей - уходить? Наполеон лишь Неман перешел, писал я уже государю. И предлагал его величеству крепко ударить со Второй армией и казаками Бонапарту в тыл с тем, однако, чтобы и Первая армия его в лоб атаковала. Соизволения высочайшего на то не последовало, и назначено мне соединиться с министром в Дриссе. С тех пор повинуюсь министру, как капрал! Писал я опять государю... С прискорбием, сокрушаясь, писал, что, не имея к себе доверия его величества, не знаю плана операционных действий. Не открыт он мне. А может быть, и скрыт. Оттого трудно мне с пользой распоряжаться армией. Государь удостоил меня собственноручным раскриптом. Лестно! Боже, сколь лестно! Однако за всем тем остался я в неведении насчет операционного плана нашего. И уж думать вынужденным нахожусь: да есть ли он у нас? Государя люблю, как душу. Но, видно, он не любит нас. Не любит! И войско ропщет, и все недовольны. Не могу равнодушным быть! Еле дух перевожу с горя, - клянусь вам, господа!

Генерал Раевский поднял голову. На холодном и серьезном лице его выражалось отвращение к происходящему.

- Его сиятельство прав совершенно, - устало проговорил он. - Многое непоправимо упущено, согласования в действиях нет,

положение Второй армии тяжелое, безвыходное почти... Его императорское величество не соизволил сообщить нам никаких повелений. И от генерала Барклая де Толли также приказаний не поступает. Мнение графа Эммануила Францевича, - он посмотрел на Сен-При, - опробовано, как полагаю, быть не может из-за неудобств и прямых опасностей, с коими приведение его в действие сопряжено. При таком положении почитаю для спасения армии нашей нужным, от всех прежних начертаний вовсе отклонясь, отступать на Мозырь, где и соединиться, но не с Первой армией, а с Третьей - генерала Тормасова.

Сидевший возле Сен-При молодой генерал, высокий и худой, с лицом необыкновенным по своей змеиной красоте, улыбнулся с предостерегающей вежливостью. Это был граф Воронцов. Он родился и вырос в Англии, где отец его долгое время был русским посланником, и потому в говоре его явственно слышалось английское произношение.

- Однако, - сказал он, обращаясь к Раевскому и улыбаясь при каждой новой фразе все вежливее и любезнее, - однако, ваше превосходительство, уходите так далеко, как может уйти лишь тот, кто не знает, куда он идет. Сегодня его сиятельство главнокомандующий не получил повелений государя. Но что же из того? Ведь общий смысл воли его величества нам известен. Государь желает, чтобы Вторая армия непременно соединилась с Первой, - раз. Он не желает, чтобы мы, находясь в самом начале войны, предпринимали не предусмотренные им, рискованные и опасные для сбережения сил наших марши, два. Наконец, он возлагает надежды на способ сопротивления французскому наступлению посредством укрепленных лагерей, образец коих изготовлен для Первой армии в Дриссе, - это три. Согласитесь, ваше превосходительство, что предложение ваше никак не соответствует ни одному из трех желаний государя. Что же касается мнения графа де Сен-При об отступлении к Несвижу, с тем чтобы закрепиться там в лагере, оно, несомненно, отвечает по крайней мере двум желаниям его величества...

Генерал в длиннополом однобортном мундире без пуговиц, с грубой, скуластой физиономией и ухватками переодетого дикаря, вдруг довольно громко икнул. Это часто случалось с ним на военных советах, когда пуще разума одолевала его охота отлить пулю против сильнейшего. Но что спросить с темного станичника, который в степи родился, ковылю молился? Старый донец знал верное средство против гнева и вражды.

- Простите, господа, великодушно, - начал он и, еще раз икнув, перекрестил рот, - может, и заблудился атаман Платов по скудости умной. Сижу слушаю - все перебрал, что за сорок лет

службы видать приходилось, а этакого коловращения не вспомню. Христом-богом свидетельствуюсь - так! На сем аллегорию кончив, уже и того прямей скажу: от единого князя Петра Иваныча вразумления жду и приказа, где кровь за отечество пролить.

Воронцов и Сен-При оживленно перешептывались. Курносый синеглазый генерал-майор в гусарском шпензере восхищенно жал руку Платова.

- Да что ж, Ларивон Васильич, - бормотал атаман, почесывая ямку на широком подбородке, - что с нас взять-то? В степи родились, ковылю молились...

Раевский спросил гусара, сам не зная зачем, без всякого любопытства, почти с тоской в голосе:

- Почему вашим собственным мнением не поможете вы нам, господин Васильчиков?

Шеф ахтырских гусар давно уже чувствовал себя в затруднении. Никаких своих соображений у него не было, а Сен-При, Багратион, Раевский, Воронцов и Платов - каждый в отдельности и все вместе - говорили так дельно, что в конце концов он был согласен со всеми. Как и что мог он сказать от себя? На свежих щеках его выбился вишневый румянец досады. Он сделал над собой усилие и ответил с натуральной барственной гордостью, способной прикрыть любое из самых неприятных самоощущений:

- Я - младший в чине. Меня не спросили. А по мне - говорить последнему трудней, нежели первому умереть.

Раевский был человек без предрассудков и сентиментальности. "Коли этого молодца не ухлопают за храбрость, - подумал он, - то при придворной ловкости пустейшего ума быть ему главным в России чиноначальником..."{16}

Грациозно-снисходительная улыбка, бродившая до сих пор на губах государева флигель-адъютанта, вдруг исчезла. Он встал, и все поднялись, готовясь услышать нечто, как бы от самого императора исходившее.

- Отправляя меня сюда, государь сказать соизволил: "Передайте князю Петру Иванычу, что Бонапарт, верный системе своей, двинется, конечно, к Москве, чтобы устрашить Россию. Но ничто на свете не заставит меня положить оружие, покамест неприятель будет в пределах наших оставаться. Скорее я отращу себе бороду и уеду в Сибирь, нежели заключу мир". - Флигель-адъютант наклонил голову, как пастор в патетическом месте проповеди. - Таковы подлинные слова его величества, из коих усмотреть возможно, сколь великие расчеты возлагает монарх наш на доблести и мудрую предусмотрительность господ

главнокомандующего и генералов Второй армии.

Полковник подошел к Багратиону, откланиваясь. Он спешил с отъездом. Бричка и конвой уже ждали его.

- О каких же намерениях вашего сиятельства прикажете доложить его величеству?

Главнокомандующий вытянулся, как будто отдавал рапорт самому императору.

- Доложите, полковник, о предложении господина начальника штаба моего и о том, что с ним никак не согласен я!

Придворный гость отбыл, и генералы разошлись с этого странного совета, который словно для того лишь и созван был, чтобы суток через двое многим в императорской главной квартире чихалось и не здравствовалось.

Однако Платов и Раевский все еще сидели у Багратиона. Князь Петр рассуждал с величайшей горячностью:

- Пора, други, духу русскому приосаниться! Понять надо: не обыкновенная это война, а национальная. А с методиками нашими пропадешь. Уж и я чуть не пропал. Да не пропал же! И впредь не случится! При них козырять не хотел. Пусть думают, что дела наши - швах! Ха! А дела-то отличны!

- Ваше сиятельство преувеличиваете, - сказал Раевский, чтобы несколько охолодить главнокомандующего, - дела не отчаянны, но и не хороши...

- Нет, Николай Николаич, душа, хороши очень! И сейчас я тебе докажу. Глянь на карту. Одна армия - за большой рекой. Другая направляется кратчайшим путем на соединение с Первой, - это мы. Но, узнав невозможность, в обход идет. Однако и тут - стоп! Волчья яма! Так! Что бы, прошу я вас, господа, надо делать сейчас Бонапарту?

Платов молчал.

- Уничтожить нашу армию, - неохотно проговорил Раевский, - к коей Первая никак на помощь прийти не может...

- Слово золотое! Так! А Бонапарт что делает? Знай себе гонится за министром. Почему Даву рвался к Минску? Чтобы отрезать меня от министра. Король Жером ему помогал. Дивно! Ну и что же? Ничего. Живы, здравы, богу слава! Цель главная Бонапартова маневра до сей поры - не мы, а министр. Тем и дела наши чудны. Хочет Бонапарт Двину перейти и угрозой сразу Петербургу и Москве стать. Куда же теперь Даву двинется?

- Вашему сиятельству то лучше известно, - сказал Платов.

- Полагаю, что либо во фланг нам, - задумчиво отозвался Раевский, либо... на Могилев. Скорее - последнее. Нас из виду не выпуская, будет грозить Смоленску. А нам за Днепр и ходу не останется...

- Ай, душа! - радостно закричал Багратион. - Верно! Бросится Даву на Могилев! Вся армия французская на северо-восток сдвинется, - оно и началось уже. Сто тысяч против Петербурга, и против Москвы - столько же. Министру из дрисского лагеря либо на Петербург отступать, либо с Бонапартом лоб в лоб биться. Мы же... - Он остановился. Глаза и щеки его пылали. -а..Мы же... в Могилев! Даву встречать! Аль чего не расчел? Ну-тка!

От удивления Раевский крякнул. "Как остра и извилиста мысль его! - в сотый раз подумал он о Багратионе. - Когда служили мы оба прапорщиками у Потемкина, кто бы предугадать мог?" И он приложил к тугому уху руку пригоршней, внимательно слушая.

- Армия наша горсти меньше... С чем начинать было дело? Выйдет хорошо скажут: министр! Дурно выйдет - черт ли велел Багратиону соваться? Шнапс! Но не у Могилева! Там я готов. И за войска спокоен. У меня верит солдат, что он мне товарищ! Солдат да я, - кто супротив?

- Каким же путем поведете вы, князь, армию свою к Могилеву? - с удивлением спросил Раевский. - На всех дорогах французы...

- А-а! Душа! Глянь еще на карту. Несвиж, Слуцк, Бобруйск... Крючковато? Зато без драки дойдем. Долетим! Вот план мой. И как выведу армию из беды скину мундир. С ума сойти боюсь, коли министр отступать не кончит.

Наконец главнокомандующий и атаман говорили с глазу на глаз.

- Спроси меня, Матвей Иваныч, - скажу прямо: не хочу я Сен-Приеста иметь при себе, не хочу! Воля государя была дать мне его в дядьки. А я не хочу. Все-то он шепчет - то с флигель-адъютантом государевым, то с графом Михайлой Воронцовым. Шепот - дело сплетников и... шпионов. За всем тем переписку ведет с государем. О чем? Поди дознайся. Я редко пишу. А он - что ни день, и все по-французски... Мне долго смешно было, а потом и к сердцу дошло. Как быть, душа?!

Атаман прикрутил короткий ус. На морщинистом лице его мелькнула такая хитрецкая улыбка, что нельзя было не подумать: ну и тертый калач!

- А послать бы его, ваше сиятельство, для обозрения армии неприятельской... Я провожатых дам. Покажут они ему армию Наполеонову в таком расстоянии, что он взглянет разок, да уж никогда больше и не увидит. Великодушно доставим французскому сему графу на том успокоиться. Ась, ваше сиятельство.

Багратион вздрогнул и побледнел.

- У-ух, казацкая в тебе душа, старик! Нет, на такое не способен я. Да и зачем станем мы его в бессмертье через славную смерть водворять? Уж пусть лучше меня терзает... Только начеку быть надо и смотреть в оба! Приказывать тебе станет - ты без меня ни с места!

Глава седьмая

Двадцать восьмого июня донцы Платова и легкая конница Васильчикова восемь часов дрались под Миром с кавалерийским авангардом маршала Даву. Шесть уланских полков неприятеля были частью порублены, частью подняты на дротики, частью, не оглядываясь, умчались с широкого песчаного поля, на котором происходил бой. Платов гнался за ними двадцать верст. Казаки притащили в лагерь дюжину пленных офицеров да сотни три солдат. Живую добычу пересчитывали и разбирали под высоким курганом, на котором донской атаман разбил свою палатку посреди неоглядной равнины, занятой шестнадцатью казачьими полками.

Славный день кончился. Вечер стоял ясный и теплый. Солнце садилось. Розовая пыль неподвижно висела в тихом воздухе. У шалашей дымились огоньки.

Кавалерийские кони, причесанные и гладкие, казачьи - брыкливые и растрепанные, вереницами тянулись с водопоя. По биваку было разлито спокойствие, печальное и торжественное вместе. Небо горело багровым светом. День кончился, но не спешил уйти совсем, - словно хороший товарищ с места дружеской разлуки - сделает шаг в сторону и оглянется. Грянул выстрел зоревой пушки. Барабаны скороговоркой затрещали: доброй ночи! Трубы голосисто пропели: доброго сна! Выехали конные разъезды. Уланские флюгера вились над высокими киверами, как галки. Голубые казачьи куртки, бараньи шапки и длинные черные дротики, взятые наперевес, казались летучими тенями. Все, куда мог достать глаз, тонуло в знойно-туманном пурпуре последних отблесков солнца. Пар прозрачно алел над рекой. Что за день! Что за вечер!

Муратов бросил повод на крутую шею Кирасира - отличного верхового коня, названного так по огромной своей стати. Другая лошадь, пожалуй, и не вынесла бы великана-всадника. Поручик смотрел кругом и улыбался, сам не зная чему. Но улыбка была радостная и бесконечно счастливая. На выезде из лагеря его нагнал прапорщик пятого егерского полка, тоже верхом. Офицер этот был чрезвычайно молод, совсем еще мальчик, с лицом странно привлекательным и неприятным одновременно. Загримировав ребенка под старика, можно получить именно такое лицо.

- Муратов, - крикнул он, шпоря свою низкорослую кобылу, - едемте вместе! Вы - в главную квартиру? Я тоже.

- Едем, пожалуй. Что скажете вы, Раевский, о нынешнем деле?

Подпрыгивавший в седле обок с Муратовым прапорщик как-то по-стариковски пожал плечами и на одно мгновение сделался удивительно похож на генерала Раевского в минуты овладевавшего этим генералом холодного и равнодушного раздумья.

- Что сказать? Во-первых, много значит, что наши литовские уланы одеты почти так же, как и неприятельские. Гот же синий с малиновым мундир, разница лишь в цвете шапок и флюгеров. Все время шла путаница, и мы от нее постоянно выигрывали...

Муратов живо повернулся в седле.

- Какие пустяки! Разве в этом дело?

- Во-вторых, славно работали казаки. Гнались напуском, не заботясь о том, кто опередил и кто отстал...

- Да! Так неслись, что земля стонала! Боже, как хорошо! А вентерь! Ведь именно вентерь - главное...

- Пустое! Хитрый азиатский фокус... Обманная штучка.

- Тьфу! - возмутился Муратов. - Что за человек вы, Раевский! Вентерь славная выдумка атамана Платова. Да знаете ли вы толком, в чем вентеря суть?

- Я видел сегодня...

- Дурно видели! Казачья застава выдвигается вперед для заманки неприятеля в тыл секретным засадам... Ведет его на себя, принимая весь пыл... Но стоит ему пройти сквозь засады - выстрел, секреты ударяют в спину, застава оборачивается лицом... Чертовски умно! Я везу донесение атамана главнокомандующему. Матвей Иваныч при мне писал: "Вентерь много способствовал, оттого и начал пошел..."

- Дик наш атаман - с пренебрежением отозвался Раевский. - Как-то попалась мне на глаза у отца подпись его на бумаге с "ф" вместо "в" на конце. С тех пор так и стоит в глазах: "Платоф"... Вот молодец! Ха-ха-ха!

- Вы злы, как бесенок, Раевский! Хоть бы фиту ставил Платов, - вам-то что?

- Ха-ха! Об заклад бьюсь, Муратов, что вы сочиняете поэму о наших донцах. И Матвей Иваныч летает в ней из строфы в строфу на лазоревых крылышках славы.

- Да, летает, - строго сказал Муратов, - но не в моей поэме... Много напишут длинных рассуждений об атаках легкой конницы. Чего только не будут писать! А ларчик успеха открывается просто: действовали Кутейников, Иловайский, Карпов{17}...

Васильчиков водил за собой ахтырцев, литовских улан, драгун киевских... Я с ними был. Ясно: чьи кони шибче пущены, чьи всадники решительней очертили головы, тот и побьет...

Прапорщик хотел возразить, но не успел.

- Стой! Кто едет?

Изо ржи торчали пики. Ни людей, ни лошадей видно не было. Так всегда выглядят казачьи пикеты.

- Адъютант главнокомандующего. Отзыва нет.

- Правильно, ваше благородие, - промолвил казак, поднимаясь во весь рост.

Он был подпоясан широким патронташем из красного сафьяна. На патронташе висели два пистолета. За спиной болтался карабин. Он поднес руку с нагайкой к шапке - не то для того, чтобы приветствовать офицера, не то, чтобы получше вглядеться в него.

- Видать, брат, не скучно? - с радостной улыбкой спросил его Муратов.

Казак тоже улыбнулся.

- На бикетах стоим, скучать время нет. Извольте проезжать, ваше благородие!

Луна скользила по легкой зыби облачного неба. Она то пряталась за развесистыми купами берез, рядами тянувшихся вдоль дороги, то вдруг обливала белым светом ее ровное полотно, рисуя на нем причудливые узоры тканей. Широкое поле по обеим сторонам дороги, за березами, было покрыто туманом. Где-то далеко-далеко трепетно мерцали зарницы.

В передовом казачьем секрете велся тихий разговор. Молодой станичник, еще не заслуживший усов, - стало быть, из тех, кто даже заглазно, по ребячьей памяти, именует родителей "мамушка" да "тятенька", - шептал товарищу:

- Уж и такая тоска, такая... Уж и так берет... Кто-то сильно ткнул его в спину.

- Ох, лихо те задави!

Он вскочил было на ноги, но сплюнул с негодованием. Это конь почесал горбатое переносье о казачье плечо.

- Так крепко берет, дядя Кузя... Ино случается - жить невмочь.

Дядя Кузя был старинный донец, знаменитый в своей округе искусством наезднических проделок. Мало оставалось по станицам казаков, которые и монету поднимали бы с земли на скаку и, подвернувшись под брюхо лошади, стреляли оттуда из винтовки с такой изумительной ловкостью, как он. А между тем уже давным-давно считалось урядником Кузьме Ворожейкину под пятьдесят. И наружность его тоже была примечательна. Усы висели до пояса, а брови - чуть ли не до половины щек. Из этой

волосяной заросли огромным крючком высовывался ястребиный нос и, как звезды в туманную ночь, поблескивали маленькие глазки. Зубы дяди Кузи были белы и остры, как у щуки. Он медленно вырубил огонь на трубку. Слетел с трубки дымок, и кони отфыркнулись в темноте. Зубы Ворожейкина сверкнули, и туго прикушенный ими костяной черенок скрипнул.

- То-то, брат, - веско проговорил он, - а с чего тоскуешь? Свое! Вот и грызет... Про хранцев толкуют: больно, слышь, супротив нашего брата богато живут, сволочи... Ну и что ж? А русские-то бедны, пускай и глупы, ради муки царской, да - свое. Хранцы - мудры, зато рафлёных кур, будто турки, на страстной неделе жрут. Ты это сообрази. Свое! Понял?

- Как не понять... А отшибить ее можно, дядя Кузя?

- Тоску избыть? Коли и впрямь мочи нет, - нехотя отвечал урядник, - на то имеется средствие.

- А как?

- Вот пристал, прости господи! "Как, как"... Землицы щепоть со степи донской есть у тебе?

- Есть. В ладанке защита.

- Разведи в воде, выпей - тоска прочь и скатится, как ни в чем не был.

- Вишь ты!.. Выпью! А хранец тоже, поди, по своей земле томится?

- В ем этого нет. Куда ему! Животина... Где хорошо, там ему и отечество. Слыхал, как лопочут они?

- Слыхал.

- Это что ж? Люди? Так себе... падаль! Чем их больше на дротик поднять, тем душе легче.

В этот момент дальний конский топот глухо отозвался в ушах Ворожейкина. Он живо припал к земле.

- Эге! Двое... На рысях хода...

Станичник побелел, как песок на дороге. "Это кто же, дядя Кузя?" хотел он спросить. Но Ворожейкин глянул так сурово, что у молодца зашелся язык. Всадники наезжали все ближе. Теперь не только был ясно слышен топот, но уже видны и кони, и сами всадники. Один казался фигурой поменьше, зато другой...

- Je merus de soii!{18} - сказал великан.

Ворожейкин и станичник неслышно ползли к дороге, волоча под локтями тяжелые дротики. "Хранцы!" - молнией пронеслось в казачьих головах.

Вскоре по выезде из лагеря споры Муратова с Раевским приняли серьезный характер.

- На Западе расчет всей жизни - на чертеже и в логарифмах, - говорил Раевский, - там бессонница и труд ума, строгие допросы

природы в застенках лабораторий. А у нас... Ради бога, Муратов, не примите моих слов по своему адресу!.. У нас - припадки вздорных вдохновений, тесная дружба с природой или детские сны на зеленых лужайках фантазии. Мать моя - внучка Ломоносова. Любопытно, что воспевал бы теперь в своих одах мой прославленный предок? А может быть, подобно современным старым дуралеям, и он занимался бы глупейшим исчислением грехов Наполеона! Право, чем больше люди думают об этих вещах, тем меньше проку в том, что они говорят о них...

Муратову не нравилась холодная насмешливость рассуждений прапорщика. Было в ней что-то, больно задевавшее его простодушную горячность...

- Странная идея! - с сердцем сказал он по-французски. - Попробуйте сами не думать. Но не советуйте этого по крайней мере другим!

Если бы не обуревавшие Муратова чувства, он должен был бы признать, что соображения Раевского никогда до сих пор не приходили ему в голову. Она была так устроена, что переполнявшие ее свободные мечты положительно не оставляли места для философского раздумья. Но сегодня все шло вверх ногами. Вероятно, Раевский уловил смешную сторону возражений Муратова, - он рассмеялся с обидной веселостью в тоне.

- Думать полезно только для того, чтобы не погрязнуть в мусоре жизни. А в остальных отношениях это так же бесплодно, как сдувать пыль с письменного стола, - ведь она непременно покроет его опять. Однако есть люди, для которых ни о чем не думать - то же, что размышлять. Они мало выигрывают от этого, зато и другие ничего не теряют...

От этих дерзких слов Раевского, как от холодной воды, внезапно остыли в Муратове гнев и досада. "Нет, не под силу мне спорить с этим мальчишкой! подумал он. - Эх, кабы померяться нам сердцем и душой!"

- Бог весть, что станется с вами дальше, Раевский, - тихо проговорил он, - но мне жаль вас. Наслаждение жизнью вам недоступно, - душа ваша мертва. Скучно, очень скучно будет существовать вам...

Желтоватое лицо Раевского сморщилось, точно от боли. Но голос его продолжал смеяться.

- Я не люблю, когда меня жалеют, и мне трудно оценить по достоинству вашу трогательную доброту, Муратов. А наслаждаться жизнью могут лишь те, кто не дорожит ею. Я - из их числа. Следовательно...

Он помолчал и добавил совершенно серьезно:

- А впрочем, пожалейте меня, Муратов! Я заслужил этого тем,

что появился на свет, не ведая зачем. Мои родители благодарили бога, не зная за что. Глупо! Жалейте, если вам хочется. Это удивительно, что мы нынче не поссорились. Cela tient du prodige{19}!

Муратову стало неловко и тягостно. Нет, ему и Раевскому не понять друг друга! И, чтобы закончить этот неприятный разговор, он сказал:

- II me semble que je meurs de soif{20}!

Раевский ничего не ответил. Бросив поводья, он плелся позади. Вдруг кобыла его рванулась в сторону, и он чуть не вылетел из седла.

- Ах! - отчаянно крикнул Муратов. - Боже мой!..

Пика Ворожейкина вошла в его спину между лопатками. Острый наконечник ее торчал из груди поручика, по которой темно-красной струей стекала слабо дымившаяся кровь. Муратов страшно захрипел и повалился с лошади. Раевский подхватил его одной рукой, придерживая другой тяжко качавшуюся пику. "Вытащить?" Он попытался. Но ни силы, ни решительности у него недостало. Жестокое оружие было всажено так туго, что не подалось ни на дюйм. Громадное тело Муратова затрепетало, а сам он побелел от боли.

- Не надо!..

Его голос был беззвучен, как падение пепла.

- Н-не надо...

Глава восьмая

"Ее высокоблагородию Анне Дмитриевне Муратовой, в городе Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Леццано.

Netty, милая сестра моя! Не знаю, как начать... Ищу и не нахожу слов. Отечество наше воюет. Ты - русская. Укрепи сердце мужеством. Жертвы неизбежны, - без них нет ни чести, ни славы, ни спасения. Сегодня в ночь к нам привезли тяжко раненного Поля... Память дружбы не боится испытаний. Ужасные подробности совершившегося не умрут раньше меня. Они поистине ужасны, но вместе с тем и бесценны. Слезы облегчают душу, - плачь, бедная Netty, и слушай печальный рассказ мой...

...Офицер, который привез Поля с места, где он был ранен, не решился выдернуть из его могучей груди пику - это страшное орудие горестной ошибки. Лекаря находят, что этим он спас Поля от немедленной гибели: пока рана закрыта, раненый живет. Поэтому пика и не вынута до сих пор... Фамилия офицера - Раевский, он сын командира седьмого корпуса.

...Сердце Поля, певучее, как соловей, не умолкает. Сколько раз принимался он говорить о тебе, Netty! Ему не под силу говорить громко, следовательно, он шептал. Но разве люди не

кричат шепотом?..

...Я с отвращением представляю себе, какие глупые толки поднимутся в Петербурге по поводу необыкновенных обстоятельств этого несчастья. Прекраснейший из русских офицеров сражен рукой соотечественника. Il est cosaque! Oh, sort injuste!{21} Сколько поводов для самой прискорбной болтовни, от которой злая случайность станет еще злее. Действительно, подобные вещи могут происходить только в нашей удивительной стране, где даже бранят французов по-французски. Катастрофа с Полем была бы невозможна, не будь мы так далеки от нашего народа. Возмутительно, что нам легче говорить на языке наших врагов, нежели на своем собственном. Но... ведь не мешает же нам это ненавидеть французов и драться с ними совершенно по-русски! Нисколько! Кто же прав и кто виноват? Не знаю! Мои мысли путаются...

...Начальник штаба нашей армии, граф де Сен-При, пытался выведать у Поля имя ранившего его казака. Но откуда Полю знать это имя?

- Скажите по крайней мере, мой бедный друг, - спрашивал граф, - как выглядит ранивший вас злодей?

На бледном, истомленном страданиями лице Поля мелькнула улыбка - добрая и светлая.

- Я не помню его лица, - простонал он. - Было темно... Не помню, граф.

Однако, когда я через минуту наклонился над ним, он шепнул мне чуть слышно:

- Я узнал бы беднягу из тысячи! Netty! Je ne 1'ai jamais vu aussi beau qu'ence moment!{22} Часто ли встречается на свете такое полное и чистое всепрощение?

Тебе известно, как любит Поля наш главнокомандующий. Он заходит к нему через каждые два часа. Невозможно видеть без слез отеческую ласку, с которой князь обращается к вернейшему из своих адъютантов, как он нежно целует и крестит его. Несколько раз у постели Поля появлялся также и славный атаман донцов Платов, герой боя под Миром. Ехидный мужик! Сейчас, когда я пишу тебе, он опять кружится около Поля, как ивовый лист на воде. Ты спросишь: зачем? Я понял это в ту самую минуту, когда чудесное благородство Поля заслонило собой сразившую его темную руку. Чем больше печалится граф Сен-При от невозможности открыть и примерно наказать злодея-казака, тем довольнее атаман. Он достаточно хитер, чтобы скрывать свои настоящие чувства. Но мне кажется, я разгадал их. Платов - ревностный патриот своего войска и стоит горой за каждого донца. Людям, не остриженным в кружок, заслужить его уважение

трудно, а любовь - нельзя. Единственное исключение - князь Багратион, которого старый атаман боготворит...

...Платов сокрушенно качает головой и говорит скоро-скоро:

- Этакой эстамп получился... Всему войску донскому - поношение! Эх, попади он, р-ракалья, мне в руки, ей-богу, до смерти засек бы! Нагайками! Без пощады! Но средствия нет сыскать окаянного! Разве что всех казаков до последнего поодиночке перебрать, - и то не откроем. Вот господин офицер идет, кажись, самый тот, при коем стряслось. Эй, прапорщик, пожалуйте сюда, живо! Вы - сынок Николая Николаича?

- Так точно, ваше высокопревосходительство.

- При вас несчастье случилось?

- Так точно.

Дальнейшее - странно. Ах, как странно! Чтобы ты могла хоть что-нибудь понять в нем, я скажу тебе несколько слов о молодом Раевском. Одиночество в жизни, как и в дороге, часто бывает скучно. Поэтому люди предпочитают двигаться вперед, взявшись за руки, поддерживая или по крайней мере ободряя друг друга. При этом каждый стремится навязать прочим свой ум, глупость, веселость, вздохи... Таково большинство. Но есть иные люди, - они идут стороной. Судьба, которая никого предварительно не спрашивает о его желаниях, бросает их порой в оживленную общественную среду. Однако и здесь они остаются верными себе: шагают рядом с другими, даже ведут их, а сами все глубже и глубже сосредоточиваются внутри себя. И чем меньше заявляют они о себе общим, житейским порядком, тем больше возникает вокруг них толков, всегда разноречивых и редко - правильных. Обычно их зовут эгоистами. Но это совершенно несправедливо, так как эгоизма в них ровно столько же, сколько и у людей общительных и откровенных. Молодой Раевский - именно такая загадка. Я не мог бы сблизиться с ним, да и не хочу близости. Но мне ужасно досадна невозможность понять его. В его обособленности я нахожу что-то обидное для моего самолюбия. Почему? Не знаю. Поль считает ум молодого Раевского безнравственным, а мораль - пустой. Ему только семнадцать лет.

Разговор происходил при мне. Я с нетерпением ожидал, что ответит прапорщик на вопросы Сен-При и Платова. Вот его ответ:

- Главная примета злодея заключается в том, что он по наружности своей сходен вполне со всеми прочими казаками, коих случалось мне видывать. К этому надо добавить, что он не моложе и не старше большинства из них. Впрочем, говорю лишь о том, что успел заметить в продолжение нескольких мгновений...

Если бы ты видела, как вспыхнул Сен-При!

- Идите, прапорщик. Передайте от имени моего вашему

батюшке, что главная примета его сына в том, что он совершенно несхож со своим почтенным отцом...

Раевский поклонился. Платов удовлетворенно развел руками. Прекрасные глаза Сен-При горели гневным огнем. Проходя мимо меня, он громко проговорил:

- Для этих людей не существует ни закона, ни справедливости. Mais ils repondrount pour la vie de ce pauvre Mouratoff{23}!

Кто - они? Я думаю, что и сам граф не знает...

...Я забежал к себе на так называемую "фатеру". Корова ревет над моим изголовьем. Петух кричит, взобравшись на кивер. Козы чихают от трубки моего денщика.

Сковорода с яичницей шипит на печном загнетке... Удивительно, что жизнь может быть одновременно такой мирной и простой, как у меня дома, и такой грозной и сложной, как там, где лежит Поль. Я кинулся к нему. Он в том же состоянии. Множество штабных офицеров собралось рядом, за стеной. Как обычно бывает при подобных обстоятельствах, мы тихонько говорим о нем...

Уже вечер. Полю не хуже. Но впереди - ночь, полная мрака и неизвестности. Сейчас отправляется почта, и я запечатываю это письмо, Netty.

Твой брат и друг А. Олферьев. 29 июня 1812 года. В г. Несвиже, на марше".

- Итак, мы в восьми верстах от Слуцка, а французы уже в Несвиже...

Багратион коротко подумал о чем-то и, словно передвинув одну мысль на место другой, продолжал говорить:

- Что ж? Так и быть должно. Однако и нам свои меры взять необходимо. Господа генералы Платов и Ва-сильчиков! После славной победы вашей под Миром полную на вас имею надежду. Матвей Иваныч! Ларивон Васильич! Французы на хвосте у нас к Бобруйску ползут. Арьергарда долг - крепче прикрывать армию. Смотрите, други: коль скоро от Романова отойдете - весь обоз армии сгинет. Нельзя скоро отходить! Через ночь войска в Уречье будут. А вам и завтра и послезавтра весь день у Романова надлежит держаться. И лишь третьего июля близ вечера дозволяю отойти на Слуцк. Хоть вся сила адова ринет на вас - ни шагу!

Атаман расправил плечи.

- Быть бою! Эх, люблю я бой! За то от государя и чины, и звезды, и жалованьишко... И Россия за то славит нас. Хорош бой! Тут жарко, там опасно!.. А где безопасно? На печи лишь...

Васильчиков с восхищением смотрел на Платова. Повертев какой-то бумагой, Багратион с пренебрежением швырнул ее на стол.

- Кто о чем, а шелудивый - о бане, - едко выговорил он. - Опять министр запрос прислал. Надобно, вишь, знать ему, как Второй армии генералитет к отступательным действиям расположен. Так и пишем друг другу бездельно, будто в сказочке про дурака, коему "таскать - не перетаскать"...

- Прошу, ваше сиятельство, уверить военного министра, что я не из числа любителей отступательных движений без принуждения и пользы, встопорщившись, произнес Васильчиков.

- Дулю бы ему, господину Барклаю, хорошую! - с неожиданной и грубой злостью отозвался Платов. В горницу вошел Сен-При.

- Только что скончался Муратов, - грустно проговорил он. - Как пику вынули, всего полчаса дышал. Но и пику оставить в нем было уже невозможно. Я распорядился похоронами: два взвода в наряд, под "Вечную память" - три залпа... Бедный Муратов! Но сегодня, князь, я наконец дознался...

Багратион медленно поднялся из-за столика с бумагами и перекрестился. То же сделали Платов и Васильчиков. Резкие черты лица главнокомандующего смягчились.

- Упокой, господи, душу раба твоего Павла, - прошептал он несколько нараспев, по-церковному, - в месте покойне, отнюду же отбеже... печаль и воздыхания... Эх, душа Павлище! Улетел-таки от нас! Витаешь...

Он закрыл рукой глаза. Рот его скривился в непослушной гримасе. Все стояли молча, опустив головы. Так прошло

несколько минут. Князь Петр Иванович спросил, все еще не отнимая от глаз руки:

- О чем, бишь, граф, начали вы?

- Сегодня дознался я наконец об имени злодея, что убил Муратова, повторил Сен-При и быстро справился по бумажке: - Иловайского двенадцатого полка урядник Кузьма Во-ро-жей-кин... В розыске ни от кого ни малейшего содействия не имел. Но долгом почел дело завершить, дабы не осталась справедливость поруганной. И в намерении своем, хвала богу, успел. Надеюсь, любезный атаман, что теперь вы, со своей стороны, вступитесь и... обещанное выполните.

Платов был невысок ростом и сухощав. Однако при последних словах начальника штаба армии он сделался вовсе маленьким. Физиономия его потемнела, голова спряталась в плечи, и живой, игристый блеск пропал из глаз. Атаман чувствовал себя скверно.

- Ворожейкин? - бессознательно оттягивая время, переспросил он. Ворожейкин Кузьма? Всех урядников войска своего знаю. Не задаром и сам казак, и с войском сорок лет. А Ворожейкина Кузьмы видом не видал, слыхом не слыхивал про такого... Промашечки тут нет ли, сиятельнейший граф? Бывают, Мануил Францыч, в донесениях описочки али другое что... Наплетет какой-нибудь мерин-брехун по злобе, то ли с дурости...

Сен-При отрицательно качнул головой и выпрямился, красивый и гордый, как петушок.

- Все точно, Матвей Иваныч! Принимайся за кнут!

Багратион оторвал руку от глаз. Они еще были мокры. Но на выразительном лице его уже не оставалось никаких следов недавнего мира и тишины.

- За кнут?

Он произнес это так, как будто сам щелкнул кнутом.

- Кого вы собираетесь сечь, граф? А ты, атаман, что вздумал?

Багратион грозно ударил кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула. По Барклаеву письму расползлось черное глянцевитое пятно. Песок для присыпки серой струйкой вылился из песочницы на бумаги.

- - Да в уме ли вы, сударь? Как? При нынешних обстоятельствах сечь казака? За что? За ошибку, от прямой и честной верности происшедшую? И я бы ошибиться так мог! Меня секите! Любил я Муратова... Сами видели, как, жалеючи его, в слабость впал. Но твердо говорю: не казак виноват! Где видано, чтобы на аванпостах казацких французскую козерию{24} разводить? Хорош ананас, да не к водке!

Князь живо повернулся к Платову.

- Каков он, урядник тот, Ворожейкин?

Атаман уже давно пришел в себя. В глазах его опять играли веселые огоньки, и он заметно хорохорился, лукаво поглядывая на Сен-При.

- Надёжа-казак, ваше сиятельство, - отрапортовал он с нарочитой точностью, вытянувшись, как на смотру, - первый по кругу на Дону старик усть-медведицкий... А что шутки моей граф Мануил Францыч не выразумел, тому уж, по правде, совсем не причинен я...

Багратион махнул рукой. Выражение брезгливости скользнуло по его лицу мгновенной судорогой. Он почуял один из тех фокусов, которые никогда ему не нравились.

- Остер крючок, - резко проговорил он, - да изогнулся... Перемудрил! А и раньше мне не сомнительно было, что казак тот хорош... Приключись беда не с Муратовым, взял бы я урядника-молодца к себе в конвой. А вы что затеяли? Эхма! Граф Эммануил Францыч! Ежедневно изволите то тем, то иным способом в удивление меня приводить. И уж вашему сиятельству со всей прямотой скажу: начал я от беспрестанных тех удивлений скучать...

Сен-При пожал плечами. Мелкие и частые зубы его оскалились в натянутой и неестественной улыбке. На несколько минут он перестал быть красавцем. Глаза его ловили неприязненный взгляд Багратиона, и, когда, поймав, встретились с ним, он сказал без злобы, но и не без язвительности в тоне:

- Мне не надо угадывать ваши желания, князь. Это так трудно, что даже атаману Платову не всегда удается. А уж за его высокопревосходительством мне ли угнаться?

Он поклонился и пошел к двери ровной походкой человека, озабоченного главным образом тем, чтобы спина его выглядела как можно равнодушней. Дверь за начальником штаба закрылась. Васильчиков почесал румяную щеку в тяжелой растерянности. По обыкновению, он решительно не знал, кто в этом деле прав. Своего мнения у него не было, но какое-то темное, смутное чувство влекло его на сторону Багратиона. Роль же Платова неприятно смущала и беспокоила. Атаман негодующе сплюнул и с солдатской ловкостью растер плевок ногой.

- Обиделся граф... А на что? Нешто казака своего выдать могу я? Сохрани бог! Совесть русская от многих веков и поколений как мир обширна. Окиян! И одни тонут, а другие плывут с честью и славой. От самой той ночи, как свершилось, знал я про Ворожейкина. Да хотел казака сберечь, господа! Потому и след путал, - темнил, как умел по простоте. Вашему же сиятельству благодарность душевная за суд скорый, правый и милостивый.

Вдругорядь иной фронтёр-понтёр призадумается середь народа своего на вражьем диалекте лопотать. Что за стыд! Только и слышно: сам пан тре, у макитре Маруся тре, а Микита тре-тре-тре... Ох, фонтёры-понтё-ры, лягушка их залягай!..

Через полчаса Платов и Васильчиков отъезжали от белого домика, в котором стоял главнокомандующий. Под ахтырским шефом плясала, делая красивые лансады, пугливая быстрая лошадь на высоких, тонких ногах. По-казачьи согнувшись и размахивая нагайкой, атаман гвоздем сидел в седле на своем маленьком степном скакуне.

- Знаете что, Матвей Иваныч? - сказал Васильчиков. - Князю Петру Иванычу неудобно, мне же - вполне пристойно сделать: отдай казака Ворожейкина в мой конвой!

- Сделайте ваше одолжение! - воскликнул Платов. - Ларивон Васильич! Почтеннейший! Бери! Да почему не услужить, коли то возможно и законом не воспрещено? Прошу! Храброму российскому генералу, каков вы являетесь, отказать никак не могу... Бери разбойника Ворожейкина!

Глава девятая

Прикрывая отступление Второй армии, Платов и Васильчиков разбили второго июля у местечка Романова передовой кавалерийский отряд маршала Даву под начальством генерала Пшепендовского. Это было второе крупное арьергардное дело армии Багратиона, не менее блестящее, чем первое - под Миром, но еще более значительное по результатам. Теперь армия могла без опасений двигаться на Бобруйск, а оттуда к Могилеву. А до боя под Романовом каждый шаг ее сопровождался риском быть настигнутой и окруженной. Багратион вздохнул свободно.

Он знал, что Наполеон до сих пор еще не выбрался из Вильны, продолжая руководить из этого города действиями маршалов - в частности, Даву и своего брата, Вестфальского короля Жерома. Наполеон, по-видимому, желал, чтобы Даву наступал на Вторую армию от Вильны, а Жером преследовал ее с тыла. Его целью было уединить Багратиона и взять его в тиски. Князь Петр Иванович отлично понимал смысл операций Даву и Жерома, но его беспокоили не столько они ловкий маневр с выходом к Могилеву должен был вырвать его из тисков, сколько полная неясность в положении Первой армии генерала Барклая. В самый день боя под Романовом Барклай вывел свои войска из укрепленного лагеря при Дриссе, где они, запертые в ловушке, могли ожидать лишь обхода и уничтожения. Барклай правильно сделал, что отступил, но при этом он как бы забыл о существовании Второй армии, - путь его отступления лежал через Полоцк к Витебску. Преследуемая войсками короля

Неаполитанского Мюрата и маршала Нея, Первая армия все дальше и дальше уходила от Второй. Это движение Барклая, спасительное для него, ставило Багратиона лицом к лицу с новыми затруднениями.

Даву и Жером действовали плохо. Даву долго задерживался в Ошмянах, Жером - в Гродне. Затем передовые войска были дважды разбиты арьергардом Багратиона. Вышло так, что вместо уничтожения Второй армии французам удалось лишь опередить ее в Минске и толкнуть на дальний путь через Несвиж к Бобруйску. Не этого, конечно, требовал Наполеон от Даву и Жерома! Багратион имел основание смеяться над своими преследователями и гордиться ловкостью, с которой обошел их. Но с Барклаем у него ничего не получалось. Барклай уходил, и соединение армий становилось крайне сомнительным, так как догонять министра и одновременно отбиваться от французов Багратион больше не мог. Таково было положение дел, когда пятого июля Вторая армия пришла в Бобруйск.

Если бы не Барклай с его отступлением к Витебску - этот марш казался Багратиону простым бегством, - положение Второй армии в Бобруйске было бы довольно выгодным. Самая крепость никаких удобств для защиты не представляла. Восемь плохо одетых бастионов с выходившей на реку Березину круглой оборонительной башней, казенные склады, бедный деревянный фор-штадт - все это было трудно защищать, да и не стоило. Зато река Березина являлась превосходной естественной преградой напору короля Жерома. Могилев уже не мог теперь выскользнуть из рук Багратиона. Правда, в восьмидесяти пяти верстах от него показалась французы. Но если бы даже авангард Даву занял Могилев раньше, чем Багратион подошел к нему{25}, то и в этом случае биться с французами один на один и перейти Днепр с боем у города было не так опасно, как искать дальних переправ и очутиться в конце концов между Даву и Жеромом. Багратион принял решение: пробиваться во что бы то ни стало и, прикрывая собой Смоленск, выходить на соединение с Первой армией. Спешить, спешить... Сорок пять тысяч человек - мало, очень мало...

- Як кіт наплакав, - говорили солдаты-украинцы.

Ничего! С сорока пятью тысячами можно смело идти на пятьдесят. Только бы развязать себе руки и ноги. Спешить!

Так рассуждал Багратион, сидя вечером в гостиной господского дома на фольварке Сапежино, в трех верстах по большой дороге от Старого Быхова. Он только что привел сюда свою армию из Бобруйска форсированным маршем по самому короткому тракту, чтобы заслонить французам путь на Оршу и

Смоленск. Господский дом на фольварке был удобен. Олферьев велел растопить камин, в гостиной стало тепло и светло. Ах, как отраден огонек камина под домашней кровлей! Дверь распахнулась, и в гостиную быстрыми шагами вошел Платов. У него было сердитое лицо. От волнения тугие желваки бегали на скулах под коричневой кожей.

- С новостью, ваше сиятельство! - громко заговорил он еще с порога, взмахивая обеими руками и ударяя ими по длинным полам синего казачьего мундира. - Прямо скажу: министр у нас, конечно, головастый человек. А поди ж! То и дело приводит войско донское в огорчение и меня самого в размышление...

Платов выхватил из-за пазухи лист бумаги.

- Не угодно ли приказец министра, сейчас мною полученный, вашему сиятельству прочесть?

Это было предписание генерала Барклая, которым донскому атаману повелевалось незамедлительно выйти из-под команды Багратиона и. направиться со всеми казачьими полками к Витебску для включения в состав Первой армии. Платов сел на шелковое канапе, широко расставив ноги в мягких сапогах. Князь Петр Иванович крепко закусил зубами побелевшую нижнюю губу, держа Барклаево повеление в вытянутой руке на отлете. Он не кричал и не бранился, а просто молчал. Платов знал грозный смысл этого молчания. Оно означало высший градус гнева. За ним следовала страшная буря. Атаману стало не по себе, и он тихо сказал:

- Давно я служу, много видал, ведомо мне очень, каково за себя и за других пробиваться... Жизнь - бедовое дело... А так и не научился!

Он распахнул мундир и вытащил из-под сорочки засаленную ладанку на тонкой золотой цепочке.

- Вот - корешочки. Из сада моего новочеркасского, с Дона взятые...

В остром взгляде главнокомандующего сверкнуло изумление: "Не спятил ли атаман?" Внезапное соображение это отодвинуло гнев в сторону.

- На кой ляд корешки твои к этому делу?

- Заговорить надо было бы, - горестно воскликнул атаман, - уж чего перней! И на ум министру пакость такая не взбрела бы..,

Багратион вздохнул. И с протяжным вздохом этим из груди его вылетел тягостно наполнявший ее гнев. Сердце его забилось свободней. Спазма, сжимавшая горло, разжалась. И он громко и весело захохотал.

- Эку гиль, душа, порешь! Заговорить... Ха-ха-ха! Колдун донской! Йа-ха-ха! Уморил, душа! Вовсе в прах уложил! Ха-ха-ха!

Он так заразительно смеялся, что и Платов, не выдержав, зафыркал.

- А коли не колдовать, то что ж нам взаправду с министром делать, а? Ты это скажи! Ах, он!.. Сам без оглядки бежит от Вильны... Меня с сорока пятью тысячами всероссийским спасителем произвел... И того ему мало! Теперь тебя отбирает. Ах, он!..

Багратион уже не сидел перед камином. Он бегал по гостиной так быстро, что фалды сюртука развевались около его колен, как флаги.

- Первое: не бывать тому! Эй, Олферьев! Адъютант вбежал.

- Садись, Алеша! Пиши, что говорить буду... "Атаману войска донского, господину генералу-от-кавалерии Платову. Поелику... Ввиду..." К черту, Алеша, и "поелику" и "ввиду"! Черкай их, пиши просто: "Предписываю вашему высокопревосходительству задержаться с войском донским при вверенной мне армии впредь до особого моего повеления!" Все! Выкуси, министр! Так! Слушай меня, атаман! Царь ни тебя, ни меня не любит. Слава наша не им подарена, - с бою взята. Такова наша слава, что не сладить с ней царю. Ты меня знаешь; сказал - свято. Берусь я соделать тебя Российской империи графом, ежели духом не упадешь, в пьянство не вдашься и с министром в стачку не влезешь. Верь! Будете графами - сам ты и сын твой Иван, а дочь Марфуша - графинюшкой. Только близ меня стой! Вместе и французам наложим, и министру поддадим... И тогда в благодарности царской я тебя с головы до ног выкупаю!

Платов кинулся к князю, чтобы обнять его. Из маленьких черных глаз атамана катились слезы. Пылкие слова без связи и последовательности срывались с губ.

- Не надо! Сперва дело сделаем! Тогда и спасибо скажешь! Теперь второе, Алеша! Пиши повеленье Раевскому: "Дабы предупредить находящиеся за Оршей французские войска выходом нашим на Смоленскую дорогу и занятием города Могилева, а также и для воспрепятствования движению их на Смоленск, чем ограждение центральных российских областей прямо достигается, повелеваю вам, господин генерал-лейтенант Раевский, со вверенным вам корпусом седьмым немедля предпринять диверсию по следующему плану. Имеете завтрашний день выступить к селу Дашковке, что от Могилева в двадцати верстах, а оттоль с частью корпуса вашего для усиленной рекогносцировки до самого города Могилева. Буде же окажется, что город французами занят, забрать язык и мне донести, в каком количестве французы тамо засели. Я сам с армией неотступно за вами спешу, и, при надобности, сикурс{26} полный вам

обеспечен. С сим вместе атаману войска донского мною повелено отступать на Старый Быхов для сближения с вами. На случай неудачи наступления нашего у Нового Быхова мост наводится..." Но не предвижу я неудачи, а один лишь несомнительный успех. Пусть авангард Давустов уже в Могилеве. Что в нем? Тысчонок шесть... Много? Не выбьем, что ль? С богом! Прощай, душа атаман! Олферьев! На конь, друг, скачи сам к Раевскому с повелением! Живо!

Глава десятая

Ночь кончалась, светало. Никогда до сих пор приемная комната губернаторского дома в Могилеве не выглядела так странно, как в этот ранний предутренний час. Люди в генеральских и полковничьих мундирах лежали на столах и составленных в ряды стульях, многие - просто на полу. Шляры - под головами, вместо подушек. Плащи и шинели - взамен матрасов и одеял. Адъютанты неслышно проносились через комнату и, осторожно приоткрывая дверь, исчезали за ней. Так же таинственно возвращались они и назад, подобные бестелесным духам. В кабинете, за дверью, ярко горели свечи. Лысый человек лет сорока, с пухлыми щеками, горбатым носом и жестким взглядом темных глаз, сидел за столом, перебирая бумаги и раздраженно покрикивая на адъютантов. Маршал Даву, принц Экмюльский, был в самом скверном из тех настроений, которые делали службу под его начальством невыносимой. И оснований для такого настроения было сколько угодно.

Во-первых, когда король Жером застрял по непонятным причинам в Несвиже, а он, Даву, послал ему приказ о немедленном выступлении вдогонку за Багратионом, глупец Жером обиделся, сложил с себя командование и уехал из армии. Соскучился по трону! К счастью, император достаточно хорошо знает, как. тупоголов и бездарен его брат, как талантлив и верен Даву, чтобы не обратить внимание на детские претензии братца! Во-вторых, - и это гораздо важнее, - непрерывные ссоры Даву с Мюратом и Неем, дрязги и взаимные обвинения в конце концов привели к тому, что император довольно резко обругал принца Экмюльского за его последние промахи. Добились! Это верно, что Даву упустил Багратиона. Но он хотел бы видеть другого маршала, еще более отважного и решительного, чем он сам, который не потерял бы следов своего хитрого и предприимчивого врага на этих пустынных песчаных просторах дикой страны. Хотел бы видеть! Впрочем, стоило императору обмолвиться бранным словцом, как принц Экмюльский преодолел все затруднения, обогнал Багратиона и, захватив Могилев, стал на пути отступления Второй русской армии со всем своим корпусом.

Интересно, кто из маршалов, упоенных страстями личного честолюбия и давно уже относящихся с эгоистическим равнодушием к выгодам своего повелителя, проделал бы такой курбет в доказательство беспредельной преданности и полного самоотречения? В-третьих... Но тут уже начиналась история сегодняшней ночи.

Вчера, к концу дня, Даву отправил в разведку шесть штабных офицеров. Он ожидал их возвращения вечером или в конце ночи и потому приказал всем дивизионным, бригадным и полковым командирам собраться к сумеркам в дежурной комнате губернаторского дома, рядом со своим кабинетом. И что же? Ни один из разведчиков не вернулся до сих пор! Может быть, Ней, или Мюрат, или безмозглый Жером ввиду этой непредвиденной задержки и распустили бы командиров по домам, чтобы дать им возможность отдохнуть и выспаться в постелях. Но не таков был Даву, принц Экмюльский! И вот, хотя сведений из разведки все еще не было, генералы и полковники валялись в приемной комнате, продолжая ожидать приказаний и не смея уйти. Даву не сомневался в том, что они клянут его за грубость и безжалостность. Пусть! Пусть клянут и валяются на полу... Даву не выскочка, как они, нет! Он - кавалерийский офицер из старой дворянской семьи, и не этим мужланам Дессе, Компану и другим судить о достоинствах и недостатках его военной системы. А что такое дисциплина, он знает получше их. Пусть же они шепчутся о его надменной суровости, чрезмерной раздражительности и взыскательности, - зато ни один из них не посмеет и заикнуться об этих вещах вслух. Несмотря на все сплетни и злорадные подсказки, императору известно, что у него нет маршалов дельнее и преданнее Даву. Итак, это хорошо, что генералы валяются на полу. Однако почему же до сих пор нет никого из разведки? Черт побери!..

- Капитан Пьюон де Комб, ваша светлость! - доложил адъютант.

- Ага! Сюда его скорей!

Капитан стремительно вошел в кабинет. Это был высокий молодцеватый офицер с помятой физиономией, на которой странно смешивались выражения открытой смелости и тайного нахальства.

- Какой дьявол носил вас столько времени вокруг этого проклятого города? - крикнул Даву, опрокидывая на разведчика весь запас скопившейся за ночь досады. - Какой дьявол? И вы всегда возвращаетесь первым, но с пустыми руками. Я кончу это. Вы пойдете командовать взводом, несмотря на ваш чин, полученный с помощью темных проделок. Я все знаю.

Докладывайте!

Сам дворянин, Даву тем не менее терпеть не мог мелких аристократиков, все гуще наполнявших ряды французской армии. Сам верный императору на жизнь и смерть, он не верил в их преданность и даже простую лояльность. Что-то оставшееся от прежнего в нем самом раскрывало перед ним души этих людей. И отсюда возникала его подозрительность.

- Докладывайте! Но если с пустыми руками, на взвод!

Капитан задрожал. С каким наслаждением он ответил бы на грубость этого прощелыги с маршальским жезлом под мышкой полновесной плюхой! Ничтожный, бургундский нобль{27} сыплет дерзостями, а он, Пьон де Комб, предки которого при Людовике Святом именовались маркизами Монтрезорскими, а при Генрихе Четвертом - графами и виконтами де Жюмильяк, слушает и молчит, вытянувшись в струнку! Подлое время! Между тем капитан вернулся не совсем с пустыми руками. Только разобраться в том, с чем он вернулся, было нелегко. Черт действительно довольно долго "носил" его по окрестным холмам и широким хлебным у-долам, в которых, прижавшись к земле, как стаи куропаток, лежали убогие деревушки. И наконец "нанес" на два полка русских егерей, осторожно подходивших к деревне Салтановке. Что это были за полки, шли за ними другие, более крупные русские части или не шли, - ничего этого капитан не знал, да и узнать не мог, так как, не желая рисковать, немедленно повернул коня и стремглав умчался в город. Не будь сейчас Даву так бесцеремонно груб, Пьон де Комб, вероятно, ограничился бы скромным донесением о том, что в действительности видел. Но дерзости маршала и невозможность ответить на них оплеухой всколыхнули самолюбивое воображение знатного француза. Кроме того, ему ни за что на свете не хотелось очутиться в строю и командовать жалким взводом. Не для того же связал он свое чистое имя с разбойничьей славой Наполеона и дотянулся до капитанских эполет... Ненависть и злость наполнили его голову горячим туманом. "Будь что будет! Я покажу тебе, что явился не с пустыми руками... Я проучу тебя, бургундский ублюдок!" - подумал он.

- Русские войска наступают на Могилев со стороны Дашковки через Новоселки и Салтановку. Судя по количеству войск, это - авангард армии генерала Багратиона, за которым следует армия. Вашей светлости...

- Вы сами видели? - быстро спросил Даву.

- Да, ваша светлость! - гордо ответил Пьон де Комб.

- Благодарю вас. Ступайте. Вы поведете войска на позиции. Адъютанты! Генералов ко мне!

Маршал услышал от разведчика именно то, чего ожидал и боялся...

Пехота Даву состояла из двух полков дивизии генерала Дессе и трех полков дивизии генерала Компана - всего двадцать пять батальонов. В девять часов утра одиннадцатого июля эти войска были выведены из Могилева капитаном Пьон де Комбом. Мысленно пожимая плечами и растерянно оглядываясь по сторонам, капитан остановил их за версту от города, около деревни Салтановки. Он повел бы их и дальше, туда, где видел на рассвете русских егерей, но старый и опытный командир одного из стрелковых батальонов, майор Лемуан, сказал ему у Салтановки:

- Славное место для боя! Видите?

Капитан осмотрелся. Налево, между топкими берегами, струился Днепр. Впереди темнела широкая полоса оврага, по грязному днищу которого мутно поблескивал извилистый ручей. За оврагом поднималась густая щетина соснового леса. От деревни к лесу были перекинуты мостки и узенькая плотина с накатом из поперечных бревен. Направо открывались песчаные бугры пустынного ската, сливавшегося с оврагом.

- Славное место! - подтвердил Пьон де Комб, наглость которого обычно была благоразумной, то есть молчала до тех пор, пока не поднимали свои голоса самолюбие и гордость.

Майор Лемуан должен был разбираться в этих вещах. И капитан остановил войско. Саперы тотчас принялись заваливать мост и рубить бойницы в стенах деревянной корчмъ! над оврагом. Стрелковая рота засела в корчме, почти мгновенно превратившейся в блокгауз. Прискакал Даву, вихрем промчался вдоль позиции и благосклонно буркнул Пьон де Комбу:

- Позиция хороша, капитан! Сегодня ваш день!

Даву был в дураках. Слепое счастье повертывалось лицом к потомку Монтрезорских маркизов. Но душа этого молодца была полна тревоги. "Сегодня мой день? - мысленно повторял он многообещающие слова маршала. - О, это еще не известно! Где русские? Где Багратион? Даже егеря, которых я видел утром, куда-то исчезли... Никого, решительно никого нет! Боже, помоги мне!" Отчаяние и страх морозом пробегали по спине капитана. А Даву распоряжался:

- Мост и плотина под нашим огнем, - прекрасно! Генерал Дессе, размещайте ваши полки справа от дороги, у самой деревни. Три батальона здесь... Что? Да, на открытом месте. Так и надо. Один батальон отправьте к мельнице, четыре поставьте между мельницей и той дальней деревней. Впереди, по берегу оврага, - еще два батальона. Так! Генерал Компан,

пристраивайтесь к Дессе слева. Пять батальонов - в резерв, пять - посредине, последние пять - у города...

В этой возне прошло около часа. Вокруг Пьон де Комба рыскали адъютанты, суетились и кричали офицеры, громыхали на скаку орудия и зарядные ящики, тесными шеренгами маршировали батальоны и роты. Один капитан не двигался с места. Его лицо было бледно и глаза не отрываясь смотрели на лес. Русских не было... Даву ускакал в город.

- Куда же делись эти азиаты? - сердито проворчал майор Лемуан, выводивший своих стрелков к оврагу. - А что, если вся эта кутерьма впустую?

У Пьон де Комба екнуло сердце и возникло странное ощущение в ногах: ступни продолжали твердо упираться в землю, но выше, где колени, не было ничего, и поверх этой пустоты плавал он сам, раскачиваемый и подбрасываемый волнами страстных ожиданий. Голос Ле-муана донесся до него издали:

- Э, нет, не впустую! Вон они, вон они...

Пьон де Комб рванулся вперед. Действительно, русские выходили из леса несколькими колоннами в сомкнутых рядах. Судя по амуниции, это были те самые егеря, которых капитан видел на рассвете. Внезапно ожила вся позиция. Рявкнули орудия, грянул батальонный ружейный огонь. Русские остановились и замерли под картечью на опушке соснового леса, за песчаными холмами, которые тянулись перед ними неровной грядой...

Когда к полудню Даву снова приехал на позицию, бой уже развернулся. Трудно было сказать, вся ли армия князя Багратиона наступала на Салтановку или только часть ее. Но упорство, с которым русские пытались перейти овраг около плотины, было поразительно. Батальон Лемуана не выдержал их жестокого огня и начал пятиться назад. Все старания майора ободрить и воодушевить солдат были напрасны. Старик потерялся. Пробитая пулей шляпа слетела с его головы. Он растоптал ее ногами и в неистовстве колотил себя кулаками по седым вискам. Тут-то и подскакал к батальону маршал.

- Стой! - закричал он, овеваемый свинцовой бурей, и вздернул коня на дыбы перед самым солдатским строем. - Стой! Майор! Я хочу научить ваш славный батальон ружейным приемам. Ему еще не случалось учиться под огнем. Маршал командует вами, стрелки! На караул! На плечо!..

Батальон дружно забрякал ружьями. То один, то другой солдат падал, не успев доделать прием. Но остальные с привычным усердием подбрасывали ружья, размеренно и точно подхватывали их под приклады, крепко сжимая ложи и не замечая ни гибели товарищей, ни угрожавшей им самим

смертельной опасности. А русские залпы гремели все чаще, поражая батальон все с большей меткостью и убийственной силой. Майор Лемуан, багровый от негодования и досады, бегал кругом маршальского коня и восклицал громовым голосом:

- Ваша светлость! Я приказал отступить батальону, так как у меня кончились патроны... Клянусь! Пощадите батальон, ваша светлость!

Но Даву не слышал или делал вид, что не слышит, и продолжал командовать. "Проклятый ублюдок! - с бешенством подумал капитан Пьон де Комб. - Из-за его фокусов нас всех перебьют здесь..." Эта трусливая мысль мелькнула в его голове, как птица - быстро взмахнула крыльями и упала вниз. Капитан огляделся, кусая губы. Через минуту его уже не было на месте побоища.

Даву по близорукости, может быть, не видел того, что совершалось на русской стороне оврага. Адъютант доложил ему:

- Ваша светлость! Русские переходят овраг!

- Майор Лемуан! - крикнул маршал. - Ваш батальон превосходно знает стрелковый артикул! Теперь возьмите его и выбейте неприятеля из оврага! В атаку, солдаты, в атаку!

Лемуан побежал навстречу огню, батальон - за ним...

Пьон де Комб стоял в лесной гущине и так плотно прижимался к огромной толстой сосне, что шершавая кора ее царапала ему щеку. Неожиданный припадок страха, овладевший капитаном на стрелковом учении, еще не прошел Гул сражения долетал и сюда, глухо раскатываясь по лесу. И капитан то и дело вздрагивал с болезненной живостью. Но вот он задрожал мелко и часто, как собака при виде крови. Пальцы его судорожно вцепились в дерево. Он почти перестал дышать.

По широкой лесной поляне, лежавшей шагах в пятидесяти от Пьон де Комба, пригнувшись к луке седла, встопорщив длиннейший ус и сбив на затылок шапку, метался старый казак. Откуда он взялся? Капитан не приметил. Через минуту на поляну вылетели еще несколько всадников. Уткнувшись бородами в гривы косматых коньков, они двинулись за старшим тихой ходой, мягко покачиваясь в седлах, прямо на Пьон де Комба. Итак, Даву ошибся: сегодняшний день не был днем капитана, и судьба бедняги должна была сейчас решиться самым печальным образом. Капитан зажмурил глаза, ожидая приветствия пикой, а то и простой затрещины. Но все произошло не так, как он предполагал. Тяжелая рука крепко ухватила его за плечо. Дюжина рук с неимоверной быстротой прошлась по всему его телу, вмиг освободив карман от пистолета. И наконец, тонкий жгут больно скрутил его локти за спиной. Все это делалось удивительно

ловко, без всяких лишних движений и потери времени, с такой поразительной точностью, что капитан не успел ахнуть. Казаки деловито перемолвились вполголоса и, сбившись по знаку старшего в кольцо, посредине которого находился пленник, тронулись по направлению к лесной опушке. Свершилось!

Вдруг что-то грохнуло впереди, свистнуло, отзываясь в чаще тысячью звонких подголосков, и посыпались с деревьев дождем веток и сучков. Потянуло дымком. Два казака, скособочившись, медленно повалились с седел. Их подхватили товарищи. Залп? Откуда? Могучий удар пики в плечо опрокинул капитана. Он упал навзничь, больно стукнувшись о древесный корень затылком, оглушенный громким казачьим гиком. Всадники исчезли еще скорей, чем появились. Пьон де Комб с трудом поднялся на ноги. Затылок и плечо его больно ныли. Он сделал несколько шагов с места, где чуть было не погиб, и остановился, ослепленный изумительным зрелищем. Рассыпной строй французских стрелков выкатывался прямо на капитана из-за деревьев. Их ружья, взятые на прицел, дымились. Впереди бежал майор Лемуан.

- Кой дьявол! - закричал старый батальонер, увидев растерзанного и связанного Пьон де Комба. - Кой дьявол, я говорю! Да каким же это образом вы попали сюда, любезный капитан? Мои товарищи все еще очищают свои солдатские души от утреннего греха. Мы выбили русских из оврага, - ох, что это было за дело! Теперь маршал послал нас сюда, - он боится обхода через лес. Азиаты лезут со всех сторон, и он хочет, чтобы мы их здесь встретили. Но вы... вы? Зачем вы здесь.

Нет, Даву не ошибся! Этот день был действительно днем Пьон де Комба, и счастье продолжало служить ему. Вся наглость, на которую он был способен, прихлынула сперва к его сердцу, потом - к голове.

- Я? Зачем я тут? - переспросил он майора. - По приказу маршала, я должен вести ваш батальон во фланг к русским, - вот зачем я тут! Но проклятые казаки перехватили меня... Да прикажите же, майор, развязать мне руки! О, как болит плечо! Но крови, кажется, нет... Что ж? Не будем тратить время. Вперед!

- Вперед за капитаном, стрелки! - скомандовал послушно Лемуан.

Глава одиннадцатая

Генерал Раевский выступил из Дашковки с двумя егерскими полками и двумя батальонами пехоты ясным и тихим утром, под теплым, крупным и частым дождиком. Маленький отряд шел скорым шагом по прямой и ровной дороге. Еще при Екатерине II, лет тридцать тому назад, здешние дороги были обсажены

березами. Теперь эти высокие, старые, развесистые деревья придавали им вид бесконечно длинных, роскошных аллей.

Отряд был уже недалеко от Салтановки, когда его нагнал на запаренной лошади молодой белокурый адъютант в конногвардейском мундире, с радостно взволнованным лицом. В серых глазах его дрожал тревожный блеск. По всему было видно, что он полон того особенного, очень сложного настроения, которым поднимается дух человека на чудесную высоту и которое переживается только раз в жизни - перед первым боем. Адъютант подскакал к Раевскому.

- С чем присланы, Олферьев?

- Повеление главнокомандующего, ваше превосходительство. Полагая, что в Могилеве лишь авангард маршала Даву, - не более шести тысяч пехоты, - князь почитает необходимым, чтобы ваше превосходительство собрали весь седьмой корпус и уже не рекогносцировку предприняли, а прямую атаку Могилева...

Бесхвостый жеребец Раевского неожиданно взыграл. Генерал ударил его рукояткой хлыста по лбу и тотчас же погладил по переносью, давая повод. Эти движения были естественно-просты и деловиты. Раевский был опытным наездником. Но в Ольферьеве они вызвали взрыв почтительного восхищения генералом. "Сейчас он узнал, что будет бой, большой бой... Где же беспокойство? Ни одна черта в лице не дрогнула... Он занят конем, словно ничего не изменилось от того, что я сообщил ему!"

- Хорошо, если князь не ошибается, - сказал Раевский, - и если в Могилеве действительно не больше войск и нет еще самого Даву... Попробую! Вы будете возвращаться через Дашковку, Олферьев?

Голос корнета зазвенел:

- Ваше превосходительство! Князь Петр Иваныч не станет гневаться... Дозвольте мне не возвращаться! Дозвольте остаться при вас, ваше превосходительство!

- Что за пустяки? Зачем без нужды подвергаться опасности? Еще успеете, корнет! Итак, отправляйтесь назад через Дашковку. Загляните в двенадцатую дивизию - к генералу Колюбакину, в двадцать шестую - к генералу Паскевичу, в Ахтырский полк - к генералу Васильчикову и в артиллерию. Передайте приказание мое тотчас ко мне следовать. Князю доложите: все сделаю, что в силах будет. Но расчет его едва ли верен. Во французских дивизиях по двадцати восьми батальонов состоит против наших двенадцати. Во всем моем корпусе двадцать четыре батальона, не сильнее пятисот человек каждый. Если напоремся на Даву, плохо окажется. Впрочем... Отправляйтесь!

- Ваше превосходительство!

- Корнет, марш!

Олферьев приложил руку к шляпе, повернул лошадь и ветром помчался в обратный путь. Кто знает? Доведись ему скакать не под сотнями человеческих глаз, а одному-одинешеньку по пустынной дороге, может быть, он и расплакался бы сейчас совершенно по-детски.

В бинокль было видно, как колонны французских войск стройно двигались по улицам Салтановки и кругом деревни - направо, налево, позади. Дождь прекратился. Солнце выплыло из-за туч и залило ярким блеском эту прекрасную картину. Генерал Раевский не отнимал бинокля от глаз. Около него стояли командиры только что подошедших войск - Васильчиков и еще один, молодой, сухощавый генерал с правильными, но мелкими чертами живого лица. Это был начальник двадцать шестой пехотной дивизии генерал-майор Паскевич.

- Спасибо, Иван Федорыч, что поспешили дивизию привесть, - сказал ему Раевский.

- Не шли - летели, невзирая, что солдаты в шинелях, с ранцами, ружья на плечах, - хвастливо проговорил Паскевич. - Знали, что от быстроты жизнь зависеть будет...

Раевский отвел бинокль от глаз и сбоку посмотрел на Паскевича, как старый умный человек смотрит иной раз на пустого, невдумчивого ребенка.

- Полноте! Разве вы еще думать не забыли о жизни!

Васильчиков засмеялся. Паскевич раскрыл было рот, чтобы ответить, но ничего не ответил, только приложил руку к шляпе и вытянулся.

- Итак, - продолжал Раевский, - берите, Иван Федорыч, вашу дивизию, а вы, Ларивон Васильич, ваших гусар и двигайтесь лесом, в обход правого фланга французов, - он в версте от дороги. Когда обогнете фланг и выйдете на ровное место, я с двенадцатой дивизией ударю в середину - через мост. Прошу к войскам, господа генералы!

Сосновый бор, по которому двигался Паскевич, был так част, что только рассыпанная пехота могла сквозь него пробраться, да и то лишь по тропинкам, гуськом, человека по три в ряд. Васильчиков с гусарами давно отстал, - для кавалерии лес оказался непроходимым, и ахтырцы вернулись назад. Но оставленный Васильчиковым конвой с обычной казачьей ловкостью все дальше и дальше проникал в глубину бора. Вероятно, обходное движение было уже на половине, когда перед Паскевичем выросло несколько человек донцов на взъерошенных конях с перекинутыми поперек седел телами двух убитых товарищей. Урядник, усы и брови которого были так длинны, что

развевались на скаку, доложил:

- Хранцы навстречь валят, ваше превосходительство... без ошибки!

И в подтверждение - о, как был теперь осторожен Кузьма Ворожейкин! - он махнул рукой в ту сторону, где висели с седел трупы сраженных станичников. Паскевич, нервничая, выщипывал из правого бакена волосок за волоском.

- Много?

- Близ тысячи, а сколь за ними, не могим того знать. Егеря ихни...

Маленькие бесцветные глазки генерала сверкнули: "Угу! Ясно: мы их обходим справа, а они нас - слева. Ну что ж!"

- Есть, старик, дорога из лесу?

- Полная дорога, ваше превосходительство... Как лесу к опушке поредеть, тут та дорога и вчинается... "Ясно!" - наспех соображал Паскевич. - Егерская бригада примет вправо от дороги, два полка второй - влево. Артиллерия пойдет по самой дороге. Это первая боевая линия. Прочих - в резерв. А на случай нужды они же - вторая линия..."

Кое-как перестраиваясь, - лес уже начинал редеть, но еще не дозволял никаких точных движений, - дивизия постепенно подходила к тому месту, откуда открывалась дорога. Однако полки так и не успели разместиться по указаниям генерала. Три ружейных залпа, метких и, по близости дистанции, совершенно губительных, обрушились на них один за другим. Это действовал со своим батальоном майор Лемуан. Цепи французских стрелков отчетливо виднелись впереди. Что было за ними? Та ли тысяча, о которой доносил казачий урядник, или много, а может быть, и очень много тысяч? Паскевич нервничал все сильнее, и от этого уже довольно заметно укоротился его бакен. Егеря первой линии отвечали французам, - лес наполнился грохотом залпов и едким пороховым дымом. С поляны, на которую выскакал генерал, французские стрелки казались рядом. Паскевич обернулся и закричал:

- Травин, подайте мне сюда два орудия!

Командовавший артиллерийской ротой поручик - к нему-то и относилось приказание - имел гордую осанку и вид забияки. Но локти его мундира были протерты, панталоны старательно залатаны на коленях, нитяный темляк на шпаге, шнур и этишкеты{28} на кивере потрепаны и грязноваты. Офицер этот, несомненно, был очень беден. Но вместе с тем можно было заметить, что мундир его сшит не из солдатского а из хорошего, тонкого сукна и сидит на нем складно и ловко. Вероятно, мундир и его хозяин помнили лучшие времена.

Старые шестифунтовые пушки, гремя, мчались к бугру, с которого распоряжался Паскевич:

- Ставьте на картечный выстрел... Егеря, в прикрытие к орудию! Открывайте огонь! Сейчас я прикажу полкам выходить сюда. Начинайте же!

Орудия грянули, и бугор заволокло сизым дымом.

- Славно! - крикнул Паскевич.

Но того, что открылось перед ним, когда дым рассеялся, он не ожидал увидеть. Одна из пушек лежала на боку. Возле нее валялась гнедая лошадь поручика Травина с развороченным брюхом. Сам поручик, смертельно бледный, с лицом, обрызганным лошадиной кровью, вытаскивал из-под коня зашибленную ногу. Ему помогал такой же бледный канонир.

Паскевич задохнулся от бешенства. На губах его мгновенно вздулись пузырьки белой пены. Он так пустил своего жеребца, что тот перескочил через разорвавшуюся пушку и едва не раздавил Травина.

- Нет, не вы, а я глуп, что приказал вам стрелять! Что? Вы не виноваты? Шпагу вашу сюда, поручик! Вы арестованы! Я вас сгною на палочном пикете{29}! Где канонир? Как звать? Угодников?.. 3-запорю! Адъютант, запишите: сто палок мерзавцу...

Между тем французские стрелки так близко подошли к бугру, на котором гневался генерал, что пули их непрерывно свистели кругом и орудийная прислуга падала. По редкой французской цепи можно было бить только картечью. Паскевич пришел в себя. Бешенство так же быстро остыло в нем, как и вскипело. Да виноват ли действительно этот офицер в том, что екатерининская пушка лопнула?

- Травин! - закричал он. - Возьмите из батареи еще четыре орудия и ведите их сюда!

Поручик живо отстегнул из-под зарядного ящика пристяжную лошадь, вскочил на нее и умчался к батарее.

- Четыре орудия с правого фланга, за мной! Громыхая, пушки выскакали на бугор.

- Стой! Картечный огонь!

Выстрелы заахали. Цепь приблизилась. Снова полыхал ружейный огонь. А позади уже трещали барабаны, и два пехотных полка первой линии колоннами к атаке, склонив ружья на руку, мерным шагом подвигались вперед, прямо на французов. Паскевич улыбнулся, показывая острые зубы.

- Славно! Поручик Травин, ко мне! Спасибо! Адъютант, возвратите поручику шпагу! Травин принял шпагу с поклоном.

- Позвольте напомнить, ваше превосходительство, о канонире

Угодникове...

- Что? Какой Угодников? О чем вы?

Травин с поклоном вернул свою шпагу адъютанту.

- Коли так, остаюсь под арестом. Но на палочном пикете не буду.

- Не лезьте на рожон, - шепнул ему адъютант. - Разумеется, я вычеркну эти сто палок Угодникову. Что за фанаберия?

- Примите шпагу, господин офицер, - гордо проговорил Травин. - Я не возьму ее, покамест... генерал окончательно не опамятуется!

От батальона Лемуана осталось не больше двухсот человек. Майор с отчаянием искал глазами Пьон де Комба. Этот капитан - доверенное лицо маршала. Он завел сюда батальон Лемуана, он же должен и вывести его из этого ада. Но Пьон де Комба не было нигде. Он исчез. А убийственная русская картечь не переставала визжать, и солдаты валились целыми взводами.

- Кой дьявол! - рявкнул наконец майор. - Ко мне, друзья! Пойдем назад!

Но отступать было поздно. Картечный огонь потух. По лесу громовыми ударами раскатилось могучее "ура", и стальная стена русских егерей упала на остатки французского батальона.

Ворожейкин с дюжиной казаков давно уже вертелся около Лемуана. И наконец настала минута, когда майор ощутил на своей шее тугую веревку. Он хотел сорвать ее с себя и не смог. Ноги его подкосились. Из глаз брызнула кровь... Конь майора, в ужасе мотая головой, вырвался из свалки. За ближайшими деревьями его без труда поймал капитан Пьон де Комб, наблюдавший отсюда за ходом дела и его развязкой. Теперь ему все было ясно. Счастье сидело с ним в седле. Он дал коню шпоры и понесся из леса. Капитан спешил к маршалу Даву с донесением о несчастном, но блестящем авангардном сражении на правом фланге, о геройской гибели батальона и его командира... Капитан был единственный, чудом уцелевший участник этой славной бойни. И он почти не сомневался, что беленький крестик Почетного легиона сегодня же повиснет на его высокой груди.

Паскевич задал пленному майору несколько вопросов. Но Лемуан отвечал на них только отчаянными восклицаниями:

- Ah, mon dieu! Ah, Jesus, Marie! Maintenant tout s'en ira au diable{30}!

Генералу некогда было долго возиться со стариком.

- Il veut paraite foil, - подозрительно сказал он, - c'est de canaille{31}! Отправьте пройдоху к командиру корпуса. Генерал Раевский разберется с ним лучше, чем я...

И Ворожейкин пустился с Лемуаном в путь.

- Что, брат, - говорил он ему по дороге, - какова Россия? И что за леший принес тебя сюда!

- Ah, mon dieu! - восклицал майор. - La guerre est perdue, si nos braves troupes sont conduites par des vauriens tels que ce Pionne de Combe{32}!

Ворожейкин ни слова не понимал из того, о чем кричал майор. Но, по странной случайности, мысль его в эту минуту тоже обратилась к пресловутому капитану.

- Тебе, старику, не стыдно и в плен идти, - толковал он, - а вот того молодца выпустили, - до слез обидно. Разиня растяпе в рот заехал. Ну, да и я не с улицы урядник. Хрест святой - того ахвицера заарканю. Хошь не жить!

И он, сняв шапку, перекрестился.

Между тем перекаты ружейной пальбы все еще наполняли лес. Казалось, будто множество дровосеков разбрелись по нему и с прыткой ловкостью работали топорами. Однако огонь заметно передвигался к опушке. К этому времени Паскевич уже выводил свои войска из лесу к мельнице. Но кругом этого ветряного сооружения сверкали штыками такие густые колонны французских полков, что генерал зажмурил глаза. "Как же говорили, что в Могилеве всего шесть тысяч? Да их тут, против меня, не менее!" Всего лишь около пятидесяти саженей отделяли Паскевича от французов. Место, на которое он вышел из леса, было неудобно для свертывания войск в колонну. Поэтому он начал строить их в линию и выслал вперед стрелков. Егеря тотчас превосходно заработали. Каждый фланкер выискивал кочку или кустик, подползал, приловчался и ни одного выстрела не выпускал даром. Паскевич с гордостью смотрел на своих солдат. "А ружья! Как сбережены! Как несут далеко и верно!" Однако он уже видел, что отбить французов от мельницы ему не под силу. "Сделаю все, а там..." Он схватил за рукав адъютанта.

- Скачите к генералу Раевскому, доложите, что против меня не две, а двадцать тысяч, и требуйте хотя батальона три в сикурс... Живо!

Он обернул коня.

- Травин!

- Что прикажете, ваше превосходительство?

- Э-э... Почему вы без шпаги! Я же возвратил вам ее...

- Канонир Угодников, ваше превосходительство... Паскевич в ярости сорвал с руки перчатку и швырнул ее наземь.

- Черт вас возьми, поручик, и с канониром вашим!.. Ну-ка, прикажите ему навести на ту кучку, что верхом у левой поставы. Там генерал... Не Компан ли? Живо!

Травин кинулся к орудию. Высокий солдат в шевронах и с

огромными бакенами - это был Угодников - засуетился. Через минуту ядро с ревом понеслось к мельнице. Кучка всадников прыснула в стороны. Трое лежали на земле, и ядро кружилось между ними.

- Славно! - крикнул Паскевич. - Славно! Сбить теперь еще вон тех - и крест егорьевский канониру Угодникову. Поручик Травин! Надевай шпагу! Жарь картузами! Господа полковые командиры, к атаке!..

Глава двенадцатая

Раевский не верил своим глуховатым ушам.

- Сколько? - переспросил он.

- Шестьдесят тысяч, - ответил Лемуан.

- Как? Разве не авангард лишь генерала Борде-суля?

- Шестьдесят тысяч, генерал. Весь корпус маршала Даву.

- Отправить господина майора в главную квартиру, - приказал Николай Николаевич, - и передать главнокомандующему от меня вот эту записку...

Он набросал на клочке бумаги несколько слов. С этой минуты он понял, что Могилева не возьмет, так как десять тысяч человек ничего не смогут сделать с шестьюдесятью тысячами. Получив его записку и опросив пленного майора, в том же должен будет убедиться и Багратион. Но бой полыхал, и сдержать его размах было не легче, чем добиться успеха. Строго говоря, французская позиция на горе у Салтановки была неприступна. Окружавший деревню лес не позволял подступить к ней иначе, как по большой дороге. Вдоль этой дороги была установлена сильная французская батарея. Перед самой деревней - овраг с мостом и плотиной. Оба перехода были сломаны и завалены кольем. Уже несколько раз полки двенадцатой дивизии ходили в атаку через овражные топи. И... возвращались назад. Несмотря на то что картечный и ружейный огонь косил солдат, они не помышляли об отступлении. Однако и порыв к атаке уже иссяк в них. Они твердо стояли на месте. Подбитые пушки немедленно заменялись новыми, раненые и убитые люди - здоровыми. Ядра рвали землю, обдавая грязью целые шеренги, и, снова взлетев, неслись через головы. Каких только скачков и прыжков они не выделывали тут! Кони щетинились, храпели и нюхали воздух. Казалось, будто они спрашивали друг друга: "А не знаешь ли, земляк, что за дьявольщина здесь затевается?" Зато всадники сидели избочась и в ус не дули. У кого повалило коня, тот спокойно снимал седло, саквы и отходил назад. За коня казна платила, за седло - нет. Генералы Раевский и Васильчиков уже часа два стояли под огнем на берегу оврага против плотины.

- Орудийные выстрелы слева... Вы слышите, Николай

Николаевич?

Раевский приложил пригоршню к левому уху.

- Да... Это Паскевич выходит на простор и развертывается. Теперь нам опять надо поднимать своих.

- Едва ли пойдут, - со вздохом отозвался Васильчиков.

- Что?

Ядро взбило у ног Раевского землю. Он равнодушно поглядел на него, как на совершенно посторонний предмет, и продолжал говорить:

- Обратите внимание на французских стрелков. Какая ловкость! Перестреливаясь, они в постоянном движении. Они ни на минуту не подставляют себя как цель. Так вы говорите, что не пойдут?

Он оглянулся, отыскивая кого-то глазами. Кого? Позади толпились адъютанты, и среди них - оба сына генерала. Александр упрашивал подпрапорщика Смоленского пехотного полка, огромного детину с детским лицом, который высоко поднимал над головой старое белое знамя своего полка:

- Слушайте, вы ранены... Вам трудно... Дайте мне знамя, я понесу его!

- Оставьте меня! - грубо отвечал подпрапорщик. - Я сам умею умирать!

И он тут же подтвердил свое гордое слово - ахнул и опрокинулся навзничь. Пуля ударила его в переносье. Александр Раевский подхватил знамя и поднял его так же высоко, как держал убитый.

- Знаешь имя подпрапорщика? - спросил он ближайшего солдата-смоленца.

- Зиминский, ваше благородие! Хорош был, царство ему небесное. Молоденек еще, а весь в отца... Я с батькой ихним под Дербент хаживал...

Но солдат не досказал своей повести - брякнулся наземь.

- Дети! - крикнул Николай Николаевич. - Ко мне!

Александр передал кому-то знамя и бросился на зов. Рядом с ним бежал младший брат его, Николай, бледный и решительный. Барабаны били поход. Офицеры ровняли ряды. Васильчиков вскочил на коня и отъехал к своим гусарам. Странное спокойствие охватило войска перед атакой. Николаю Николаевичу было известно, что это такое. Иногда это имеет значение грозной тишины, воцаряющейся обычно в природе перед порывом сокрушительной бури. Иногда, наоборот, - это начало того тяжкого оцепенения, из которого уже не может вырваться упавший человеческий дух. Что оно означало сейчас? Николай Николаевич махнул платком. Команды полковых командиров

повторились в батальонах, перекинулись в роты...

- Справа... к атаке... марш!

Но войска стояли неподвижно! Ага! Неужели Васильчиков прав? Раевский взял сыновей за руки и пошел с ними к плотине.

- Штаб, за мной!

Он уже отошел от первой линии настолько, что со всех пунктов расположения русских войск была отчетливо видна эта картина бестрепетного мужества. Он шагал к плотине и, изредка обертываясь, повторял:

- Ребята! Вот я, ваш генерал, и сыновья мои со мной! Вперед же! Вперед!

Волна восторга и ужаса прокатилась по полкам. Все, что стояло вдоль оврага, вплоть до самого леса, вздрогнуло и рванулось за Раевским. А они уже были на плотине, между трупами, колесами разбитых пушек и остатками полуразбросанного завала. Они были впереди, и потому войска не стреляли. Тысячи людей бежали с примкнутыми штыками. Адский огонь встретил эту необыкновенную атаку. Все валилось, и все неслось вперед...

Но лобовая атака и на этот раз была отбита. Войска отошли с плотины, облепленной кровавой кашей тел. Лишь по сторонам еще кипели схватки.

- Справа по три, марш! - скомандовал своим гусарам Васильчиков, и они помчались за ним.

Скакать через густой кустарник было невозможно. Между ним и лесом тянулась широкая просека, покрытая недокорчеванными пнями. Гусары шли по этой просеке развернутым строем. Огненный дождь поливал их. Ядра крутились под ногами генеральского огня. Васильчиков несся галопом, не обнажая сабли, и, оглядываясь, кричал:

- Легче! Легче! Равняйтесь, гусары!

Это было прекраснее любого петербургского парада. Но через четверть часа ахтырцы той же просекой скакали назад...

Белое знамя Смоленского полка плясало, прыгая из рук в руки. Унтер-офицер Сватиков, старый и больной солдат, начавший службу при Потемкине, не спускал со знамени глаз. От быстрого бега в груди Сватикова зашелся дух. В боку резало и кололо, словно острым щебнем был наполнен бок. Ноги и руки тряслись от непосильного напряжения. В голове рвались какие-то фугасы.

Однако он следил за знаменем. Вот оно рухнуло вниз, жалостно затрепетав полотнищем. Толпа французских солдат навалилась на него, а на нее - толпа русских. Рыжий ефрейтор, сияя конопатым, как подсолнух, лицом, вынес его из свалки. Еще

минута - и линейный французский солдат уже бегом уволакивает его к своим. За ним гонятся смоленцы, и среди них - Сватиков. И снова вокруг знамени яростная драка. Черное древко сломано. Что-то выталкивает Сватикова из людской гущи. Задыхаясь, он хватает полотнище. Страшный удар в челюсть валит его с ног. Кровь заливает рот и глотку. Солоно, горячо... Сватиков обертывает знаменем голову и бежит в лес...

Было около четырех часов дня. К Раевскому прискакал адъютант Паскевича и доложил, что двадцать шестая дивизия отступает, неся неприятеля на штыках.

- Скажите генералу, - приказал адъютанту Раевский, - что мои атаки тоже отбиты. И сам я жду повеления об отходе. Скажите: Могилев потерян, но завоеван день.

Адъютант не понял и, боясь ослушаться, растерянно заморгал глазами.

- Да, - подтвердил Раевский, - целый день завоеван. Так и скажите...

Багратион сидел со штабом на дороге под березами, когда, отведя седьмой корпус в Дашковку, вернулся из-под Салтановки Раевский. Главнокомандующий и Николай Николаевич обнялись. Толпа генералов и офицеров окружила их тесным кольцом.

- Первое линейное дело кампании года тысяча восемьсот двенадцатого, говорил Багратион. - В лоб ведь бились, душа Николай Николаич! И показали себя французам! Уж как чесались у меня руки! Но сдержался... Слава - герою!

- В день нынешний, - сказал Раевский, - все были герои!

Однако можно было заметить, что он грустен и, по видимому, огорчен неудачей. Багратион взял его за руку.

- Мы ошиблись... В Могилеве - сам Даву. Того мало, - в сикурс к нему идет маршал Мортье. Силы превосходные. Пропал Могилев... Но я не уныл. Отнюдь!

Он отвел Раевского в сторону.

- Не скрою, душа, и по честности скажу, что пыл мой к генеральному сражению ныне спал. Против рожна не попрешь. Армия - вещь святая и риску подлежать не может...

Раевский слушал.с удивлением. Куда же девалось то, в чем обвиняли Багратиона недоброжелатели, - его безрассудная и самонадеянная напористость?

- Не узнаешь старика? Дурно знаешь. Век живи - век учись. И Суворов в Италии учился. А наука - горька... Дело под Салтановкой на сто лет прогремело. Им наша армия спасена. Надо еще схитрить малость, чтобы лысый черт Даву из дураков не вылез. И хитрость такую измыслил я. Ты - герой. Хочу твою апробацию иметь. Сужу я теперь так...

Он подпер подбородок рукой и, подумав, продолжал с той чеканной вразумительностью, которая так часто поражала Раевского:

- Пробиться у Могилева нам не под силу. Дошло до меня, что министр уже под Витебском. Чтоб соединиться, идти нам надобно через Пропойск, Чериков и Криче-во. Как пройти? Ежели весь заврашний день господин Даву просидит в Могилеве - пройдем. В ночь, мимо - на Мстиславль, к Смоленску... Как заставить Даву сидеть в Могилеве? Просто. Надобно, чтобы ждал он генерального нападения наших сил. Еле уцелев нынче, снова на позицию не выползет...

Багратион повертел рукой сперва в воздухе, потом у своей головы.

- Большие люди и ошибки большие делают. Маршал сейчас так соображает: дрался с авангардом Багратионовым, завтра сам Багратион в атаку кинется... Ага! Выслал разведку - нет ли чего? Есть. Корпус твой как в Дашковке стоял, так там и остался. А попозже граф Воронцов Михаила с гренадерской дивизией к тебе подошел. Разведка доносит: идут, собираются... Мало? Багратион с армией выступает, становится на ночлег биваком у Салтановки. Передовые посты до Могилева выдвигаются. Разведка опять доносит... Держись, Да-вушка! Он и будет держаться... Ха-ха-ха!

Раевский улыбнулся.

- Может и удача быть... Детей так обманывают...

- Не детей лишь! Сложные машины, душа, всегда вид простоты имеют... Да что там! Я еще атамана с двенадцатью архангельскими его полками к Могилеву отправлю. Пускай мечется под самыми окопами. Фу, какая поднимется в городе суматошка! И покамест атаман, ночью Днепр перейдя, с противной стороны фальшивую атаку на Могилев будет делать, мы мимо проследуем. Ведь мосты-то у Нового Быхова уже наведены... Путь открыт...

Досада и грусть давно соскочили с Раевского. Действительно, задуманный Багратионом маневр был так искусно сражен во всех частностях, что обещал несомненный успех.

- Очень хорошо, князь, - сказал Николай Николаевич. - Недаром завоевал я нынче день. И недаром учились вы в Италии у Суворова. Всего же главнее, что и теперь учитесь. Очень хорошо! Давеча из Салтановки прислал я к вам пленного майора французского. Втеснить ему в голову надобно, что мы завтра Могилев брать будем, и с секретом таким отпустить восвояси. От него в заблуждении своем может Даву окончательно утвердиться...

Багратион не дослушал.

- Эй, - закричал он, - эй, Алеша! Подай нам сюда калику французскую, что нынче Паскевичу в плен сдалась...

Ворожейкин даже и не заметил, как это случилось. Но теперь, когда ему снова, уже в третий раз, приходилось конвоировать Лемуана, он не чувствовал к нему решительно никакой вражды. Наоборот, старый майор казался Ворожейкину чем-то вроде собственности, взятой с бою как приз. Поэтому урядник искренне жалел о необходимости вывести пленника за линию передовых секретов и отпустить на все четыре стороны.

Разорванные тучи быстро неслись по небу. Луна, выглядывая на миг, тотчас же опять пряталась за ними, точно грустя, что некому полюбоваться ею.

- Эх, старичок! - говорил казак Лемуану. - И куда тебе идти? Зачем? Нешто у нас худо? Жизнь-то! Услад божий, а не жизнь. Верно, станичники? спрашивал он товарищей.

- Да уж жизнь! - отвечали те в лад. - Уж и жизнь!

- Лучше не надо! И коли станет кто тебе бранить нашу жизнь - в глаза плюй! Значит, лайдак, лодырь, пакостник!

- Bon dieu, que me racontent-ils la, - стонал в ответ Лемуан - quand je suis affame{33}!

- Во-во! Войну бы смахнуть. Гостей - за ворота, а уж там стращай, брат, того, кто не смыслит ничего! Молодчику же, что нынче у нас из-под руки вырвался, так и скажи: быть ему на аркане. Хоть и не жалует он, видать, ни пуль, ни ядер, а от Ворожейкина не схорониться ему никак! Так и скажи.

Линия передовых секретов осталась далеко позади. В темноте тускло маячила оранжевая россыпь городских огней и глухо слышался собачий лай.

- Прибыли! - сказал Ворожейкин. - Ну, как хошь, дед!

Казачье кольцо разомкнулось, и майор Лемуан очутился среди черного поля.

Кузьма отвернулся и дал коню нагайку - так, без всякой надобности. Это - знак, что неладно у казака на душе. Чаще всего хлопает нагайкой казак, когда уезжает из дому и прощается с близкими. Но ведь не разлука же с Лемуаном навела на Ворожейкина такую тоску?

В ночь на двенадцатое июля к маршалу Даву подошли подкрепления французская пехота из корпуса Мортье и польский "легион Вислы". Принц Экмюльский был очень доволен, так как почти не сомневался в том, что завтра Багратион со всей своей армией нападет на Могилев. Только этим предстоящим большим нападением можно было объяснить сегодняшний бой у Салтановки, от которого у Даву осталось какое-то странно-тревожное чувство. Он не пустил русских вперед. Но неимоверное

упорство их натиска, дьявольская стремительность атак, стойкость под огнем и жестокая сила ответных канонад крепко ему не нравились. Если так дрался авангард в частном деле, каково же будет общее дело за Могилев? Уже с вечера Даву начал собирать в городе все свои силы. Саперы работали на стенах и за стенами, роя окопы и насыпая бастионы для батарей. Никогда не случалось адъютантам маршала выслушивать такие грубые окрики, как в эту ночь. Принц Экмюльский подпрыгивал на своем кресле, как крышка на кипящем кофейнике. Он был в самом разгаре бурной деятельности, когда ему доложили о прибытии майора Лемуана.

Даву выскочил из кабинета навстречу неудачливому батальонеру и налетел на него, как смерч. Все, что произошло за сегодняшний день с этим стариком, - начиная с позорного отступления его стрелков из-под огня и кончая гибелью батальона в лесу и сдачей в плен самого командира, - было гнусно. Но еще гнусней казалось его возвращение из плена. Как? Почему? Подозрительное сердце Даву разрывалось от негодования...

- Старая крыса! - едва завидев Лемуана, в бешенстве закричал он. - Я думал, что вы просто глупы, как конский потник... Но нет! Тут что-то похуже!..

Однако когда Лемуан голосом, дрожащим от обиды, кое-как рассказал о своих приключениях, особенно напирая на то, что видел собственными глазами, как русские войска выступали к городу, и слышал приказания Багратиона и Раевского насчет завтрашней атаки, принц Экмюльский притих и задумался. Если даже и предположить, что Лемуан превратился в шпиона, то рассказ его все же разительно соответствовал тому, чего следовало ожидать по общему ходу дел. И Даву уж почти спокойно приказал:

- Взять этого офицера под арест!

Пьон де Комб вышел из кабинета Даву с таким видом, что в дежурной комнате сразу сделалось светлей. На груди капитана поблескивал свежей белой эмалью крестик Почетного легиона. День Пьон де Комба завершился так, как того желала постоянно благосклонная к своему любимду судьба. И, выслушивая сейчас донесение прискакавшего из ночной разведки капитана, грозный маршал не кричал и не бесновался, как утром, - нет! Впрочем, и Пьон де Комб явился к нему с такими сведениями, перед ценностью которых не могло бы устоять никакое предубеждение...

Около капитана толпились адъютанты и еще какие-то офицеры. Хором и поодиночке они поздравляли его с почетнейшей наградой. Да, за этот белый крестик многие из них

охотно заплатили бы кровью и кусками оторванных рук и ног! Однако среди поздравителей нашелся один, который язвительно спросил капитана:

- Вероятно, вы привезли дурные вести, что вас так хорошо приняли?

Очевидно, этот желчный человек прекрасно знал обычаи главных квартир и самого маршала. Пьон де Комб не удостоил вопрошателя ни ответом, ни взглядом. Но для того чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его действительных заслугах, с громкой торжественностью сказал:

- Прекрасные вести, господа! Казачий гетман{34} со своим войском только что переправился через Днепр и идет к городу. Мое вечернее открытие не хуже утреннего. Завтра нас ждет славное дело. И каждый офицер великой армии сможет еще раз показать свою верность императору, как умеет...

Когда он говорил это, белый крестик ослепительно сверкал на его груди.

Весь день тринадцатого июля армия Багратиона простояла на месте. Русский главнокомандующий рассчитывал этой странностью своих действий окончательно запутать и сбить противника с толку. Так и случилось. Казаки Платова с утра до вечера гарцевали перед городом, а Даву скакал по укреплениям, с минуты на минуту ожидая штурма. День прошел для обеих сторон в этих полумирных занятиях.

Однако в русской армии все было готово к выступлению. Солдаты не лежали и даже не сидели в тесных кружках, как обыкновенно бывает на биваках. Они стояли вольно, с ружьями у ног, с носогрейками в зубах, с ранцами и сухарными сумками за плечами. Лица их были не веселы, но и не печальны, такие лица всегда бывают у русских людей, когда они собираются в путь. Сумерки перешли в глухую, темную ночь.

- Наутро, как мухи проснутся, то-то, братцы, сдивуются, что уж нет нас в лагере! - раздавалось кое-где сдержанно-шутливое слово.

- То-то вопить станут: "Что же теперича делать? Кого кусать-то?"

Перед рассветом грянул сигнал: "Вставай!" Жуя сухари вечерней раздачи, пехота строилась не спеша. Зато кавалеристы опрометью бежали к лошадям, поправляли седла, подтягивали подпруги, застегивали мундштуки, снимали торбы, привешивали по местам - сзади седел - сенные вьюки.

- Эх, конь-то выступчатый, больно хорош! - раздавались то там, то здесь обычные солдатские восклицания.

Армия двинулась в поход. Так как она стояла на чистых и

твердых выгонах, а погода вчера была сухая, - от места стоянки не осталось никаких следов. Утром войска переправились у Нового Быхова через Днепр и вышли на Мстиславльскую дорогу, которая вела прямо к Смоленску. Солнце медленно поднималось кверху в розовом тумане и вдруг ослепительно засияло, опрокинув на землю сразу весь свой запас света и тепла. Уже наступало время жатвы. Но на полях было мало народу. Крестьяне толпами встречали войска у деревенских околиц. Бабы с младенцами на руках сердобольно глядели, как шли мимо них покрытые пылью и потом солдаты. Помещики тянулись за армией в дормезах, колясках и бричках. Белоруссия оставалась позади, и по всему было видно, что близка уже исконно русская, смоленская земля.

Багратион ехал со свитой по обочине дороги, заставляя коня прыгать через рытвины и кусты. Лицо у него было спокойное, но задумчивое. Вдруг он окликнул Олферьева. Корнет подскакал. Петр Иванович взял его руку, поднятую к виску, и опустил вниз.

- В голову мне, душа, пришло... А ведь Даву в эти дни так обманулся, что ошибки своей ему теперь ввек не поправить!

Глава тринадцатая

Предместье, в котором остановился на квартире главнокомандующий Второй армии, утопало в пушистой зелени муравчатых левад и рощ из развесистых ветел. Надевая к выезду из дому свой любимый мундир гвардейского егерского полка, Багратион смотрел в окно и наслаждался прекрасной картиной древнего русского города. Толстые стены годуновских укреплений, ажурные колокольни соборов, белые домики, рассыпанные между загородями фруктовых садов, - все это сверкало под жаркими лучами солнца, играло в блеске ясного летнего утра. Князь Петр Иванович на миг зажмурил глаза, прислушиваясь к тому, что делалось в сердце.

Чудный город Смоленск! Вот - Россия, за которую сладко жизнь отдать, кровь источить по капле, хоть сейчас сложить голову на последний покой! Нет, уж отсюда Багратион не уйдет без боя! Настал великий день. Все решилось. Наполеон обойден. Хитрый план его рухнул. Обе русские армии - под Смоленском. Где же, как не здесь, встретить огнем и мечом французских разбойников!

Багратион торопливо затянул на себе шарф и надел шляпу. Он был уже совсем готов ехать. И вдруг перестал спешить. Лицо его омрачилось. Он медленно сложил руки на груди и несколько минут стоял неподвижно...

- Ваше сиятельство, - осторожно проговорил наконец Олферьев, - кабы не опоздать нам?

Губернаторский дом имел всего один этаж, но был довольно

обширен. Боковые флигели его выступали вперед, прикрывая с двух сторон площадку перед подъездом. На эту площадку выехала из ближайшей улицы коляска Багратиона. За ней неслась пестрая кавалькада свиты - несколько генералов, множество штабных офицеров, адъютанты и конвой. Дробно звенели конские копыта, развевались белые и черные султаны, затейливо вились по ветру серебряные шнуры аксельбантов. Зачем такая пышность? Нельзя сказать, чтобы князь Петр Иванович хотел ее. Но он и не противился ей. Она была ему сегодня нужна.

Происходило необыкновенное. Старший в русской армии генерал, на груди которого шелестела лазурная лента святого Андрея{35}, первый являлся с визитом... к кому? Барклай де Толли был по службе моложе не только Багратиона, но и Платова и еще двенадцати генерал-лейтенантов, состоявших у него теперь под командой. Но Багратион ехал первым. Как поймет это армия? Правда, Барклай был военным министром и мог приказывать Багратиону. Но ведь никуда же не денешь и того, что пять лет назад он, рядовым генерал-майором, вытягивался перед князем Петром Ивановичем и почтительно принимал его повеления. Следовало ли князю Петру считать обязательным для себя теперешние приказы прежнего своего подчиненного? Положение обоих главнокомандующих было запутанное и фальшивое. Если Барклай не понимал этого, пышность Багратионова визита должна была ему объяснить и напомнить кое-что. Князь Петр выскочил из коляски, взбежал на подъезд и сделал быстрое движение рукой, приглашавшее главных лиц свиты не отставать.

Между тем из дверей залы уже выходил на внутреннюю лестницу высокий, худой плешивый генерал со строгой и умной физиономией и немигающими серыми глазами. Он был в мундире, ленте, орденах, держал в руках шляпу и слегка прихрамывал, от чего плюмаж на шляпе колыхался. Хитрый адъютант, заранее предусмотревший все подробности встречи, только что всунул этот торжественный головной убор в руки министра. Он же придержал министра за фалду мундира, когда заметил его намерение спуститься вниз по лестнице. Все это было крайне неприятно Барклаю. Неловкость и принужденность его движений бросались в глаза. Но возникали они не от отсутствия достоинства, наоборот, под скромной и невзрачной внешностью явственно чуялось в Барклае нечто твердое и как бы сродное привычке повелевать, - а оттого, что правая рука и нога его были перебиты в сражениях, и после Прейсиш-Эйлау ему трудно было даже на лошадь садиться без посторонней помощи.

- Любезный мой князь! - сказал он с тем жестким выговором русских слов, который легко обличает людей не чисто русских. -

А я уже совсем, как видеть изволите, визитировать вас собрался...

Главнокомандующие поздоровались. Багратион зорко глянул в немигавшие глаза Барклая, но не прочитал в них ровно ничего, Да и все длинное, бледное, покрытое морщинами лицо министра было непроницаемо. Он передал кому-то из ординарцев ставшую с этой минуты ненужной шляпу и вложил раненую руку в перевязь из черной тафты. Комедия? Может быть. Но игра была учтива. Багратиону оставалось довольствоваться этим, и он постарался сделать вид, будто действительно доволен...

Что-то, но только не недостаток твердости, мешало Барклаю с первых же слов объявить, что для общего начальствования над обеими армиями избран императором именно он. Что-то мешало также и Багратиону спокойно выждать, пока решение императора сделается формально известным. Его самолюбие жестоко возмущалось этой недосказанностью. Но то, что скрывалось за ней, было еще хуже. Больно и горько подчиняться человеку, которого, по совести, не можешь ставить выше себя. Князь Петр Иванович смотрел на лысый череп Барклая, на его бесцветные волосы, аккуратно зачесанные от висков на маковку, и ему казалось, что даже в этой некрасивой серости министровой головы заключен оскорбительный намек на его, Багратиона, унижение. "И такой квакер{36} будет мною командовать!" - с тяжелым отвращением думал он.

Правда, было во всем этом и нечто утешительное для князя Петра. Туча грозной ответственности, висевшая над ним с самого начала войны, наконец рассеивалась. При новом положении вещей он освобождался от мучительнейших опасений, которые должны были теперь с двойной силой угнетать Барклая. Возникала возможность решительно требовать того, что Багратион признавал пользой и необходимостью: генерального сражения за Смоленск. Поэтому-то желанное наступление на французов он и начал прямо с атаки Барклая.

- Я не в претензии на вас, Михаиле Богданыч, - говорил он, - вы министр, я ваш субалтерн. Но ретироваться далее - трудно и пагубно. Люди духу лишаются. Субординация приходит в расстройку. Что за прекрасная была у нас армия! И вот - истощилась. Девятнадцать дней по пескам, по жаре, на форсированных маршах. Лошади пристали. Кругом - враг. Куда идем? Зачем? Согласен: до сей поры весьма были мудры ваши маневры. Очень! Но пришел день вожделенный, - мы соединились, вкупе стоим, и Смоленск - за нами. Ныне другой маневр надобен, не столь, быть может, и мудрый... попроще...

- Какой же? - тихо спросил Барклай.

- Искать противника и бить его, не допуская к Смоленску! Я

не в претензии... Повелевайте! Однако же изнурять без конца армию позволить не могу. Поручите еще кому, а меня увольте! Уж лучше я зипун надену..., В сюртуке пойду - и баста! Таков сказ мой по чести и истине!

Барклай внимательно слушал эту горячую речь. Но лицо его продолжало оставаться неподвижным и от непроницаемости своей казалось почти мертвым. В душе он относился к Багратиону несочувственно, как и ко всем людям, которых считал по степени образования ниже себя, а по способностям - выше. Он мало доверял своей собственной талантливости и, с болезненной скрытностью пряча от окружавших это недоверие, признавал таланты конкурентов неохотно и с трудом. Скромный и сдержанный, он никому не прощал откровенной самонадеянности. Естественно, что порывистая и шумливая натура Багратиона была ему всегда несколько неприятна. Внешне это проявлялось в форме вежливой отчужденности. Пальцы здоровой руки Барклая отчетливо отбивали марш по зеленому сукну стола, за которым он сидел лицом к лицу со своим гостем. Голова была опущена.

- Я вас спас, Михаила Богданыч! - с назойливой резкостью звучал в его ушах голос Багратиона. - Тем спас, что пробивался к вам, когда вы от меня уходили... И впредь, коли понадобится, спасать буду. Но с тем, однако, чтобы и вы не бездействовали. Иного хода в делах не понимаю и понимать не хочу. Видно, не учен я, а может, и глуп перед вами! На войска же русские жаль мне смотреть... Оттого и говорю...

В крайнем раздражении он повторил угрозу:

- Уж лучше зипун надеть! И - баста!

Барклай пожал плечами. По свойствам своего ума он умел при всяком стечении и повороте обстоятельств угадывать результат дела просто, без особого напряжения мысли, но верно и точно. Он никогда не воспламенялся во время спора, не развивал доказательств, а говорил только: "Из этого вышло то-то, а из этого должно получиться то-то". И не любил лишних слов. Но разговор, с Багратионом требовал именно доказательств и ненужных слов. Что делать?

- Не постигну, любезный князь, в чем, собственно, обвинять меня изволите, - медленно заговорил он. - Маневры мои были не мудрей и не ученей ваших и столь же прямой необходимостью вызваны. Признать готов, что операция ваша у Могилева, когда тринадцатого июля мимо обманутого маршала Даву проследовали вы с армией и перешли через Днепр, а он лишь четырнадцатого о том узнал и шестнадцатого только на Оршу двинулся, - славного военного такту был прием. И что без

дальнейших препятствий достигли вы семнадцатого в Мстиславль - также к полководческому знанию вашему полностью относится. Но будьте справедливы, любезный князь, войдите и в мое положение. Еще двенадцатого Бонапарт наступал от Бешенковичей на Витебск, полагая, что я путь к вам хочу проложить через Оршу. И впрямь сбирался я тогда идти на Оршу, чтобы хоть с этой стороны сблизиться с вами и закрыть перед Бонапартом Смоленск. О намерении своем я и вам сообщал...

Он незаметно взглянул на Багратиона. Глаза князя Петра пылали. Рот его был раскрыт для самых решительных возражений.

Поэтому Барклай, не останавливаясь, продолжал говорить:

- Не забудьте и того, что тринадцатого Бонапарт знал уже об отступлении генерала Раевского из-под Салтановки. Оттого действия его против меня с правого фланга совершенно были развязаны. Тогда дал я авангарду его бой. Тринадцатого и четырнадцатого войска мои дрались с Мюратом у Островны и задержали наступление его на сутки. Однако бой этот показал мне ясно, что двигаться Первой армии надо со всей поспешностью не на Оршу, а на Смоленск, то есть глубже и дальше...

Багратион язвительно засмеялся.

- Зачем же, коли так, звали вы меня, ваше высокопревосходительство, для соединения в Оршу? Разве такие фокус-покусы почесться возможными могут?

- Это не фокус-покус, ваше сиятельство, - все медленнее процеживая слова, тихо сказал Барклай, - отнюдь нет. Чтобы отвлечь от вас Даву, я готов был бой и у Витебска принять. Моя ли вина, что позиции тамошние до крайности негодны? Кроме того, пятнадцатого получилось от вас известие о... неудаче генерала Раевского под Могилевом. Прямо скажу: понял я это, как если бы кто освободил меня от необходимости драться у Витебска на позиции дурной. Уж не надобно драться мне было, ибо шли вы благополучно к Смоленску. Потому, обсудив на военном совете, я и двинулся тремя колоннами через Поречье и Рудню на Смоленск. Подобно как вы Даву обманули, так я - Бонапарта. После боя у Островны он никак сомневаться не мог, что под Витебском генеральное сражение предстоит, и уже к шестнадцатому войска стягивать стал. Но я исчез с внезапностью. Что было делать Бонапарту? Он корпуса свои для отдыха остановил: принца Евгения в Сураже и Велиже, Нансути в Поречье, Нея в Лиозне, Мюрата в Рудне, Груши в Бабиновичах и Даву в Дубровке. Но ведь, князь мой любезнейший, все это не для моей лишь, а для общей нашей пользы свершилось... Не так ли?

Багратион быстро провел рукой по высокому гребню крутых своих кудрей. Действительно, многое из того, что казалось ему до сих пор необъяснимым и удручающе странным в маневрах Первой армии, вдруг приобрело теперь простой и ясный смысл. Многое... Но не все!

- Позвольте, Михаиле Богданыч! А почему же не пошли вы на соединение со мной в Горки? И вам и мне восемнадцатого было бы то и ближе и удобнее прочего. Почему прямо на Смоленск двинулись, хотя можно было бы, в Горках совокупясь, общей силой заградить французам путь на Смоленск?

Новое подозрение родилось, и живая тень гнева опять набежала на бледное лицо князя Петра.

- А может быть, что в план вашего высокопревосходительства защита Смоленска и вовсе не входит? Вопрос этот основным и главнейшим из всех почитаю я... - Он спрашивал с такой жадной стремительностью и так настойчиво, что Барклай понял: сказать ему сейчас прямо все, что он думал о защите Смоленска, немыслимо.

- Вопрос столь важен, - холодно проговорил он, - что решить его способно одно лишь чистое благоразумие, без страсти и волнения. Потому...

- Нет! - с грозной энергией крикнул Багратион. - Нет! На сей раз оставим благоразумие в удел робким душам. Будем чувствовать по-русски! Прямо спросил вас, прямо и ответствуйте!

Главнокомандующие совещались долго. Из кабинета, где они заперлись, громкий голос Багратиона то и дело вырывался в соседнюю залу. И тогда собравшиеся в ней генералы обеих армий радостно переглядывались.

Наконец-то! Старая слава Петра Ивановича зажигала в их сердцах новые надежды на успех. Его пылкая настойчивость привлекала все симпатии. Голоса Барклая не было слышно. Да никто и не ожидал его услышать, - всем было известно, как малообщителен и некрасноречив министр. Почти всякий из тех, кто находился сейчас в зале, был недоволен Барклаем. Прежде недовольство это лежало на дне душ. А теперь всколыхнулось. Даже имя главнокомандующего избегали произносить - по неприязни к тому, кто носил его. Толковали о неудачах, а подразумевался Барклай.

- Говорят... говорят, будто немцы и голландцы взбунтовались, что англичане и испанцы где-то высадили десант... Говорят, что сам Бонапарт поскакал во Францию... Мало ли что говорят! Но я ничему не верю, - сказал генерал Раевский начальнику артиллерии Первой армии, молодому графу Кутайсову, - того не осталось во мне, чем верят люди...

Черные глаза графа блеснули чистым огнем. Красивая голова его живо повернулась к собеседнику.

- Вы правы, ваше превосходительство! Удел наш поистине жалок становится... У нас, в Первой армии, лишь один человек осведомленным о действительном ходе событий счесться может...

- Ермолов?

- Да. Но не по званию начальника главного штаба, а потому, что с государем в переписке, и по тонкой проницательности ума своего...

- Любую хитрейшую бестию кругом пальца обведет, - улыбнулся Раевский. Молодец ваш Алексей Петрович! Да вот и сам он!

Из боковых дверей в залу быстро вышел широкоплечий генерал, могучего, почти геркулесовского телосложения, и поклонился. Глубокий взгляд его серых глаз мгновенно обежал присутствующих. Волосы, дыбом стоявшие на голове, еще придавали росту его величавой фигуре. Он вступил в залу и как будто заполнил ее без остатка своими размерами и своей силой. Вместо шляпы Ермолов держал под мышкой кивер, что казалось странным при генеральских эполетах, а в руках - сложенный пополам лист синей бумаги.

- Поздравляю, господа, с новостью наиважнейшей! Каждый из генералов в одно и то же время почуял на себе его умный и приветливо-острый взгляд. Все разом двинулись к Ермолову и окружили его. Простое и непритязательное благородство удивительным образом сочеталось в этом человеке с заискивающей манерой обращения, мужественный тон речи - с приятно-вкрадчивым голосом. Даже самые старые генералы относились к нему, самому молодому, дружески и с уважением. А товарищи по чину и младшие любили без памяти. Ермолов уже обнялся с графом Сен-При. Крепко прижал к груди твердую ладонь атамана Платова. И облобызался с Николаем Николаевичем Раевским.

- Господин главнокомандующий только что подписал приказ по армии...

- Приказ? Какой? Не томите, Алексей Петрович!

- Извольте, господа, - сказал Ермолов и развернул лист синей бумаги. "Приказ по Первой Западной армии 21 июля 1812 года. № 68. Солдаты! Я с признательностью вижу единодушное желание ваше ударить на врага нашего. Я сам с нетерпением стремлюсь к тому..."

- Браво! - крикнул граф Кутайсов. - Ура! Конец ретираде! На стенах смоленских кровью смоем ее позор!.. Его возглас потонул в буре восторженных восклицаний. Под напором радостного гула

дрогнула старая зала губернаторского дома. Генералы поздравляли друг друга, как с праздником. Целовались, как на пасхе. И всем было понятно: не будь сейчас Багратиона за дверьми Барклаева кабинета, не было бы и этого решительного долгожданного приказа.

- Все прощаю Михаиле Богданычу, - с сияющими глазами и лицом повторял Кутайсов, - все! А Багратиону - слава!

- Слава! - раздалось в углу.

- Слава! Слава! - пронеслось по зале.

К Кутайсову подошел полковник среднего роста, полный, румяный, как хорошо пропеченная булка. Все существо его дышало здоровьем и энергией. Несколько секунд он с молчаливым любопытством наблюдал радость молодого генерала. Надменно-ласковая улыбка перебегала из края в край по его пышным розовым губам. Можно было подумать, что он удивляется детскому простодушию "графа, по снисходительности сожалеет его, а от избытка гордости не может скрыть сожаления. Полковник держал себя странно, - вовсе не так, как полагалось бы по носимому им скромному чину. Это был Толь, генерал-квартирмейстер Первой армии, любимец Барклая и главная пружина его предначертаний.

- А не кажется ли вашему сиятельству, - все еще продолжая улыбаться, наконец спросил он, - что, судя по приказу нынешнему, главнокомандующий твердо решил город Смоленск без боя оставить?

И Толь с удовольствием заглянул Кутайсову прямо в рот, безмолвно раскрывшийся от изумления.

Ермолов стоял возле Раевского. Как и всегда в минуты задумчивости, нахмуренное лицо его было прекрасно. Но вот усмешка скользнула в глазах и неприятно исказила его физиономию выражением искусственной веселости. Он наклонился к Раевскому и прошептал:

- А ведь, пожалуй, пропал Смоленск, Николай Николаич. Коли взялся квакер на бумаге угождать князю Петру Иванычу, значит, на деле пропал Смоленск!..

Двери кабинета распахнулись, и оба главнокомандующих вышли в залу. У Барклая был спокойный, деловито-будничный вид; у Багратиона - довольный, даже радостный. Князь Петр на виду у всех пожимал руку Михаила Богдановича.

- А теперь, любезный князь, - сказал Барклай, - прошу пожаловать со мной вместе в лагерь Первой армии...

Глава четырнадцатая

Провиантские магазины в Смоленске были полны муки. Но печеного хлеба и сухарей не хватало. Поэтому войсковые части

принялись за выпечку и сушку. А за мукой в провиантские магазины отправлены были офицеры-приемщики. В число таких приемщиков попал и квартирмейстер сводной гренадерской дивизии Первой армии прапорщик Полчанинов. Это был белокурый юноша, высокий, неловкий, с круглым, свежим лицом. Губы его то и дело складывались в нежную, детскую улыбку, а упрямые кудри падали на лоб. И в эти минуты некрасивое лицо становилось на редкость привлекательным.

Целый год после выпуска из корпуса Полчанинов просидел в крестьянской хате, глядя в синюю даль степей и не спеша занимаясь обучением своего капральства. Между тем собственные его знания, приобретенные в корпусе, мало-помалу испарялись. Алгебра и геометрия были первыми дезертирами. За ними последовали прочие части математики. Но голова Полчанинова не пустела, - она только делалась похожей на разрозненную библиотеку, ключ от которой временно затерялся. Зато сердце его переполнялось чудесными чувствами без названия и без слов для их выражения. Неуловимые настроения эти, пылкие и возвышенные, налетали на прапорщика, теснились и волновались в нем, как туман на пустынных раскатах поля. И он с нетерпением ждал войны.

Наконец она пришла, но не принесла того, о чем мечтал молодой офицер. С самого начала военных действий сводная гренадерская дивизия находилась в постоянном отступлении и до сих пор в глаза не видела врага. Полчанинов давно уже впал бы в отчаяние, если бы, к счастью, по должности дивизионного квартирмейстера не было у его множества хлопот. Вставал он до свету, отыскивал надежных проводников и сдавал их в головной полк. Потом сам отправлялся вперед выбирать позицию для привала, осматривал ее, дожидался жолнеров, расставлял их, встречал дивизию, размещал полки. А когда все успокаивалось на отдыхе, опять скакал вперед для выбора биваков под ночлег. Не часто, очень не часто удавалось ему при этом перекусить на досуге. Выбрав место для ночлега, он делал кроки{37} расположения войск и мчался в штаб армии. Там сдавал кроки генерал-квартирмейстеру и получал диспозицию для дивизии. На этом, часа в два ночи, кончался его день. Но, прежде чем заснуть, он непременно исписывал еще страничку, а то и несколько, в своем личном походном журнале.

Интендантство находилось по ту сторону Днепра, в предместье за Молоховскими воротами, в довольно большом деревянном доме. Полчанинов с величайшим трудом протиснулся сквозь толпу офицеров-приемщиков в горницу, где за столом сидел со своим присутствием генерал-интендант Канкрин{38},

раздавая ассигновки и наряды. Со всех сторон, справа, слева и через головы, к нему тянулись руки с требованиями.

Лысоватый и близорукий Канкрин сердился, вставал с кресла, грозил уйти и закрыть присутствие. Но снова садился. И каша с каждой минутой становилась все гуще. Он наскоро прочитывал требования, хватал перо и подписывал: "Отпустить половину", - приговаривая:

- Идите от меня теперь прочь, батушка!

Огромный гусарский ротмистр с длинными усами с особенной настойчивостью осаждал генерал-интенданта. Канкрин сказал ему:

- Позвольте! Да вы, батушка, кажется, уже раз получили?

Гусар с яростью ударил кулаком по столу. Хриплый бас его загремел на всю горницу. Как видно, он был порядочно наметан в проделках такого рода, потому что Канкрин, оглушенный его ревом, а может быть, и убежденный доказательствами, махнул рукой и послушно подписал вторичную ассигновку. Но гусар не унялся. Его знания по провиантской части были удивительны. Он с точностью высчитывал, сколько теряется хлеба, когда режут ковриги на сухари, сколько пропадает от трения сухарей при перевозках.

- Поймите, - гремел он, - всего выгодней печь сухари прямо из теста! Брусками!

Потом обернулся к офицерам, среди которых был и Полчанинов, вытащил одну за другой из кармана и швырнул на стол несколько пригоршней вяземских пряников.

- А согласитесь, господа, что много есть на свете подлецов и мошенников!

При этом так посмотрел кругом, что кое у кого мурашки побежали между лопатками. "Ах, молодец!" - восхищенно подумал Полчанинов и спросил соседа, артиллерийского поручика в поношенном и залатанном мундире:

- Не знаете, кто это? Артиллерист усмехнулся.

- Это барон Фелич, известный лихостью своей офицер... В деле хватает пику и скачет во фланкеры. Готов разделить с приятелем последнее добро, но не прочь за картами опорожнить его же карманы до дна. Человек веселый. И дерзкий... Храбр, умен... А служба у него странная.

- Чем же? - робко полюбопытствовал Полчанинов и оглянулся на Фелича, ожидая услышать нечто необыкновенное.

Наружность ротмистра соответствовала рекомендации. В угрюмых глазах его таились мутные и темные чувства. Следы страстей, когда-то обуревавших этого человека, теперь притухших, но еще не погасших, лежали на его физиономии мрачной печатью.

- Чем? Видите ли, - отвечал поручик, - Фелич - непременный участник всех распрей между военными. Сперва он ссорит их, потом выступает в роли примирителя, но с обязательным расчетом на то, что дело кончится поединком. А когда доходит до вызова, с удовольствием предлагает себя в секунданты. Оттого многим кажется он опасным человеком. Еще опасней его дерзкие проделки за картами. За одну из них угодил он в солдаты. На штурме Базарджика в Турции снова заслужил эполеты. Затем года три находился под следствием и, не случись войны, наверно опять был бы куда-нибудь упрятан. Он - суров, мстителен, по службе - зверь. Вместе с тем - гостеприимен, охотно сорит деньгами и готов на мелкие одолжения. Одни боятся, другие любят Фелича...

- Откуда вы его так хорошо знаете? - с завистью спросил Полчанинов.

Поручик внимательно поглядел на юношу.

- Уж не хотите ли, чтобы я свел вас с ним? Могу. Но ведь и мы еще незнакомы. Я - Травин. Так хотите?

- Очень! - воскликнул Полчанинов, радостно зарумяниваясь.

Травину нравился этот мальчик. Хорошо быть наивным и свежим, как он! Кто бы поверил, что много лет назад и сам Травин был таким же! Давно это было... Пышный барский дом...

привольная, широкая жизнь... тороватый отец чистая Москва: стихотворец, и сплетник, и светский любезник... Вот на длинном столе, между громадными подсвечниками, сверкают снег скатерти и лед хрусталя... Миндальный пирог с сахарным амуром посредине, и бочонок с виноградом, и смеющиеся, шумные гости... Сон! Ничего не осталось! Стерлись светлые буквы первых страниц прекрасной книги. Дальше - разорение отца, аукционы, служба пополам с вечной нуждой. Наконец - приятельство с Феличем, страшный случай за картами, солдатская лямка в Турции, годами страданий добытые эполеты и этот протертый и залатанный мундир...

- Сведите меня с ним, поручик, - просил Полчанинов, - я очень хочу!

Травин молчал и смотрел в окно. Город, река, сады плыли мимо, утопая в красной пучине заката. От прежних времен у поручика сохранилось к солнцу чувство какого-то боготворения. И всегда на вечерней заре бывал он немножко печален. Хорошо бы с близким другом гулять сейчас по лесу! Нет, он все-таки не Фелич! Он преодолел в себе Фелича. Зачем же наводить на эти страшные испытания легковерного мальчика, стоявшего рядом? Травин быстро взял Полчанинова за обе руки.

- Хотите? Не надо! Не надо, чтобы у вас было что-нибудь общее с бароном Феличем. Я не сведу вас. И не советую искать знакомства с этим человеком.

- Да почему же?

- Вы видели, как он получал сейчас деньги по ассигновке? Он обманул Канкрина и положил их в карман. Фелич - бесчестный человек. Его бог деньги, проклятые деньги, которые превращают бездельников в мудрецов, заставляют прыгать параличных, говорить немых, преступникам дарят жизнь и убивают неповинных. Нет гадости, какой не сделал бы Фелич, чтобы добыть сотню червонцев, а завтра выбросить их за окно. Понимаете ли, куда это может завести?

Травин говорил громко, не стесняясь. Вероятно, кое-что донеслось и до Фелича. По крайней мере Полчанинов с замиранием сердца поймал на себе грозный взгляд страшного гусара. Травин заметил это, улыбнулся и крикнул Феличу:

- Послушай, Бедуин, а ты, я вижу, все вспоминаешь прусских офицеров, которых пристрелил на поединках в восемьсот седьмом году?

Барон закрутил усы и надвинул на ухо кивер.

- Что-то не пойму, о чем ты толкуешь, братец, - отвечал он с невыразимым хладнокровием, - да мало ли что случается в жизни?

Проговорив это, он отвернулся и замурлыкал хриплым басом:

Ах, скучно мне

На чужой стороне...

Солнце еще не зашло, но вечер уже ложился на землю длинными сизыми тенями. Выдача нарядов и ассигновок прекратилась. Приемщики толпились на лужайке перед домом интендантства, оживленно разговаривая. У них были возбужденные, красные лица и блестящие глаза. Голоса звучали громко и весело. Вот оно - счастье, на которое трудно, почти невозможно было рассчитывать. Армии соединились! Конец тягостной, осточертевшей ретираде! Здесь были офицеры обеих армий. Но чувство неподдельной радости слило все возгласы в общий дружный хор. И Полчанинов вместе с другими тоже восклицал и выкрикивал что-то, с наслаждением и болью ощущая в груди горячий и тугой комок восторженных слез.

Как и большинство офицеров Первой армии, он не любил Барклая. Зато еще на корпусной скамейке его героем, первым и единственным, стоявшим неизмеримо выше всех Плутарховых мужей древней славы, был Багратион. Вот за кого кинулся бы он на смерть без минуты раздумья!!! Слава богу! Багратион будет шевелить, толкать, тащить за собой Барклая...

- Ведь не пойдем уже мы теперь от Смоленска? - спрашивал Полчанинов Травина. - Не пойдем? Багратион не позволит? Не так ли?

Травин пожал плечами.

- Намедни такой же вопрос задал я сыну генерала Раевского, Александру...

- Что под Салтановкой с отцом и братом в атаку ходил?

- Да. И тем знаменит стал по всей России. Ему лег" че правду знать, постоянно при отце обращаясь...

- Что же сказал вам Раевский?

- Ничего. Дал мне лишь копию с письма одного - о Багратионе. Досталось оно ему от убитого княжеского адъютанта. Он снимает с него копии и раздает их знакомцам, полагая через то надежды в войсках поднять. Расчет, кажется, безошибочный. А впрочем... Коли хотите, Полчанинов, я дам вам свою копию...

- Дайте, - взмолился прапорщик, - голубчик мой, Травин, милый, дайте!

Между тем не одни лишь эти два офицера толковали о письме Батталья. Очевидно, Александр Раевский и впрямь усердствовал. Уже у многих в руках виднелись листы бумаги, исписанные его мелким и ровным почерком. И вдруг наступила минута, когда о письме заговорили все разом. Могучий голос Фелича гремел над толпой:

- Я никогда не краду, равнодушен к еде и не горд, - следственно, лишен важнейших радостей в жизни. Зато благосклонная судьба вознаградила меня радостью, с которой никакая иная сравниться не может. Два раза ходил я в походы под Багратионом, ныне - в третий раз. Вот мое счастье, господа! Когда молния ударяет в вершины гор, она разбивается, не нанося им вреда. Такова непоколебимость Багратиона. Орлята на хвосте могучего отца парят под облаками. Это - мы! Он - князь, я - барон...

Травин зло усмехнулся.

- По обыкновению своему, Бедуин зарапортовался. Надобно привести его в чувство!

- Но не из гордости о том сказал я, нет! Я знаю: ce n'est pas la naissance, c'est la vertu seule qui fait la difference{39}... Багратион рожден в порфире победоносца! Эй, Травин! - неожиданно обернулся он к поручику. - Не смей держать руки в карманах, когда я говорю с тобой!

Травин побледнел и засунул руки еще глубже в карманы своих стареньких панталон. Потом, глядя прямо в лицо Феличу, медленно произнес:

- Для тебя безопасней, барон, когда мои руки спрятаны!

Ротмистр поперхнулся. Но через минуту уже снова гремел:

- Полтораста тысяч отборных солдат, каковы наши... Во главе их - лев, поклявшийся умереть... Кто устоит, господа?

Полчанинов слушал все это, и земля уплывала у него из-под ног. Лица, мундиры, Травин, Фелич - все это плавало перед его глазами, как мираж, кружилось, как пьяный сон. Он чувствовал всем существом: или надо сейчас сделать что-нибудь необычайное, или - пропасть, сгинуть, исчезнуть, растворясь в жестоком счастье этой прекрасной минуты. Внезапно отстранив рукой Фелича, он выбежал вперед и прокричал звонким и чистым, как у ребенка или девушки, голосом:

О, как велик На-поле-он,
Могуч, и тверд, и храбр во брани;
Но дрогнул, лишь уставил длани
К нему с штыком Баг-рати-он...

Всем были известны, но не всем памятны эти старые державинские стихи. Эхо их вихрем пронеслось по лужайке.

- Ура Багратиону! Ура! Ур-ра!

Кто-то обнимал Полчанинова. Его целовали, и он целовал. Фелич крепко держал его за рукав.

- Дитя! Ты не знаешь, что есть воинская слава... Дай свой череп раскроить или чужой разнеси в честь родины - вот слава! Ты рожден для нее, как и я. Кстати, что вам болтал сегодня обо

мне Травин? Пр-роклятье! Он мне ответит за это. А впрочем, черт с ним! Я стал мягок, как губка. И жажду одного - влаги!

Постепенно он все прочней завладевал Полчаниновым.

- Слушайте, юный дружок мой! Пей - умрешь, не пей - умрешь! Так уж лучше пить!

Ей-ей, не русский воин тот,

Кто пуншем сил своих не мерит!

Он и в атаках отстает,

Он и на штурмах камергерит...

Полчанинов, вспрыснем дружбу! Господа, приглашаю вас "протащить"!..{40} Прошу! Прошу! Я плачу, господа! Пожалуйте! За дружбу! За Багратиона!

Глава пятнадцатая

С раннего утра двадцать второго июля солнце ярко пылало на безоблачном небе, и смоленские улицы кипели многолюдьем. В окнах и на балконах пестрели нарядные костюмы горожан. И поэтому дома походили на огромные горшки с цветами. Два живых потока с разных сторон вливались в город, наполняя его музыкой, грохотом барабанов и свистом флейт. По случаю царского дня{41} войска шли в отчищенной до блеска парадной амуниции. Главнокомандующие с пышными свитами ехали навстречу друг, другу на красивых, стройных конях. Но под холодной рукой сумрачного, бледного и спокойного Барклая конь медленно и строго перебирал тонкими ногами, а под Багратионом играл и плясал, выделывая фокусные манежные вольты. Жители Смоленска жадно смотрели на главнокомандующих, на маршировавшие за ними войска и дивились.

Полки Первой армии не могли скрыть утомления долгой ретирадой. В их печальных рядах даже генералы имели какой-то жалкий и растерянный вид. Ясно - Барклай не умел переломить этот дух упадка, вдохнуть в усталые сердца бодрость и надежду на успех... Совсем не так выглядели войска Багратиона. Здесь на всех лицах была написана гордость дальним и трудным походом: "Мы сделали много. Сможем и еще больше сделать!" Казалось, что Вторая армия не отступала от Немана до Днепра, а непрерывно шла вперед, тесня и сбивая бежавшего прочь из России врага. Жители Смоленска дивились...

Войска выстроились вдоль главных улиц. Мундиры сверкали, как весенний цвет на деревьях. Пушки жарко горели. Барабаны забили "поход". Знамена зашелестели тяжелыми складками старого шелка. Грянула музыка, и оглушительное "ура" взлетело над городом. Статный ездок в генеральском мундире несся плавным галопом на гнедой лошади. Чепрак под его седлом был

залит золотом. Множество алмазных звезд и крестов сияло на широкой груди. Высокий белый султан волновался над шляпой, прикрывавшей черные кудри.

- Здравствуйте, други! Вижу, самого черта с позиции спихнуть - безделка для вас!

- Рады стараться, отец наш! - громом катилось по рядам.

- Эка красота господня! Да рази совладает с нами Бонапартий? Николи!

Эти слова произнес крестьянин из деревни Росасны, стоявший в толпе народа обок с толстой купчихой, похожей на большой мучной лабаз. Одет был этот крестьянин в серое полукафтанье и белые порты. Его сосед и земляк, постарше, в армяке дикого сукна и черных кашемировых штанах, горячо поддакнул:

- Где там! Что уж!

И для пущей убедительности звонко прищелкнул языком.

- Может, числом-то Бонапартий и поупрямей наших оказывает, а только хоробростью, верно, сдаст, - сказал третий росаснинский крестьянин в ямской поярковой шляпе с плетеной кисточкой позади, - душа влияет. Когда летось кум-ат Сватиков, Агей Захарыч, домой на побывку приходил, он объяснил: "Русский воин тем иного забьет, что больно к отечеству своему пристрастен. И жизнь ему самая в полушку, коли Расея от того пользуется". А кум-ат близ двадцати годов солдатствует, зря не сбрешет...

И трое односельиев из Росасны - они вчера приехали в город по подводным делам, да и застряли здесь - согласно закивали головами.

- Смир-рно! Под знамя! На кр-раул!

Команда эта разнеслась по войскам, повторенная десятки, а может быть, и сотни раз во всех концах строя. Стальной блеск штыков взметнулся кверху и застыл в воздухе, как молния, внезапно остановленная на полете. Разноцветные полотнища знамен там и сям заколыхались над штыками. Росаснинцы стояли невдалеке от того места, где белое знамя Смоленского пехотного полка - того самого, который так славно бился с французами две недели назад у салтановской плотины, - тихо плескалось на высоком древке. Его крепко держал старый, болезненного вида солдат с перевязанной челюстью.

- Ребятушки, - воскликнул росаснинец в белых портах, - да ведь сам он это, Сватиков Агей Захарыч, легок на помине... Ей-пра!

- С места не сойти! - радостно подтвердила ямская шляпа. Никола-угодник! Как же его свело-скрючило!

После салтановского боя, когда рядовой Сватиков спас полковое знамя ценой разбитой челюсти, он уже и не выпускал его из рук. И хоть не был подпрапорщиком, но как георгиевский кавалер, отличный по верности своей солдатскому долгу, особым приказом генерала Раевского назначен был за подпрапорщика в знаменный взвод. Действительно, это он стоял сейчас перед глазами изумленных земляков, строго нахмурив седые брови и упрямо устремив неподвижный взгляд...

Парад кончился. Войска стояли вольно. Главнокомандующие сошли с коней и, окруженные свитами, медленно обходили сломавшиеся солдатские ряды. С деревянных тротуарных мостков, со дворов и из палисадников белоголовые старики и женщины с малолетними детьми на руках рвались к Багратиону и кричали:

- Ваше сиятельство! Спаси Смоленск! Не отдавай!

И Багратион, поднимая руку, словно для присяги, ласково отвечал им:

- Не отдам, други! Честь моя - не отдам!

Наслаждаясь близостью своего любимца, солдаты теснились к князю со всех сторон. Сперва Олферьев отодвигал их, а потом перестал.

- Алеша, - сказал ему Багратион, - кликни-ка, душа, маркитантов. Для пули нужен верный глаз. Штык требует силы. А солдатскому желудку без каши да хлеба долго быть нельзя...

- Ура, отец наш! - закричали войска.

Добрая дюжина шустрых военных торгашей вынырнула, словно из-под земли, со своими тележками. Князь Петр Иванович вынул из большого сафьянового кошеля, который Олферьев держал наготове, пригоршню звонких серебряных рублей и швырнул маркитантам. Затем показал солдатам на тележки, заваленные булками, кренделями, румяными калачами, сайками, пряниками и прочим подобным товаром.

- Ваше! Ешьте на здоровье, други! Солдаты кинулись на угощенье. Рубли летели, поблескивая.

- Ура! Здрав будь, отец!

Барклай смотрел на эту сцену и с величайшим трудом давил в себе неудовольствие. Глупцы! Бранят его за гордость и чопорную холодность, пусть! Может быть, и плохо, что он не умеет, подобно Багратиону, воздействовать своей личностью на других в желательном для себя смысле. Но зато ведь и на него самого повлиять со стороны невозможно. Скоро, очень скоро Багратион в этом убедится. Нет, ни фиглярить, ни расточительствовать он не способен! Он не богат, как и Багратион. А бедные люди обязаны быть бережливыми и не

бросать дорогих денег на ветер в погоне за дешевой народностью своих имен. Разве Барклай не заботится о солдатах? Разве они не сыты? Или в лохмотьях? Ничуть не бывало! Но он делает это совсем иначе, чем Багратион. Он правильнее делает это.

Михаил Богданович плотно сжал губы и, прихрамывая, зашагал к первой бригаде сводной гренадерской дивизии. Он уже добрался до карабинерной{42} роты ближайшего полка, когда ухо его отчетливо уловило едкое солдатское слово:

- "Болтай да и только" ползет!..

Он знал, что его так называют в войсках. Но как бороться с этим и следует ли бороться, - не знал. И потому, проходя мимо дерзкого, отвернулся, чтобы не видеть его лица. А между тем правофланговый карабинер Трегуляев заслуживал внимания. Он считался в своем полку самым удалым, исправным и видным солдатом. Был высок ростом, силен и ловок, В огромных усах и бакенбардах его крепко пробивалась седина. Но на смуглом лице и в блестящих глазах постоянно сияла такая решительная веселость, будто Трегуляев хотел сказать: "Эх, нечего терять солдату! Что было - того не воротишь, а что будет - бог весть!" Когда утром полк вступал в город, веселый великан этот шел впереди с гремучими ложками, красиво убранными в красные и зеленые лоскутья солдатского сукна, и рассыпался бесом в песнях и прибаутках так раздольно, что казалось - вот-вот пройдется на голове. Пожалуй, во всей Первой армии не отыскалось бы теперь другого солдата с этаким несгибаемым духом бойкого балагурства. Главнокомандующий прошел, а Трегуляев продолжал насмешничать:

- Только у нашего Власа - ни костей, ни мяса!

Намек относился к огромному, нескладному и худому рекруту-белорусу. Кругом засмеялись, но рекрут не отозвался на шутку, даже не посмотрел на шутника.

- Эге! - балагурил Трегуляев. - Не отчаивайся, братец Старынчук! Так-то не раз бывало: сеяли лен у семи Олен, да как стали брать - гренадер и родился. Еще ка-ко-ой!

Старынчук пробормотал что-то невнятное.

- Полно мычать, что бирюлина корова! Чего запечалился? Аль барана в зыбке закачал?

И Трегуляев с неожиданной после издевок лаской потрепал угрюмого верзилу по плечу.

- Спой, Максимыч! - попросил кто-то.

- Спеть? Отчего же, коли сила-возможность есть!

Он тотчас стал в позу, подпер двумя пальцами острый кадык, и песня будто сама вырвалась из него наружу. Голос у Трегуляева был сильный и такой бархатный, что с первой же ноты хватал за

душу. Да и мелодия его песни, простая, по-русски глубокая, и слова, звонкие, как колокольчики,- все это складывалось так чисто и красиво, что в карабинерной роте сразу затихли разговоры.

На утренней на заре,
На солнечном всходе,
Распрощались два дружка
В пустом огороде.
Распрощались два дружка
На вечные веки...

Гренадеры заслушались, и, наверно, не один из них думал: "Ну и надсадил всласть, леший его возьми!.."

Разошлися навсегда
За моря и реки...

Голос Трегуляева разливался все вольней и вольней. И вдруг оборвался. Оба главнокомандующие со своими блестящими свитами стояли перед певуном.

- Славно, душа! - сказал Багратион. - Давно не слыхивал я, чтобы так ладно пел солдат. Держи червонец!

Олферьев протянул жарко горевший золотой кружочек. Но еще жарче были слезы, выбившиеся из глаз Трегуляева.

- Покорнейше благодарю, ваше сиятельство! Не по заслуге награждаете!

- Э, душа! В солдатской калите{43} да в казачьем гаманце мусор этот никогда не лишний.

Барклай стоял отвернувшись. Сколько лет жил он бок о бок с солдатами! Редкий русский генерал так бережно и заботливо относился к солдату, так сочувственно и вдумчиво вникал в его бесхитростные нужды, ценил и любил его, как Барклай. Доказательств тому было множество, и их знала армия. Одно только всегда было непонятно Михаилу Богдановичу, непонятно и лишено прелести: солдатская песня. Он не запрещал петь в войсках. Раз пают значит, им это нужно. Но зато ни разу не поддался очарованию песни, не отозвался на нее сердечной струной.

- Не так ли, Михаил Богданыч? - спросил Багратион.

И не дождался ответа. Зоркий взгляд его остановился на фельдфебеле карабинерной роты. Обшитый золотыми шевронами и обвешанный медалями, старик голиаф застыл, вытянувшись, с рукой у кивера. На круглой физиономии его, такого густо-малинового цвета, как будто он только что опорожнил баклажку, из-под густых бровей ярко сверкали совиные глаза.

- Хм! А не ты ли, душа, под Аустерлицем из французского плена роту увел. Зовут же тебя... дай бог память...

С верхней губы фельдфебеля посыпался табак. Круглые глаза его страшно запрыгали. Грозный бас вырвался из могучей груди:

- Брезгун, ваше сиятельство!

- Точно! Здравствуй, старый товарищ! Славнейшего в армии русской ветерана рекомендую, Михаила Богданыч!

Барклай кивнул головой. Он тоже помнил этого солдата. Брезгун громил Очаков с Потемкиным, ходил с Румянцевым на Кагул, брал Измаил с Суворовым, сражался при Треббии и Нови, маршировал через Альпы, и немало богатырской крови его пролилось на австрийскую и прусскую землю под Аустерлицем и Прейсиш-Эйлау. Помнил его Барклай. Но виду не подал и ничего не сказал. В словах ли дело? Только еще раз кивнул головой и медленно заковылял прочь...

Глава шестнадцатая

Уже смеркалось, а оркестры все еще гремели и хоры песельников заливались по всему лагерю. Солдатам было отпущено по две чарки вина, поэтому веселья было хоть отбавляй. В палатке фельдфебеля Брезгуна горел огонь. Сам он сидел посредине на чурбане, а кругом разместились гости Трегуляева, которых тот потчевал сегодня за счет поставленного ребром дарового княжеского червонца. Брезгун важно и чинно открыл праздник: снял с лысой головы высоченный кивер, вынул из него маленький медный чайничек, налил в него воды и поставил на таганец. Потом добыл из кивера же. стакан, мешочек с сахаром и другой - с чаем. Когда чай настоялся, наполнил стакан и перекрестился. А затем принялся пить, словно дома, торжественно выпуская синие кольца дыма из коротенького чубучка походной трубки.

- Запасливый-то лучше богатого, - усмехнулся он, с любопытством приглядываясь к расставленным на ящике крупеникам, студням, говяжьему боку и прочим произведениям походной маркитантской стряпни.

- Иван Иваныч, - просил Трегуляев, - сделайте милость! Отпейте беленького! Без вас и вчинать неохота!

- Не про меня, братец, писано! Я об ней уже сколько годов и думать не помню. Пуншику - дело другое. Бабьих слезок!

Несмотря на эти жесткие слова, он с явным удовольствием наблюдал, как гости в унтер-офицерских нашивках, закрыв глаза, уже опрокидывали манерку за манеркой в свои широкие глотки. Впрочем, скоро выяснилось, что и "бабьи слезки" мало чем уступали крепчайшему маркитантскому чистогону.

- Возьми, братец, стакан, положь сахарцу, плюнь из чайника капельки две да белой добавь до края, - благодушно учил Трегуляева фельдфебель, - вот и будет мой пунш...

Трегуляев подносил стакан за стаканом со всем уважением к чиновному достоинству Ивана Иваныча. Да и себя не забывал. Язык его развязывался с каждой минутой.

- Единожды было - солдат в ад попал, - рассказывал он. - Как быть? Осмотрелся служивый. А был не промах. Набил в стену кольев, развесил амуницию, закурил трубочку и сидит. Черти со всех боков лезут. А он знай поплевывает да покрикивает: "Близко не подходи! Али не видишь - казенное добро висит!.."

- Ах, жук его заешь! - восхищались слушатели. - Казенное добро!.. Висит!..

- Висит! Спужались было черти, а подурачиться им охота смертная. Как быть? Один подлез к барабану да и вдарил "поход". Солдату то и надо было. Услышал "по" ход", ментом добро забрал да из ада с левой ноги церемониальным шагом марш - прочь!..

- Ах, муха его забодай! Ха-ха-ха! Самого, слышь, черта перебил!

Трегуляев засунул в рот огромный кусок пирога с луком.

- Ведь солдату - что? Надо понять! У солдата голо-ва - что под дождиком трава. Сама растет. Лег - свернулся, встал - встряхнулся. И все - в лад! Так и живем, засуча рукава, - сыты крупицей, пьяны водицей, шилом бреемся, дымом греемся. Лихо терпеть, а стерпится, так и слюбится...

Приговоркам Трегуляева не было конца. Но по числу осушенных им манерок приближался уже он постепенно к тому критическому состоянию духа, когда все, что ни есть на душе, как-то само собой начинает ползти с языка.

- Единожды было - хватил и я шильцем патоки, - ой, не сладко!

И пошто было огород городить,

И пошто было капусту садить!..

- Ты, Максимыч, расскажи, за что в арестантские-то попал? - спросил его кто-то.

Трегуляев расправил неверной рукой бакены и пошатнулся.

- За самое что ни есть пустое попал, - отвечал он. - Маркитант у нас один темечко себе зашиб. Ну и...

- Обо что же он темем-то?

- Будто об мой безмен...{44}

- За что ж ты его?

- А за то самое! Я остерегал: "Не лей воды в брагу, - плохо будет". Так нет тебе, не послушал. Ну и...

Эта история всем была давно известна, хотя рассказывал ее Трегуляев редко и лишь при самых чрезвычайных обстоятельствах, вроде тех, что были сегодня. Из-за нее-то именно не был он до сей поры и унтер-офицером.

- А бригадным у нас тогда "Болтай да и только" состоял. И закатал он меня в арестантские роты. По подозрению, значит...

Круглые глаза Брезгуна сердито выпучились.

- Эй! В присутствии моем - ни-ни! Что вздумал! "Болтай да и только"... А он от царя главное командование имеет! Коли он не главнокомандующий, так и я не фельдфебель. А уж ежели я не фельдфебель, так и царь - не царь, и бога нет. Вишь ты, куда загнул! Аль не при тебе давеча князь Петр Иваныч толковал со мной? Первый я в армии российской фельдфебель! Не допущу!

Иван Иваныч расхорохорился, разбушевался и даже хватил было багровой своей пятерней по ящику с яствами.

- Не нам их судить. Нас судить дети-внуки будут. Нет человека без вины. А ноне время подошло, когда каждый оправдаться может, кровью черноту смыв. За. жертву кровную, от верности и любви принесенную, родина прощает. Разумейте, языцы!

Он грузно повернулся в темный угол палатки, где в угрюмой неподвижности робко замер на корточках долговязый Старынчук, и несколько минут молча смотрел на него. Потом поманил пальцем.

- Вылезай на свет, молодец! Слыхал слова мои? Полно, братец, стыдиться. Поднеси ему, Трегуляев! Боль завсегда врача ищет. Товарищество - лекарь самый полезный. Господина баронета Вилье{45} за пояс заткнет. Эх, молода, молода, - в Саксонии не была. На печи лежа, рожь молотить - не бывает так-то! Француз пришел, и податься тебе боле некуда, - грудью на него подавай. Тем и вину свою заслужишь. Избудешь вину, а там и пойдет у тебя, гренадер Старынчук, все по писаному, как по-тесаному. Вот-с!

Старынчук слушал речь фельдфебеля стоя со стаканом в дрожащей руке. При чрезвычайно высоком росте рекрута приходилось ему круто сгибаться под низким верхом палатки. Но он и не замечал этого неудобства. Ах, как мало бывает надо для того, чтобы человек, находящийся в беде, почувствовал себя счастливым! Старынчук опрокинул стакан в рот, Кровь ударила ему в лицо. На бледно-желтых щеках запылал румянец. И вместе с этой горячей кровью доброе слово Брезгуна вошло в его сердце, как неожиданная радость, обещавшая в будущем свет и тепло. Он крепко, по-мужичьи, крякнул, вытер губы и поклонился, улыбаясь. Все смотрели на него.

- Эх ты, Влас, - воскликнул Трегуляев, - один таков у нас! Рожей сокол, а умом тетерев. Нюнить брось! Солдатская тоска в чем? Хлеба ни куска - вот солдатская тоска. А ты и сыт, и друзья у тебя находятся. Друзья прямые - что братья родные. Уж известно,

что для друга и хвост набок. Только не люби, Влас, друга-потаковщика - люби встрешника. Нюнить же зачем?

Плакала, рыдала,

Слезы утирала

Русою косой...

Эко дело! Да и все-то дело твое в полчасе состоит...

Трегуляев говорил это, а сам думал: "Материно молоко на губах не обсохло... Каково-то ему под палками быть? Наши гренадеры промаху не дают отстегают, что и до новых веников не забудешь..." И рука его совала Старынчуку пышный кус свежего папушника. Так уж, видно, устроен русский человек: насмешка и шутка с языка летят, а доброе чувство из нутра выбивается... Однако Трегуляев был неправ, когда утверждал, что все дело Старынчука "в полчасе состоит". Заключалось оно вот в чем.

Еще по весне взяли Власа из глухой полесской деревни, где он родился и вырос, и увезли в город. Здесь, при разборе рекрут, в суматохе среди непонятной торопливости начальников, решавших его судьбу, услышал он свой приговор:

- Славный будет гренадер!

Не успел Старынчук оглянуться, как очутился в неведомом, странном мире. Он вдруг перестал быть отдельным от других людей человеком. Его поглотило огромное тысячеголовое существо, усатое, грубое, одетое в железо и затянутое в ремни. Другими словами, он поступил в полк. Это волшебное превращение произошло почти мгновенно. Но коснулось оно только наружности рекрута, ничуть не затронув его души.

Под конец великого поста привезли Старынчука в роту. Время было свободное, и фрунт не успел занять своей мудростью все его мысли и способности. Сердце и память Старынчука были не в полку и не в роте, - они оставались в родной деревне. Не известно, о чем он думал. Солнце ходило по небу... Ветер гонялся над полем... Продолговатое, изжелта-наливное лицо Старынчука не выражало никаких мыслей. Голубые глаза казались пустыми, точно были сделаны из стекла. Может быть, он даже и не видел того, на что смотрел, - ни солнца, ни ржаных полей. Может быть, вовсе даже и не сам он сидел, глядя перед собой, а только туго затянутое в шинель громадное тело его, а самого Старынчука тут вовсе не было. Фельдфебель Брезгун знал, что это такое. Рекрут был тяжко болен тоской по родным местам и любимым людям. Такие-то и бегут из полков домой лесными дорогами и окольными стежками.

- Славный будет гренадер! - сказали про Старынчука при разборе рекрут.

И Брезгун крепко присматривал за ним, желая спасти от

неизбежного побега, поимки и шпицрутенов.

Много дней Старынчук не отрывал глаз от полей, обрызганных блеском весеннего солнца. За полями - лес. А там, в дуплах высоких деревьев, - дикие пчелы. Открой рот и лови крупные, сладкие, янтарные капли, словно медведь-медолиз. Пчелы любят затишье и привольные разлеты. А где тише и привольнее, как не в тамошних местах? Оттого и окружены там лесные деревни не только садами, но еще обязательно и пасеками. Точно серебряная, поблескивает речка между кленами, ясенем и ильмою. Хорошо шагать да шагать вдоль этой речки, выбираясь из темных лесных чащоб, потом войти в светлую, чисто обеленную хату и присесть около чернобровой Дони, сговоренной невестушки. Эх, хорошо!

Зорок и опытен был Брезгун, а не уследил. На страстной неделе Старынчук исчез из полка.

Вероятно, другой на его месте и добрел бы до дому. Надо было для этого иной раз ловко схорониться под кустом, или запасть в траве, или залечь невидимкой под грудой валежника, в развале бурелома. Но Старынчук не умел этого. Уж слишком был он велик ростом, широк в плечах и неповоротлив, чтобы при надобности белкой вспрыгнуть на дерево или змеей заползти под колоду. Не для него, долговязого, было такое дело! Долго бродил он, голодный и робкий, далеко обходя деревни и обегая встречных людей. Летом его поймали и доставили в полк.

Начальство присудило бегуна к наказанию: двести ударов шпицрутенами должны были до мяса и костей распороть его спину. Назначен был уже день, когда надлежало ему пройтись вдоль зеленой улицы. Но случилось так, что в этот самый день армия двинулась в поход. Наказание отложили. Да так и дотянулась эта несчастная история до сегодняшнего дня. Между тем за последнее время новые чудесные превращения совершались в Старынчуке. И не по наружности только. Словно кто вынул из него прежнюю тоску по дому, родной хате, отцу и матери, чернобровой Доне. Вынул и подменил яростной злобой и жестокой ненавистью к тем, кто заслонил все это собой, - к французам. Рядом с этим жгучим чувством жило еще и другое - горькое сознание запоздалой ненужности предстоящего наказания, позора и боли, которыми оно грозило ему. Уж теперь Старынчук не убежал бы! Вместе со своим полком теперь он стоял бы на месте до последнего вздоха, лишь бы выручить далекий дом отца из-под власти, спасти Доню от глумления иноземных врагов.

Старынчук превратился в славного гренадера. И хотя сам он не понимал, что с ним случилось, а еще менее мог бы рассказать

об этом, но опытный и зоркий Брезгун опять-таки знал, что это такое. Он не шутя считал теперь Старынчука надежнейшим солдатом своей роты. Ошибки в том не было. Неизвестно, что именно вывело бывшего бегуна из его обычного состояния унылой и молчаливой задумчивости - выпитое вино, речь старого фельдфебеля, насмешки Трегуляева или все это вместе, но только он неожиданно выпрямился и шагнул вперед.

- Ах, хвала пану богу, коли пан фитьфебель еще даст шаговку, подинькую...{46}

Он хотел было добавить: "Мне бы их под руку, нежитей хранцев! Я бы им бид сотцо с горою накуражил!"{47}. Но от волнения слова эти застряли у него где-то внутри. Зато огромный свинцовый кулачище с такой бешеной силой разрезал воздух, что палатка качнулась на сторону и погас огонь в фонаре...

Глава семнадцатая

Сначала голос Полчанинова дрожал и ломался. А потом зазвучал громко и звонко.

- "Серенькая лошадка моя, - читал он, - стоит всего сто рублей, но выносliва и умна необычайно. Заботиться о том, чтобы она была сыта, - у меня нет на то времени. И что же? Я делаю просто. Слезаю с нее и пускаю на волю. Тогда она или щиплет траву, или забирается в какой-нибудь сарай с сеном, или, наконец, пристает к кавалерии, где солдаты по привычному им животнолюбию отсыпают ей овса. Но при всех этих проделках никогда не упускает она из виду меня, своего хозяина. И стоит кому помыслить, чтобы увести ее, как она принимается отчаянно ржать и бить копытами, давая мне знать об опасности.. Надобно сесть на нее - она, бросив корм, подбегает и останавливается как вкопанная. Спрыгну с седла, уйду за калитку или в избу ложится у входа, как верная собака, да еще так осторожно ляжет, чтобы и седло не помялось и стремя не угодило под бок. Выйду - она уже вскочила и отряхивается. Неутомимость любезной лошади моей известна всей дивизии. Да и в главной армейской квартире - тоже. Гренадеры издали узнают меня по коню, и лица их оживляются: встреча со мной означает скорый привал. А сегодня Сестрица доставила мне несколько минут невыразимого счастья. Я скакал по лагерю с поручением начальника дивизии, когда нос к носу налетел на князя Багратиона. Дух занялся во мне от радости при виде чудного моего героя. Не помню, как отдал я ему честь, но явственно помню знак его, ко мне обращенный. Князь приказл остановиться и подъехать. Я исполнил, сам себя не помня.

- Конек твой некрасив, - сказал он, улыбаясь так ласково, как лишь один и умеет, - но добр очень.

- Так точно, - отвечал я первое, что на язык пришло, - так точно, ваше сиятельство!

- Вижу, ты день и ночь на нем, душа... По нему и узнаю тебя...

Боже! Багратион заметил и узнает меня... За что же, за что такое счастье?!"

Полчанинов замолчал. Руки его неловко мяли тетрадку дневника. Командир гренадерской бригады, полковник князь Григорий Матвеевич Кантакузен, быстро поднялся из-за стола, на котором вкусно дышала румяная кулебяка, приятно отдавала холодком льдистая ботвинья и заманчиво белел поросенок в сметане. Князь с жаром обнял прапорщика. Случалось уже не раз, что Полчанинов читал ему страницы своего походного журнала, и полковник, слушая, умилялся до слез, имевших обыкновение ни с того ни с сего вскипать на его черных как сажа глазах. Случалось, что и душил он при этом Полчанинова в объятиях. Но такие сцены всегда происходили один на один. А сегодня... В шатре Кантакузена, кроме него самого и Полчанинова, было много гостей, приглашенных князем на ужин. И какие гости! Вот генерал Ермолов в сюртуке нараспашку. Под сюртуком - шпензер, а из-под него виднеется расшитая цветными шелками русская рубаха. Как хорош был бы этот богатырь, кабы сбросил с себя и сюртук и шпензер да остался в русском наряде! Вот граф Кутайсов, молодой красавец, каких можно встретить только на портретах Ван-Дика, с волнистою гривой темных волос над белым, открытым лбом. А вот и главный гость, давний друг и покровитель полковника Кантакузена - Багратион. Ах, зачем затеял все это князь Григорий Матвеич! И вызвал к себе Полчанинова, и велел читать вслух журнал...

За маленьким столиком, поближе к входу, пировали адъютанты. Кое-кого из них Полчанинов знал в лицо и по имени, но не был знаком ни с одним. Бедному армейскому прапорщику не под пару эти блестящие гвардейцы - ни любимый Багратионов адъютант Олферьев, ни корнет конной гвардии князь Голицын, нагловатый малый, бесшабашный игрок и кутила, никогда, по слухам, не вылезавший из тысячных долгов и известный под прозвищем "принц Макарелли". Были и еще офицеры, но все, как на подбор, аристократы и богачи. С иными Полчанинов и заговорить не решился бы, а сейчас они посматривали на него с завистью. Почему это? Ах, как странно! Полковник Кантакузен расправил огромные бакенбарды а 1а Брусбарт, такие черные, что цвет их переходил в синеву, и еще раз обнял Полчанинова.

- Каков, ваше сиятельство? - спросил он Багратиона. - Со временем, пожалуй, в Гомеры российские выйдет! А?

Вероятно, по всей русской армии не было человека добрее и

простодушнее князя Григория Матвеевича. Лицо его, сохранившее еще благородную резкость южных черт, начинало уже слегка заплывать коричневатым жирком и постоянно улыбалось с радушной приветливостью. Он был из тех командиров-весельчаков, которые умели одновременно и биться с каким-нибудь субалтерном в банк на барабане, и диктовать адъютанту очередной приказ по бригаде. Зато и любили его подчиненные! И не столько сам он, сколько они гордились тем, что прямыми предками его были византийские императоры и молдавские господари.

- Спасибо тебе, почтеннейший! - говорил Кантакузен Полчанинову. Спасибо! Утешил! А мне честь, что в дивизии нашей сыскал я редкого этакого грамотея...

- Я не грамотей, - сказал Багратион, - для меня писать - все равно что в кандалах плясать. Но грамотных люблю. Прошлое - за нами, а будущее им суждено. И за Россию рад бываю, когда нахожу таких. Довольно с нас чужих грамотеев. А особливо - немецких. Надобно своих иметь. Как немца ни корми, как его ни пересаживай, словно капусту, а он все в Берлин глядит...

- Ох, уж эти мне тевтоны! - улыбнулся Ермолов. - В бане я с одним мылся. Банщик над ним веником машет, а тевтон вопит, что ему и от русских веников прохлады нет. А когда на него середь зимы в городке одном собаки напали, схватился за камень. Да на грех камень не подался, примерз. "Ах, вопит, проклятая страна, где камни примерзают к земле, а собаки бегают на свободе!" Вот уж, кажется, что русскому здорово, то немцу - смерть!

- Коли нет у народа своих вождей, - с сердцем вымолвил Багратион, - нет у него и своей истории. В пучине забвенья тонут народные доблести. Дух замирает в тоске. И славным сородичам подражать исчезает охота. Истории нет, коли нет для нее народных вершителей. А чтоб они были,, надобно учиться. Оттого и люблю я грамотеев...

Он повел кругом блестящими глазами.

- Кто мои адъютанты? Кого при себе держу? Муратов, царство ему небесное, порядочный был русских стихов сочинитель. Олферьев, - об тебе, Алеша, речь! - что шпага, что перо в руке - хорош без различья! И все русские!

- Чтобы народ и армия любили чужое имя, - горячо проговорил Кутайсов, надобно по крайней мере носителю имени того быть счастливым в своих действиях. Дерзость, смелость, удача - народные божества. Перед алтарем их и я склоняю колени!

Ермолов взял его за руку.

- Знаешь ли, граф? Когда начинаешь ты политиковать, гляжу я на тебя, и хочется мне крикнуть: "Ах, да и красив же ты, мил друг! Что за глаза! Что за нос!"

Багратион засмеялся. Кутайсов, по простоте и горячности, не почувствовал дружеской шпильки. А Полчанинов подумал: "Ермолов! Как удивительна смесь добродушия и лукавства, разлитая во всем существе твоем! Как неотразимо привлекательна она и опасна!" Между тем Алексей Петрович уже нахмурил широкий лоб и с задумчивой искренностью повторял:

- Дерзость, смелость - прекрасно. Был у нас Суворов, есть князь Багратион. Но не след, граф, и того забывать, что скифы Дария, а парфяне римлян разили отступлениями.

Багратион живо повернулся на ящике, покрытом ковром.

- Кому доказываешь, тезка? Глуп, кто против ретирад -ведь в восемьсот шестом году Кутузов отступлением спас нас. Но грош цена полководцу, который отступает, лишь бы не наступать. О том и говорим!

- Начальник гренадерской дивизии нашей таков именно, - сказал Кантакузен, - принц Карл{48} в бою - без упрека, а перед боем готов на край света бежать... Будут еще с ним хлопоты!

- Не дивись, князь, - с живостью отозвался Багратион, - принц твой...

Полчанинов догадался: о нем забыли, потому и разговор сделался откровенным сверх меры. Он зажал свой походный дневник под локтем и поклонился. Но на выходе из шатра вздрогнул, остановленный князем Петром Ивановичем.

- Эй, душа, стой! Обожди!

Багратион встал, подошел к Полчанинову и ласково положил руку на его скромный эполет с одинаковой звездочкой и полковым номером.

- От тебя, душа, разговор наш пошел, надобно, чтоб к тебе и вернулся. Попомни же мое слово. Будешь полковником - славно. Генералом - еще славней. Но ежели дашь произвести себя в немцы - пропал ты для России. И дружба моя с тобой врозь. Понял? Иди с богом, душа!

- Фельдфебеля Брезгуна к бригадному!

Не к полковому командиру, а к самому бригадному... На этом внезапном окрике посыльного прервалось мудрое председательствование Ивана Ивановича на трегуляевском торжестве. И вот, тщательно обдернувшись, оправившись и сколь возможно туже затянув на могучей груди белые амуничные ремни. Брезгун торопко переступил порог кантакузеновского шатра. От множества горевших в нем огней шатер этот светился, как розовый китайский фонарь. Но Брезгун никак не думал

столкнуться за его добротной полотняной полстью лицом к лицу с этаким генеральским сборищем. Сердце фельдфебеля забилось, как поросенок в мешке. Винный пар выбился холодным потом из толстой шеи. Малиновая физиономия посинела, будто под напором "кондратия", который уже раза два навещал старика. Бакенбарды бригадного развевались перед самым носом Ивана Ивановича. Но голос его почему-то доносился издали. Он говорил Багратиону:

- А вот мы сейчас и узнаем, ваше сиятельство, что это за солдат... Сейчас и узнаем... Здравствуй, Брезгун!

- Здр-равия желаю, ваше сиятельство!

- Да не реви так, уродина! Я же не глух! Э-э-э... Что это? Кажись, ты приложился?

- Ничтожную самую малость, ваше сиятельство!

- Увидим! Какой это бегун у тебя в роте завелся?

- Рекрут Старынчук, ваше сиятельство!

- Рекрут... Значит, впервой бежал?

- Так точно!

- До сей поры не наказан?

- Никак нет...

- А каков он? Каким солдатом быть обещает?

- Самый славный будет, ваше сиятельство, гренадер-с!

- А не врешь спьяну?

Совиные глаза Брезгуна часто-часто заморгали. Рот задергался. Слабый хрип вырвался из груди.

- Брезгун врать не может, - улыбаясь, сказал Багратион, - тверез ли, пьян ли, все едино, - ему, я чай, смерть легче, чем соврать! Не обижай, князь Григорий Матвеич, старика, - я его знаю.

Кантакузен облизнул яркие мокрые губы и смачно чмокнул фельдфебеля в жирную щеку.

- Мы с ним обидеть друг друга не можем! Верно ли, Брезгун?

- Никак не можем! - радостно прогремел Иван Иванович. - А коли обидим, так тут же и прочь ее снимем, обиду-то. Покорнейше благодарю, ваше сиятельство.

- Итак, - продолжал Кантакузен, - начальник дивизии усмотрел непорядок в том, что с самого начала похода откладывалось у нас наказание гренадера Старынчука. И по закону прав принц, я не прав оказываюсь. Ко чудится мне, что, окромя закона, человечность еще есть...

- И разум, - вставил Ермолов.

- Именно, ваше превосходительство. Они-то и воспрещают мне засекать солдат, когда вся судьба отечества зависит от целости и крепости многотрудной солдатской спины.

- И от пыла сердец солдатских! - крикнул Кутайсов.

- Именно, ваше сиятельство. Однако принц Карл, коему на все то наплевать, требует. И нахожусь я в крайнем самом затруднении...

Кантакузен был не на шутку взволнован. Он стоял посредине шатра и, с величайшей горячностью размахивая руками, спрашивал Багратиона:

- Как же прикажете мне поступить, ваше сиятельство?

Князь Петр Иванович отозвался не сразу. Вопрос был ясен, - но только со стороны существа дела. А со стороны "политической", в которой был замешан начальник дивизии, немецкий принц и родственник императора, все было неясно.

- Не могу приказывать, - проговорил он наконец, - не в моей ты, Григорий Матвеевич, команде. А как бы я сделал - не скрою...

Он еще помолчал, раздумчиво протягивая свой бокал к Ермолову, Кутайсову и хозяину, медленно чокаясь и еще медленнее отпивая вино крохотными глотками. Потом быстро поставил бокал на стол, взъерошил волосы и схватил Ермолова за лацкан сюртука.

- Любезный тезка! Вы - душ человеческих знахарь. Вас спрошу, верно ли сужу. Сечь бы теперь рекрута не стал я, - не ко времени. Но и страху за вину его не снял бы. Что нам от него надобно? Чтобы хорошим солдатом стал. Но с одного лишь страху хорошими солдатами не делаются. Я бы так решил: наказание вновь отложить, внушив притом виновному, что и вовсе от него избавлен будет, коли хорошим солдатом подлинно себя окажет...

- В первом же бою, - добавил Ермолов. - Браво, ваше сиятельство!

- Пусть крест егорьевский заслужит, - воскликнул Кутайсов, - тогда и наказание прочь!

- Так и я мыслю, господа. А кавалеров у нас не секут...

- Кроме тех случаев, когда и их секут, - язвительно заметил Ермолов.

Минута тишины нависла над столом. Молчание нарушил Багратион.

- Ив приказе по бригаде о таком решении, - сказал он, - я бы на месте твоем, князь Григорий Матвеич, объявил, дабы все подчиненные твои видели, каков у них рачительный и вперед глядящий командир.

- Спасибо великое, ваше сиятельство, - отвечал Кантакузен, - все так и сделаю. Да сейчас же, не откладывая, и приказ отдам. Одно лишь...

- Принца боитесь? - спросил Ермолов.

- Угадали, Алексей Петрович! Несколько опасаюсь... По дотошности своей - не принц, а часовщик. По сердцу же - кукла дохлая.

- Напрасно боитесь, - с внезапной строгостью проговорил Ермолов, оттого и командуют нами немцы, что мы их трусим, вместо того чтобы в бараний рог гнуть! Иди отсюда, - крикнул он Брезгуну, - марш! Доложите, князь, принцу, что приказ такой отдали вы по совету нашему общему. Это - раз. А второе - я принца вашего через Михаилу Богданыча завтра же в полное смирение приведу. Уж поверьте, что приведу!

- Будто Барклай не из того же теста выпечен? - усомнился Багратион.

- Дрожжи не те, ваше сиятельство! - сказал Ермолов и, вставая, занял собою добрую половину шатра.

Глава восемнадцатая

С тех пор как армии встретились и вступили в Смоленск, все изменилось в городе. По улицам его, прежде таким тихим и сонным, теперь с утра до ночи сновали шумные толпы взволнованного народа. Экипажи и телеги тянулись по всем направлениям бесконечными вереницами. В лавках и на рынках громоздились горы товаров. Перепуганные купцы торговали в полцены, в убыток. На перекрестках бойко распивалось хлебное вино и с жадностью поглощалась с разносных лотков всякая снедь. К кондитерской лавке знаменитого мороженщика Саввы Емельянова не было подступа, - ее брали штурмом. В старинной ресторации под вывеской "Съесной трактир Данцих" была такая теснота, что втиснуться в горницу, где счастливцы ели, пили и бились в банк и штосе, оказывалось почти невозможным. В горнице этой, на плите у камина, громко кипели кофейники. На горнушках со сливками аппетитно розовела жирная пенка. Перед буфетом, за столами и столиками, сидели армейские офицеры. У всех в руках дымились трубки на длинных черешневых чубуках. Кисеты с табаком не закрывались. Вино искрилось в прозрачных бокалах. Между столами расхаживал хозяин "Данциха".

- Что ж это будет? - допрашивал он своих гостей. - Куда ж подаваться, коль пересилит француз? Сделайте милость, господа, рекомендуйте меня знакомым вашим, хоть бы что-нибудь из запасцев сбыть...

И он открывал одну бутылку рейнвейна за другой и сам разливал золотистый напиток по граненым фужерам.

- Всегда терпеть не мог я крыс, метафизики и Бонапарта, - сердито проговорил Фелич, - но бешеные собаки и купцы еще того хуже. Брысь отсюда, скаред!

Трактирщик вмиг исчез за буфетной стойкой, а ротмистр

зевнул и затянулся из своей турецкой ярко-красной глиняной трубки с громадным янтарным мундштуком.

Феличу было сегодня не по себе. Он с отвращением глядел на груды румяных персиков, душистых груш и винограда, поднимавшиеся перед ним на фарфоровых блюдах. Зато какой-то провиантский комиссионер в черном мундире без эполет{49}, молодцеватый поручик Казанского драгунского полка в темно-зеленом колете с малиновым воротником, обшлагами и фалдочками да уланский корнет с на редкость бесцветными и выпуклыми глазами отдавали честь угощению. Откуда брались у Фе-лича деньги, чтобы каждый вечер роскошно потчевать приятелей и случайных полузнакомых? Все знали, что за душой у него не было ни полушки. Источники его средств не могли не казаться подозрительными. Где они? В чем? Но никому не приходило в голову спросить. Пышный стол его и расточительность, с которой он швырял червонцы, покрывали все сомнения.

Уже третьи сутки Полчанинов вертелся в свите Фелича, подхваченный вихрем непрерывных кутежей, и не имел времени прийти в себя. Смутно вспоминались ему предостережения Травина. Что-то неловкое, не вполне ладное было в той постоянной готовности, с которой оплачивал Фелич свои и чужие развлечения. И даже ласковая обходительность опасного друга минутами повергала Полчанинова в томительное раздумье. Нет-нет да и чудилось ему, что рано или поздно Фелич взыщет за сердечность и расходы свои сторицей. Действительно ли был барон бесчестным человеком? Неужели может быть бесчестным русский офицер? Эти вопросы мучили прапорщика. Страстное желание разгадать их неудержимо влекло его к ротмистру и не давало возможности уйти.

Фелич скучал. Брови его были сдвинуты в мрачной задумчивости. И вдруг красная трубка полетела под стол, мутные глаза засверкали веселым и жарким блеском.

- Шампанского сюда! Гей! Карты! Пятьдесят червонцев в банке! Мечу! Кому угодно? Господин комиссионер, прошу! У вас, конечно, водятся деньжонки. Нуте-с! Идет семерка на пароли от угла!

Карты замелькали. Кучи голландских червонцев начали с неимоверной стремительностью перескакивать с места на место. Живые горки их поднимались все выше, маня партнеров. Казанский драгун то и дело вынимал из-за пазухи колета набитый золотом кошель, - вынет деньги, спрячет, а уж кошель и опять надобен.

- Слушайте, возок с фонарями! - кричал Фелич уланскому

корнету, глаза которого с каждой минутой становились все стекловиднее. - Держите прямее! Банк? Прошу. Бита! Платите, господин кучер! А вы, Полчанинов, что же?'

- У меня нет денег, - тихо проговорил прапорщик.

- Что? Пустое! Вот - мои деньги. Берите! Ставьте.

- Не могу...

- А-а-а, так! И то - дельно! Но ведь у каждого офицера на подобный случай есть верховая лошадь. Быть не может, чтобы у вас не было. А?

- Есть... - прошептал Полчанинов.

Отчаянная мысль вспыхнула в его мозгу и обожгла сердце: "Попробую... И все выяснится сразу!"

- Ставьте, - говорил Фелич, - ручаюсь, что уйдете с полным карманом. Цена коня?

- Сто рублей...

- Десять червонцев! Берите карту!

Полчанинов потянулся к столу. Несколько мгновений Фелич держал свою карту на отлете в поднятой кверху руке, пристально глядя на прапорщика, словно рассматривая его же то в первый, не то в последний раз. Потом усмехнулся и опустил руку.

- Бита! Что же делать, дружок? Фартуна не с вами. Остались без лошади. Завтра к обеду извольте доставить. Что?

И он нагло засмеялся, любуясь смертельной бледностью уничтоженного партнера. Вообще Феличу везло необычайно. Провиантский комиссионер пыхтел и отдувался, выпуская четвертую сотню червонцев. "Возок с фонарями" уже давно хлопал себя по карманам, в которых нудно позвякивало последнее серебро. Казанский драгун больше уже вовсе не прятал за пазуху похудевший кошель. Полчанинов встал из-за стола. Лицо его кривилось в растерянной улыбке. Глаза подозрительно часто моргали. Но тайная надежда, что все это не больше чем шутка Фелича и сейчас уладится, что Сестрице не угрожает ничего страшного, надежда эта еще не окончательно в нем пропала. Он сделал над собой жестокое усилие и проговорил:

- Следовательно, завтра...

Взгляд Фелича был холоден и туманен. От ледяных слов его сердце Полчанинова ухнуло и провалилось в темную безнадежность.

- Непременно! Иначе... впрочем, как благородный человек, вы сами понимаете. Послушайте, "возок с фонарями", ежели у вас вышли деньги, не мешайте по крайней мере нам с господином комиссионером и поручиком кончить талью.

Полчанинов повернулся и пошел к двери. Горбоносая морда Сестрицы, ее умные и преданные глаза, вся привычная,

некрасивая, но милая стать мелькала перед ним с отчетливой живостью. Стоило лишь шаг сделать, чтобы погладить длинношерстую холку Сестрицы. Но вместо этого прапорщик поднял обе руки и закрыл ими лицо.

Сестрица! И Багратион похвалил... И страница журнала... Полчанинов вдруг понял весь ужас того, что случилось, ахнул и, гонимый толчками беззвучных рыданий, стиснув зубы до боли в голове, помчался вниз по трактирной лестнице. На нижней ступеньке его ухватил за рукав Травин.

- Обыграл-таки Фелич вас? Экий подлец!

В домах светились тусклые огни. Часовые перекликались. И городской колокол отбивал уже поздние часы, когда сменившийся с дежурства и наскоро переодевшийся Олферьев стоял на пороге своей квартиры, натягивая модные фисташковые перчатки, - стройный, ловкий и безмятежно красивый. Старый дядька, сопровождавший его в поход, качал головой, выдавая барину деньги на расход.

- Вот тебе пятьсот рубликов, Алешенька. А боле не проси. Опять, я чай, в трактир целишь? Эко горе! Так тебя в капернаумы эти и тянет. А чего не видал ты там? Картишки небось... Еще счастье твое, что всегда в проигрыше бываешь. Слава создателю, люди мы - тьфу, тьфу, тьфу! - не бедные. И проигрыши твои - не главный для нас расчет. А подумай, Алешенька, кабы довелось тебе обыграть какого-нибудь армейского голодранца-прапорщика, на коем от нужды штанишки еле держатся? Девяносто три целковых ассигнациями в годовую треть по окладу жалованьишка и, сверх того, за душой семика нет? Много ведь таких. А? Где бы тогда совесть твоя была, Алешенька?

Почтенный дядька запер сундучок, ключ от которого хранил у себя, и вздохнул. Олферьев давно привык к этим напутственным увещаниям, зная наперед все, что мог сказать ему преданный и честный слуга.

- Помолчи, Никанор, - вымолвил он с улыбкой. - Да откуда ты взял, что я опять в карты? Может, я и в трактир не пойду. В Смоленске театр играет, представляю, как жалок и смешон после петербургских показаться должен. Хоть для того зайти следует...

Говоря это, Олферьев обманывал и дядьку и себя. На улице он огляделся и, сверкая в темноте белоснежным конногвардейским мундиром, гремя ножнами и шпорами, двинулся прямо к дому, в котором помещалась гости-йица и ресторация итальянца Чаппо. Здесь собиралась по вечерам блестящая гвардейская молодежь. "Чаппо" был несравненно фешенебельнее "Данциха". Однако в обширной зале с лепным потолком и алебастровыми статуями по углам, так же как и в

"Данцихе", гуляли синие клубы табачного дыма и стоял такой же неуемный шум. В дверях залы Олферьева встретил однополчанин его, Голицын. Он приходился двоюродным братом князю Багратиону, но, по крайней молодости лет, признавал своего знаменитого родственника за дядю. "Принц Макарелли" высоко поднимал ликерную рюмку, в которой тяжелыми блестками переливался густейший "лероа".

- Алеша! - закротал он. - Славно, что пришел ты! Представь: я уж было и банк заложил, и метать начал, да Клингфер с Давыдовым сцепились... Умора! И карты - под стол! Мамаево побоище!.. Et vous, mon cher, comment trouvezvous ces alienesla{50}?

- Как? Опять спорят? - удивился Олферьев. - Qui n'entend qu'une, cloche, n'entend qu'un son. Il faudra voir a quoi nous tenir{51}.

Чернявый подполковник в венгерке Ахтырского гусарского полка, с веселой шишечкой вместо носа и серебристым завитком в кудрях, выскочил из-за стола.

- Алеша! Где проливается вино, там купаются слова! Садись, пей, ешь и суди безрассудных...

Приветствуя Олферьева, два офицера чинно поднялись со своих мест. Высокого и бравого кавалергардского ротмистра звали фон Клингфер; маленького лейб-кирасира с ухватками ловкой обезьяны - граф Лайминг. Оба были адъютантами генерала Барклая.

- Давыдов рассказывал о своем знакомстве с Суворовым, - проговорил Клингфер, вежливо отводя от губ большую пенковую трубку. - Он собирается записать эту историю, дабы не потерялась она для отдаленных потомков. А я нахожу, что потомкам лишь то знать интересно будет о великих людях, чем великость их на деле оказывается...

"Принц Макарелли" принял таинственный вид.

- У нас в ложе "Военных братьев"...

- Пустое! - с придворной небрежностью заметил Лайминг. - Ни одного великого человека нет ни в одной масонской ложе. Разве его высочество, цесаревич Константин, единственный...

- Откуда вы взяли, граф, что его высочество - великий человек? засмеялся Олферьев. - Не о знатности рода наш толк, а о великости души и действий.

- Фу, черт возьми! - воскликнул Давыдов. - Дайте же досказать!

В этом гусаре были замечательны огненная живость речи и свежая искренность чувства, которым дышало все его крикливое и непоседливое существо. Отбросив за плечо раззолоченный ментик

и взъерошив волосы, он продолжал свой прерванный рассказ:

- Стукнуло мне девять лет. Шал и резов был я, словно козленок. Отец командовал тогда в Полтаве конноегерским полком. Там, на смотру, увидел я Суворова. Старец знал и любил отца. Бойкость моя ему приглянулась. "Дениска! Беги сюда!" Малая, сухонькая, желтая, словно ярь, ручка героя легла на ершистый затылок мой. "Помилуй бог, какой удалой! Это будет военный человек! Я не умру, а он уже три сражения выиграет!" Ах, заскакал, запрыгал я! Тотчас швырнул за печь псалтырь, замахал саблей, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и хвост отрубил борзому псу...

- Полагать надобно, что о трех победах этих и пророчествовал Суворов, с усмешечкой сказал Лайминг.

- А благодетельная отцовская рука вновь обратила вас к псалтырю, добавил Клингфер.

- Теперь же, когда подвинулся я далеко вперед ежели не ростом, то русскою мыслью своею, - с внезапной серьезностью, горячо вымолвил Давыдов, в тугих обстоятельствах наших горько крушусь, что нет с нами Суворова...

- Стой, Денис! - отозвался Олферьев. - У нас есть Кутузов, есть Багратион!

Розовое лицо Клингфера вытянулось и вдруг сделалось страшно похожим на грубо высеченные из камня рыцарские надгробия в старых германских соборах.

- Не только они, - с веской расстановкой слов произнес он. - К счастью, кроме Багратиона, предусмотрительность и осторожность командует русской армией. Это - ее лучшие полководцы.

На первый взгляд фон Клингфер был такой же молодой, веселый и блестящий офицер, как и очень многие другие из его круга. Однако сквозь веселый блеск молодости то и дело проступала в нем жесткая сдержанность - род упорного, сурового раздумья.

- Понимаю, - с досадой сказал Олферьев, - вы говорите о генерале Барклае. Его достоинства бесспорны. Но предусмотрительность и осторожность, являясь главными из них, незаметно привели русские армии в Смоленск...

- Меньше чем за полтора месяца войны! - с негодованием выкрикнул Давыдов.

- У нас в ложе... - начал было "принц Макарелли",. но, вспомнив что-то неподходящее, махнул рукой. - Интересно, куда отгонит нас Бонапарт еще через месяц!

Спор вспыхнул, как солома, на которую упал огонь. Голоса офицеров с каждой минутой становились громче, слова - резче,

аргументы - непримиримее.

- Верно, что честь оружия нашего до сей поры неприкосновенна! - яростно кричал Давыдов. - Верно! Этого Наполеон еще никогда не испытывал. Но сердце, господа, на куски рвется, когда думаю, какие пространства нами уступлены...

- С помощью божьей, - сказал Клингфер, - благополучно отступим и далее.

Черствая рассудительность Барклаева адъютанта бесила Олферьева. "Это школа, целая школа! - с сердцем думал он. - Мерзкие перипатетики!"{52} "Лероа" действовал на корнета. Голова его пылала. И он проговорил резко, как можно резче, стараясь задеть, а если удастся, то и вывести Клингфера из себя:

- Вы надеетесь на бога. А мы, сверх того, еще и на князя Багратиона. Что скрывать? Нам ненавистна ретирада, она истомила нас. Ее позор оскорбителен...

Туман в голове Олферьева сгущался. Обрывки мыслей стремительно обгоняли друг друга: "Несчастная Россия! Муратов счастливей всех нас! Ах, семь бед один ответ!" Олферьев вскочил, поднял руку и пошатнулся. Звонкий тенор его разнесся по зале:

Vive 1'etat militaire
Qui proment a nos ouhaits
Les retraites en temps de querre,
Les parades en temps de paix...

Эту песенку, сложенную еще покойным Муратовым, частенько распевали во Второй армии гвардейские офицеры. И сейчас сперва "принц Макарелли" и Давыдов, а за ними еще добрая дюжина голосов, сильных и слабых, умелых и неумелых, подхватила мелодию и слова. Чья-то грозная октава вела за собой хор:

Славу нашего мундира
Мы поддерживать должны
Вахтпарадами в дни мира,
Отступленьем в дни войны...

Клингфер стоял бледный, с закушенной губой и сложенными на груди руками.

- Браво! Славно! - прогремело за его спиной. Он оглянулся. Это был Фелич.

- Оставьте ваши coups de theatre{53}, барон! Не советую также подходить к людям из-за спины!

Фелич усмехнулся и, как таракан, задвигал усами.

- Дурная привычка думать вслух доставляет мне изредка приятные минуты, но и множество неприятных тоже. К счастью, я не кичлив и не околачиваюсь по главным квартирам...

- Фелич!!! - грозно крикнули, как по команде, штабные - и

Клингфер, и Олферьев, и Лайминг. Гусар щелкнул шпорами.

- Я не хотел никого обидеть, господа!

Несколько секунд маленький обезьяноподобный кирасир и его высокий товарищ что-то обсуждали вполголоса с деловым видом. Затем Клингфер подошел к Олферьеву.

- Послушайте, корнет! Граф Лайминг и я - мы адъютанты генерала Барклая. Песня, которую вам нравится распевать, прекрасная, очень остроумная песня. Но она оскорбительна для лица, при коем мы состоим. Сверх того, некоторые господа из главной квартиры Второй армии распускают по рукам некое глупое письмо...

- Вот оно, - с наслаждением сказал Фелич и полез в ташку{54}.

Олферьев смотрел на Клингфера и почти не видел его. Маячившая перед ним отвратительная и злобная маска не могла принадлежать этому спокойному и красивому офицеру. Странное дело! При первых же словах Клингфера хмель соскочил с Олферьева, - возмущение и гнев оказались сильнее "лероа". Но горячий туман не испарился, и тысячи молоточков больно ударяли в виски. Олферьев чувствовал, что задыхается от ярости, и, чтобы не задохнуться, рвал на куски фисташковую перчатку.

- Вы хотите сказать, ротмистр, что я распускаю известное письмо? И может быть, делаю это по поручению моего генерала? Не так ли?

- Браво! - рявкнул Фелич. - Славно! Ох, не стерпел бы я!..

Пришла минута, когда, по точному расчету Клингфера, должен был наступить неизбежный и естественный конец этой ссоры. Тянуть долее было бесполезно, да и неприлично. Поэтому он проговорил решительно и твердо;

- Последнее - едва ли. Но первое - так. Письмо распускаете вы, вы, вы...

- Браво! Ей-ей, не стерпел бы я! К вашим услугам, господа!

Со стороны могло показаться, что Фелич - главное действующее лицо в этой истории. Олферьев шагнул вперед и швырнул кусок разорванной перчатки прямо в лицо Клингферу.

- Ловите, лжец!

Кавалергард покачнулся, словно не перчатка задела его по щеке, а ударил кастет или камень. Рука Клингфе-ра рванулась к шпаге. Но Лайминг удержал ее.

- Kjeutzschockdonnerwetter! - произнес он сквозь зубы. - Sie sind ein famoser Schwerenother{55}! Завтра я пристрелю вас. Корнет, граф Лайминг мой секундант.

- Полковник Давыдов условится с вами, граф, о подробностях поединка, сказал Олферьев, повертываясь и надевая фуражку. -

Мое почтенье, господа!

Секунданты пожали друг другу руки. В зале было тихо. Тесное кольцо любопытных окружало поссорившихся. Оно разомкнулось, пропуская Олферьева, но корнет не успел уйти. Навстречу ему спешил артиллерийский поручик в поношенном мундире с нитяным шарфом. Это был Травин.

- Господа, - громко говорил он, - свидетельствуюсь честью, что письмо, из-за коего ссора вышла, не кем иным, как прапорщиком пятого егерского полка Александром Раевским распускается. И копии все - руки его, что, надеюсь, и сам он при спросе не откажется подтвердить...

Давыдов шепнул Лаймингу:

- Мы, секунданты, считаем, что разъяснение господина поручика достаточно для уничтожения повода, послужившего к ссоре. При добром желании.

Фелич бурно запротестовал:

- Как можно, любезный Денис? После того что сказано и сделано было, неминуемо кровь пролиться должна! Кровь!

Давыдов топнул ногой.

- Фелич, уймись! Или я... Что за страсть мешаться! Травин подошел к барону и несколько раз помахал пальцем перед его носом.

- Что должно и чего не должно быть, знают без тебя, Бедуин! А вот на твоем месте я бы крепко обиделся на подполковника. Ведь он сейчас кричал на тебя, как на денщика!

- Гм! А тебе что за дело?

- Я говорю: надо обидеться.

- Обижайся, брат, коли охота. И отвяжись...

- Не кажется ли вам, господа, - засмеялся Травин, - что барон Фелич чрезвычайно необидчив и даже терпелив, как верблюд?

На лбу ротмистра грозно напружилась поперечная синяя жила.

- Эй, Травин! Я проучу тебя! Уж несколько дней, как ты...

- Несколько дней, как я ищу случая проучить тебя. А после того как ты подло объегорил сегодня прапорщика Полчангнова, это положительно необходимо. Итак, rendezvous{56} завтра утром, в Петербургском предместье, у моста, господин барон!

- Отлично, господин Травин! На чем вы деретесь?

- Разумеется, на пистолетах.

- А я - на шпагах.

- Врете! Вы будете драться на пистолетах... Травин уже не улыбался.

- Коли не так, я всажу тебе пулю в брюхо, подлец!

- А я заставлю тебя выйти на шпагах, прохвостина! Или отрублю твои уши...

Полчанинов и драгунский поручик в темно-зеленом колете пожимали друг другу руки. Они были секундантами. Вдруг двери залы с шумом распахнулись, и в них показалась величественная фигура генерала Ермолова, в кивере, с плац-майором и ординарцем позади. Алексей Петрович быстро и прямо шел к месту действия. Насупленное лицо его было сурово. В серых глазах плясал сердитый огонь.

- Экий стыд! - произнес он своим глубоким, проникавшим в душу голосом. - Цвет гвардии! Адъютанты главнокомандующих! Артиллерист - кость от кости мо" ей! Как будто надобно ссорами

и поединками мрачить год великий, который вечно отечеству нашему памятен будет, тяжкий несчастиями, знаменитый блистательной славой грядущих побед наших в роды родов!

Он посмотрел на дуэлянтов. Они стояли, опустив го" ловы. Фелич хотел что-то сказать.

- Вы-то меня не удивили, - предупредил его Ермолов, - а прочим - стыд! Вы арестованы, господа! Шпаги - плац-майору!

Глава девятнадцатая

То, что полковник Толь, при невысоком штаб-офицерском чине своем, занимал должность генерал-квартирмейстера Первой армии и вместе с главнокомандующим и начальником штаба являлся основной пружиной ее действий, было необыкновенно. Объясняли это двояко. Одни видели секрет в изумительном трудолюбии и редких способностях Толя, другие - в особом отношении к нему генерала Барклая, который ни с кем не был дружен и никого не любил, а Толю выказывал доверие, походившее и на дружбу и на любовь. К исключительному положению полковника в армии все давно привыкли, кроме него самого. Толь был незнатен и небогат. Известно было, что отец его, живший в Нарве, терпит недостаток в необходимом. Именно о таких, как Толь, говорится: кузнец своего счастья. И от этого счастья у него кружилась голова. Неутомимый и деятельный, смелый и дельный, он был вместе с тем и вспыльчив, и упрям, и горд, и надменен. У него была манера говорить отрывисто, короткими, решительными фразами. Случалось ему покрикивать и на генералов. Однако за этой резкой и неподатливой деловитостью прятались и тонкий расчет поступков, и неблагородная хитрость.

До последнего времени бескорыстное покровительство Барклая охотно принималось Толем. И он платил за него главнокомандующему неусыпным трудом. Но здесь, в Смоленске, полковник впервые почувствовал неприятную сторону своих отношений с Барклаем. Произошло это в тот день, когда в главную квартиру Первой армии прискакал государев флигель-адъютант с высочайшим повелением министру: немедленно переходить к решительным действиям, защищая Смоленск соединенными силами обеих армий. Повеление это ставило Барклая в крайне затруднительное и невыгодное положение. Вместе с ним в такое же точно положение попадал и Толь.

До Смоленска Барклай не раз имел возможность наступать. Но император, боявшийся разгрома армий поодиночке, требовал соединения с Багратионом, а пока и слышать не хотел ни о каком наступлении. До сих пор это настроение императора совершенно совпадало с планами Барклая, поскольку возможно совпадение

инстинкта и расчета. Естественно, что независимый характер и безукоризненная честность министра не стеснялись ни ропотом войск, ни протестами Багратиона. Ретируясь, Барклай последовательно и твердо делал то, что считал необходимым, а в случае крайней нужды мог заслониться повелениями императора. И Толь чувствовал себя в безопасности. Теперь все это изменилось. Настроение императора и планы главнокомандующего разошлись. Барклай находил, что все прежние возможности для наступательных действий потеряны. Французские корпуса с. разных сторон придвигались к Смоленску, и под общим их ударом соединенная сила обеих русских армий, по сравнительной слабости своей, неминуемо должна была быть уничтожена. Наступление сделалось невозможным, - следовательно, и Смоленск защищать было бесполезно. А между тем приободрившийся после соединения армий император требовал наступления. Толь был уверен, что твердый характер министра не позволит ему прекратить ретираду в угоду царю или под натиском недовольства войск. Если прежде он выполнял желания императора, то теперь будет действовать за личный свой страх и вразрез с высочайшим повелением. Может быть, он и спасет армию, но себя погубит наверно. Без поддержки императора в главнокомандующих ему не усидеть... Что же тогда будет с ним, с Толем?

Эти соображения очень тревожили полковника. Не меньше Толя обеспокоен был и Барклай. Страстная кипучесть окружавшей министра ненависти была ему очень хорошо известна. Он не мог не страдать от нее. И действительно, страдал мучительно и глубоко. Часто, очень часто обдумывал он свое положение. Отчего было бы не сложить ему с себя тяжкое бремя главного командования? Почему бы не передать его, к общей радости, Багратиону? Неужели мешало... честолюбие? Нет, твердость. Уж очень жарко пылал Багратион стремлением одерживать победы. Уж слишком самоуверенно смотрели его сторонники в будущее. А Барклай видел действительную опасность и не хотел отказаться от трудной роли, которую назначила ему судьба: спасти Россию...

Однако Толь вовсе не собирался погибать вместе со своим покровителем.

Барклай вышел из кабинета; государев флигель-адъютант и генерал-квартирмейстер Первой армии остались вдвоем. Толь не терял ни минуты. Он отлично чувствовал тон, в котором следовало вести эту беседу.

- Наш главнокомандующий, - говорил он, - благороден, умен, учен, храбр, распорядителен. Но не понимаю, как мог он стать против Наполеона? Ведь русская армия ужасно не любит его!

- Я имею об этом кое-какие сведения, - сказал флигель-адъютант, - но, вероятно, вы знаете больше?

На пухлых губах Толя шевельнулась тонкая улыбка.

- Еще бы! Вот недавний факт. Вчера в ресторации Чаппо гвардейские офицеры хором пели французскую песенку, каждое слово которой - оскорбление главнокомандующего. Нельзя уважать того, кого оскорбляешь. Следовательно... Кажется, я могу и не договаривать. Правда, песенка сочинена кем-то из адъютантов князя Багратиона. Но и в Первой армии ее распевает гвардейский корпус. Вообще...

В комнату вошли Барклай и Ермолов. Глаза Алексея Петровича впились в собеседников. Толь улыбался.

- Вы говорили что-то интересное, Карл Федорыч, - сказал начальник штаба, очевидно желая неожиданным нахрапом припереть генерал-квартирмейстера к стене, - гвардейский корпус... вообще...

Продолжая улыбаться, Толь словно подхватил последнее слово:

- Вообще роль главной квартиры князя Багратиона в разжигании страстей вполне очевидна...

Он повернул свою приземистую и плотную фигуру к Барклаю.

- Я имею в виду, ваше высокопревосходительство, досадительную историю с известным письмом, копии с которого распускаются среди офицеров адъютантами князя Багратиона.

- У меня есть такая копия, - заметил флигель-адъютант, - очень жаль, что генерал Багратион не гнушается подобными шиканами{57}.

Он тоже повернулся к Барклаю.

- Взгляд его величества на них мне довольно известен. Стоит лишь вашему высокопревосходительству донести государю, чем штаб Второй армии занимается, - и князь Багратион... одобрения высочайшего не заслужил бы!

Барклай сидел в кресле, сгорбившись и нагнув плешивую голову. В последние дни он со всех сторон слышал болтовню об этом подлинно несчастном письме. В начале войны он сам отослал его Багратиону. Но отнюдь не предполагал тогда, что из пустой, хотя и неосмотрительной, любезности вырастет злостная шикана. Неужто же, однако, идет она от Багратиона? Как ни был князь Петр Иванович неприятен Барклаю, а усомниться сейчас, под влиянием штабных россказней, в его благородстве казалось Михаилу Богдановичу и тягостно и мелко. Он был искренне признателен всякому, кто рассеял бы эти скверные подозрения. И, словно отыскивая такого человека, поднял голову и внимательно посмотрел на присутствующих.

Толь был доволен и ходом разговора, и собой. Пока отсутствовал Барклай, ему удалось рассказом про оскорбительную для министра песенку быстро и легко отгородиться во мнении государева флигель-адъютанта от своего покровителя. А когда Барклай появился, Толь с такой же быстротой и ловкостью устранил возможные подозрения в измене, заговорив о неприятной для Багратиона истории с распространением письма. Так надо делать дела! Что касается флигель-адъютанта, он хорошо знал, как высоко ценил император усердие тех свитских, которые тешили его сплетнями, собранными в войсках. Особенно интересовался его величество генеральскими ссорами. Поэтому флигель-адъютант был не только доволен, но еще и благодарен Толю за услышанное. Взгляд Барклая остановился на Ермолове. Умное лицо Алексея Петровича имело то особенное, все понимающее выражение, которое лишь ему одному бывало свойственно. И, как бы отвечая на молчаливый вопрос министра, он сказал твердо и решительно.

- Вчера вечером, господа, я арестовал в ресторации Чаппо офицеров, повздоривших из-за пресловутого письма. О происшествии этом вкратце я уже докладывал Михаиле Богданычу. Но сейчас добавить должен: копии письма распускает не князь Петр Иваныч и не его адъютанты, а сын генерала Раевского, прапорщик пятого егерского полка. И он лишь один самолично в том повинен. Отсюда вывод следует сделать господину полковнику Толю: всякий в отдельности ошибаться волен, а других людей ошибкой своей пятнать никому не дозволяется. Здесь же так именно вышло. Unglaublich, aber doch{58}!

Ермолов засмеялся. Барклай молча пожал ему руку. Очень редко случалось Михаилу Богдановичу выражать свое удовольствие в словах. Зато взгляд его в такие минуты бывал полон самой теплой, отеческой доброты. Если бы умел он так же говорить, как смотрел иногда, никто не упрекал бы его ни в холодности, ни в бездушии. Сейчас Барклай испытал большую радость. Ермолов снял с его души тягостный груз. Бледные губы Барклая задвигались.

- Это прекрасно, мои господа! От сердца благодарен вам, Алексей Петрович. И прошу: завтра же побывайте у князя Петра Иваныча и предупредите его о том, как невыгодно, ко вреду его может обернуться дело с этим злосчастным письмом, стоит того кому захотеть. Ежели добросовестно и дельно вразумить человека, всегда бывает он рад вразумиться. Убедите князя, чтобы не горячился. А прапорщика Раевского, пожалуй, и впрямь надобно наказать. Впрочем, это уж дело князя самого!

Цесаревич Константин Павлович проснулся в самом дурном расположении духа. Он долго сидел в спальне у окна, запахнувшись в длинный белый халат, и упорно глядел на улицу, не отвечая на почтительно-осторожные вопросы адъютантов и слуг. Такие скверные дни бывали у его высочества довольно часто. И приближенные чрезвычайно не любили их. Иметь с цесаревичем дело, когда он не в духе, было тяжело и противно. Он без конца привередничал, терзая нелепыми выходками себя и других. По всякому поводу, а то и совсем без повода, охватывал его неудержимо-яростный, удушливый гнев. Тогда глаза его наливались кровью, голос становился сиплым и спадал с обычного тона до хриплых басовых нот. Вспоминая потом, в добрые минуты, об этих припадках, цесаревич говаривал:

- Жизнь моя похожа на волшебный фонарь, в котором дьявол от времени до времени тушит свет...

Константин Павлович одиноко сидел у окна, и беспричинная злость пополам со скукой все туже и больнее сжимала его широкую, но впалую грудь. Давно бы уже следовало ему и одеться, и сесть за завтрак. Но он не хотел ни того, ни другого. И оттого, что не хотел, злился еще более. Под окном проходил народ. Но все это были какие-то неинтересные, серые люди, способные видом своим лишь усилить чувство безнадежности и тоски. Вдруг цесаревич протер глаза, вскочил и высунулся из окна. Необычайное зрелище захватило все его внимание. Через площадь, прямо к дому, где он стоял со своим штабом, мерно шагали в ногу сопровождаемые конвоем два офицера без шпаг. Один был кавалергард, другой - конногвардеец. Константин Павлович вспомнил: "Да ведь это те самые тептери, которых намедни накрыл генерал Ермолов перед поединком... Теперь они идут ко мне на расправу. Ага! Ну и покажу я им, где раки зимуют..." Перспектива эта, открывавшая возможность сразу вылить на виновных офицеров томивший цесаревича гнев, показалась ему приятной.

- Эй! - раздался по всему дому его сиплый бас. - Эй, люди! Одеваться!

В спальню вбежали слуги, за ними - ординарцы и адъютанты. Так как Константин Павлович был шефом лейб-гвардии конного полка, то среди адъютантов находился и дежуривший сегодня при нем от полка корнет князь Голицын.

- Арестованные фон Клингфер и Олферьев, - отрапортовал он, - по повелению вашего высочества прибыли!

Цесаревич махнул рукой, не отвечая. Косматые брови странного соломенного цвета, придававшие его курносому лицу выражение мрачной суровости, прыгали от нетерпения. Он изо

всех сил спешил с туалетом: так хотелось ему поскорее показать раков арестованным офицерам. Однако, по мере того как одеванье подходило к концу, улетучивались куда-то гнев и досада. И когда он был уже в шпензере и хотя еще без сюртука, но уже с огромным белым крестом Георгия второй степени на шее, "принц Макарелли" явственно уловил на его физиономии ту самую приветливую улыбку, которая означала, что припадок кончился.

Как всегда бывало в подобных случаях, одновременно с концом припадка в дверях показалась презабавная фигурка начальника штаба его высочества. Генерал-майор Курута был мал ростом и брюхаст, словно шарик, поставленный на быстро двигавшиеся коротенькие и кривые ножки. У него была большая голова, длинный нос, смуглое лицо, курчавые, как у негра, волосы и тускло-черные глаза, похожие на маслины, завалявшиеся под прилавком у торговца. Курута был грек и обучал цесаревича греческому языку в те далекие времена, когда Екатерина II мечтала о восстановлении для своего внука Византийской империи.

- Здравия зелаю,-васе висоцество! - сказал Курута. - Добрый день, доброе здоровье!

Появление начальника штаба окончательно вылечило Константина Павловича. Черты его лица разгладились, и улыбка согнала с губ последние остатки суровости. Он любил старика удивительной, совершенно ребяческой любовью. И подбежав, схватил его маленькую, сморщенную ручку и крепко, взасос, поцеловал. Курута нежно чмокнул воспитанника в плечо.

- Скажи мне, друг Дмитрий Дмитрич, - спросил цесаревич, - о чем думает Барклай? Неужто он сбирается надуть брата? Поверить же квакеру, что будет и впрямь Смоленск защищать, ей-богу, не могу! Курута хитро усмехнулся.

- Он такой целовек: запрягает медленно, а ездит есцо тисе.

- Так за коим же чертом рассказывает он нам свои сказки? Разве мы дети?

- Сказки, васе висоцество, нузны не столько детям, сколько взрослым. Барклай о том отлицно знает. Вот и рассказывает!

Цесаревич расхохотался.

- Greco fides nulla{59}! Но на сей раз прав ты, Дмитрий Дмитрич, без отмены. Идем к арестантам.

Клингфер и Олферьев стояли в зале, вытянувшись по форме и не глядя друг на друга. Константин Павлович молча подошел к ним и внимательно осмотрел каждого с головы до ног. Собственно, оба они были прекрасно ему известны: Клингфер - по отцу своему, директору Петербургского кадетского корпуса, а

Олферьев - по конногвардейскому полку. Но цесаревичу хотелось быть официальным.

- Тептери! - сказал он. - Что вы вздумали? Драться? В каталажку вас! Вы думали, раз адъютантами у главнокомандующих сделались, так я до вас уж и не достану! Дудки! Покамест на вас гвардейские мундиры, а императорская российская гвардия под командой моей, я на вас ездить могу. Дас!

Курута неприметно дотронулся до руки цесаревича. Константин Павлович ощутил это прикосновение и вздрогнул.

- То есть я хотел сказать, господа, что из команды моей ходу вам никуда нет. Будь на моем месте другой кто - бог весть, какими шишками накормил бы вас за дуэльную вашу проделку. Я же за тем лишь слежу, чтобы служба не страдала. До прочего мне и дела нет. Хоть головы друг дружке отвинтите. Однако сейчас идет война. И какая! Вы - солдаты. Кровь свою попусту лить преступление перед отечеством, ибо ему одному вся ваша кровь теперь принадлежит. Там еще двое армейских стреляться решили. Одного знаю я Фелич. Старая собака!

Его хоть палкой по голове бей - не поймет. А вы? Другой бы на месте моем об вас язык сломал. Я не стану. Скажу просто: генерал Барклай де Толли обещает нам бой за Смоленск. Надувал он нас многажды. Но на сей раз трудно будет, ибо его величество боя желает. Стало быть, сразимся. Вот вам арена для состязания, где бесстрашием весьма удобно благодарность родины заслужить. Выйдете из дела с честью и целыми - бог с вами. Тузите тогда друг друга чем угодно, хоть на кулачках. Но до боя - не сметь! Я, великий князь, брат царя вашего, запрещаю! Слово, Клингфер?

- Честное слово, ваше императорское высочество!

- Слово, Олферьев?

- Честное слово, ваше императорское высочество!

- Ну, это дело! Правильно, Дмитрий Дмитрич?

- Очень правильно, васе высоцество, - сказал Курута, - и Ликург луцсе не ресил бы!

- То-то! А покамест - арест с обоих снимаю. Возвратить господам офицерам шпаги!

Глава двадцатая

- Не министру судить меня. Целый свет и потомство - вот мои судьи! Живу для славы! А она - как солнце. Не любит, чтобы люди глядели на нее дерзкими глазами. Отсюда - сплетни. Слов нет, пакостное вышло дело с письмом. Но чего опасаться мне? Армия знает Багратиона, сплетням веры не даст. Мне то лишь и важно. Не тот честен, кто за честью гоняется, а тот, за кем она сама бежит. Нет, тезка! Очень министр благородством своим играет, да

меня этим не возьмешь. Не дворский я человек, - не двору служу, а России! Советы министровы пристали мне как корове седло. А мальчишку этого, Раевского, наказать не могу я. Скажу отцу, он его уймет. За что наказывать? Он патриот и худого не делал. Пусть министр за своими следит. Мне ж одно любопытно знать: каково он теперь, государев приказ о наступлении получив, завертится? Сколько случаев упустил! Но кто виноват! Хороший стратегик помнить обязан, что быстрый успех - лучшая экономия. Он же...

Третьего дня, вырвав приказ о прекращении ретирады, князь Петр Иванович внешне почти примирился с Барклаем. Иначе было невозможно. Не давать же людям повод думать, что единственной причиной раздора между главнокомандующими является местничество. Приходилось спрятать поглубже оскорбленное самолюбие и горечь обиды решением царя. Багратион так и сделал. Но от этих усилий над собой его неприязнь к Барклаю не уменьшилась. Наоборот! Сейчас он был доволен: судьба как бы мстила за него министру. Повеление императора о наступательных действиях бесконечно затрудняло Барклая, а Багратиону развязывало руки в его требованиях. Однако как мелок министр! В этих важнейших обстоятельствах продолжает он заниматься пустяками, вроде письма Батталья. И советы еще подает! Так бывает с осужденными на смерть. Ведут человека на казнь, а он затыкает уши ватой, чтобы не надуло в них ветром!

- Напрасно вы, князь Петр Иваныч, - проговорил Ермолов, - нападаете так на министра. В деле с письмом очень он благороден был. Да и вообще в нравственном смысле - высок. Но не он один деятель. Есть и другие, гнилью низости тронутые люди. Хорошо бы вам государю отписать...

Багратион с такой живостью повернулся в кресле, что оно затрещало.

- Писать государю? О чем? Не о сплетнях же этих! Я писал, что соединился с министром, что надобно одному быть начальником, а не двум. Ответа нет... То есть, попросту сказать опять получил я шнапс. О чем еще писать - не ведаю. Ежели прямо проситься, чтобы над обеими армиями командовать, подумает государь, что ищу из тщеславия. А ведь не из тщеславия ищу, - по Любви к России, потому что не любит ее Барклай, и нельзя полезнее, чем он, для неприятеля действовать! Эх! Нерешителен он и труслив, бестолков и медлителен - все худые качества. Министр-то он, может, и хороший по министерству, но генерал - дрянной. Поглядим, что теперь выкамаривать станет. Кабы и дальше позволили, привел бы в столицу гостя. Нет, я вам,

тезка, дружески скажу: лучше солдатом в суме воевать, нежели главнокомандующим при Барклае быть!

Ермолов молчал. Огонь и вода, соединяясь, образуют пар. Не то же ли и здесь происходит? Горяч этот пар, - того и гляди, обожжешься.

- Делайте, князь, как знаете, - промолвил он, - вам видней. Но накажите примерно молодого Раевского! Верное это для вас средство шпынянья разные от себя отвесть. Надо так!

Багратион хотел было снова заспорить, но в горницу вошел граф Сен-При. Красивое лицо его улыбалось. В движениях заметна была та особенная ловкость, которая бывает у людей только тогда, когда они сделают что-нибудь действительно нужное и так, что лучше и сделать нельзя. Лучистый взгляд голубых глаз начальника штаба, устремленный прямо на Багратиона, казалось, говорил: "Ну, оцени же наконец мою готовность быть тебе полезным! Отбрось пустые подозрения и оцени!.."

- Странная вышла сегодня история, - начал Сен-При, - и вот уже в руках моих рапорт начальника сводной гренадерской дивизии графа Михаилы Воронцова...

Он с торжеством положил бумагу перед Багратионом.

- Доносит граф, что прапорщик пятого егерского полка Александр Раевский, сын Николая Николаевича, ораторствуя в присутствии многих офицеров, о графе Воронцове так отозвался: англичанин, а если поскрести хорошо, то и татарин. И этим многих стоявших кругом офицеров в открытый смех привел.

- Ха-ха-ха! - весело рассмеялся и Ермолов. Сен-При пожал плечами.

- Я хотел бы занять веселости у вашего превосходительства, - сказал он, - ибо в происшествии этом мало вижу, смешного. Невозможно прапорщику над генералом куражиться. А коли случилось - поплатиться должен, дабы дисциплина ущерба не несла. Так я сужу.

Помолчав, он продолжал, обращаясь уже только к Багратиону:

- Представляя рапорт графа Воронцова на усмотрение вашего сиятельства, я, как шеф пятого егерского полка, где Раевский младшим офицером состоит, и свое присоединяю мнение: до выступления полка в поход прапорщику на полковой гауптвахте находиться, а затем, в продолжение трех переходов, идти за полковым ящиком. Последнее - для того, чтобы общее внимание господ офицеров на проступок и взыскание обращено было. Такому мнению моему прошу у вашего сиятельства полной апробации... - И Сен-При выжидающе прищурил глаза.

- Бесподобно, граф, - сказал Ермолов, - а главное, умно очень. Давно надо было Раевского на цугундер взять.

Он протянул Багратиону перо. Но князь Петр Иванович покачал головой.

- Дожили мы до того, что ум человеческий самой обыкновенной стал вещью. И куда чаще, чем иное что, встречается. Граф Михаила - ума палата. Да и Раевского сын, как видно, в профессоры метит. Граф Эммануил Францыч со всей Европы ума набрал. Все умны. И на вес золота остались дурни. А из них я первый. - Он взял перо и перечеркнул рапорт Воронцова крест-накрест. - Не могу апробовать. Может, и надо, а не могу. С графом Михайлой о сатисфакции сам столкуюсь. С Николаем Николаевичем - тоже, дабы мудреного своего выкормка отечески научил. И довольно! Больше о деле этом знать ничего не желаю! А вот что за мелочью этой нужнейшее забываем - худо. Тезка любезный, слезно прошу вас, ради бога, что-нибудь делайте. Ратников сгоняйте, - очень на разные послуги пригодны будут, ежели всех строевых в строй взять. В Калугу пишите, - там Милорадович много рекрут собрал. Приказывайте, чтобы сюда их сколь можно быстрее вел. В Москву графу Ростопчину пишите, - пусть там ополчение сбивает. От крестьян требуйте, чтобы знать давали, где неприятель. Делайте же! Нижайше прошу, делайте что-нибудь!

Давление обстоятельств было таково, что двадцать шестого июля Барклай созвал военный совет для обсуждения вопроса о немедленном наступлении. Сам Михаил Богданович в обсуждении этого вопроса нисколько не нуждался. Крайняя опасность наступательных операций была ему совершенно ясна. Но он хотел придать делу такой вид, при котором никто не мог бы сказать, что главнокомандующий не принимает в расчет мнений своих генералов. Мнения эти также были ему очень хорошо известны, - настолько хорошо, что он почти не слушал того, что говорили генералы. Барклай сидел молча, с бледным лицом и полузакрытыми глазами, боком к окну, за которым в широкой картине, слегка затемненной постепенно находившими на небо тучами, лежали город и Днепр. Яркий солнечный день медленно заволакивался печальной сумеречностью непогодливого вечера. В кабинет внесли свечи. Но так как было еще достаточно светло, огни их казались не настоящими и странным образом напоминали панихиду. Багратион приказал потушить свечи.

- В Поречье французов мало, - говорил Ермолов, - и в Велиже - тоже. В Сураже - один принц Евгений со своим корпусом. В Рудне - Мюрат с кавалерией, а пехоты нет. Даву к

Орше еле двигается. Бонапарт с гвардией своей все еще в Витебске. Войска французские на огромном пространстве разбросаны. Нападения нашего они ждать не могут. Чтобы соединиться для отпора, надобно им по меньшей мере трое суток. А дальние и вовсе не поспеют в дело. Мы же в двое суток посреди неприятеля быть можем. Трудно и желать для атаки более подходящего времени. По мнению моему, все решительно успеху нашему благоприятствует. Сто тридцать тысяч русских с любовью к отечеству в сердце, с жаждой мщения в в груди...

Сен-При вполголоса поддакнул:

- L'armee ne demande rien tant que de se trouver face a face aves ses ennemis{60}.

Командир шестого пехотного корпуса, низенький, простодушно-круглолицый и краснощекий генерал от инфантерии Дохтуров, зашевелился на стуле. Этот генерал и думал и говорил всегда неряшливо, кое-как.

- За себя поручусь... То есть не за себя - за войска свои. И за себя!.. Умрем! Чувства... Что ж о них? Надо в бой идти! Сакремент{61}!

Атаман Платов тоже был малоречив, - не хитрил, не икал, а сказал просто:

- Меня что спрашивать? Под Измаилом на совете Суворов спросил. Я бригадиром еще был, младший в чине находился. Потому первый отвечал: "Штурмовать!" Разве иное что ныне произнесу?

В отличие от всех подобных совещаний сегодняшний совет обещал быть единогласным. Споров не было, да и не могло быть. И Барклай не спорил. Только, ощупывая здоровой рукой ни с того ни с сего занывшую раненую, проговорил:

- Следовало бы несколько больше точных сведений о неприятеле иметь, чем передовые посты наши и разведчики дать могут...

Багратион вспыхнул. Черные дуги его бровей прыгнули кверху.

- Неужто для того, чтобы бить Даву, надобно сперва взять в плен Бонапарта? Никто ведь, окромя господина Бонапарта, не сможет сообщить нам всего, что желательно Михаиле Богданычу знать. А так как Бонапарт в плен не дастся, то неужто же так никогда и не обратимся мы против Даву?

Многие генералы рассмеялись. Особенно громок и откровенен был сиплый хохот цесаревича Константина Павловича.

Схватив со стола печатное расписание войск обеих армий, он принялся обнюхивать его, с ребяческой дерзостью подмигивая в

сторону министра.

- Наступать! - повелительно проговорил Багратион. - Наступать без колебаний! Осторожность! Нужна и она. На сих днях армия моя укомплектовалась семью батальонами. Потому предлагаю для наблюдения за дорогой из Орши к Смоленску отрядить к городу Красному двадцать седьмую пехотную дивизию генерала Неверовского. Правду сказать, дивизия вся из новобранцев и восемнадцатилетних прапорщиков составлена, но при надобности костьми ляжет, а с места не сойдет. Это - для осторожности. А для наступления...

В сутолоке бесконечных дел, среди суеты распоряжений и споров князю Петру Ивановичу некогда было поглубже заглянуть в себя. И сейчас, вспомнив об осторожности и предложив выдвинуть на левый берег Днепра дивизию Неверовского, он ограничивался этим. Пылкая решительность, которую так долго сдерживали обстоятельства, увлекала его мимо этого важного вопроса вперед, в атаку на Даву, а может быть, и на самого Наполеона. Раньше, ведя свою армию к Смоленску, один на один с напиравшими французскими корпусами, он действовал иначе. Тогда он ловко путал карты неприятеля и, ускользая, как змея, в конце концов вырвался из его лап без генерального боя. Тогда он был осторожнее. Теперь же, предлагая выставить для наблюдения за Оршанской дорогой дивизию Неверовского, он делал это, строго говоря, не столько потому, что считал необходимым, сколько для того, чтобы обезоружить Барклая в возможных возражениях. Но возражений не было, Багратион наклонился к уху цесаревича и шепнул острое словцо:

- Кажется, ваше высочество, главный враг разбит. Остается прикончить другого.

Константин Павлович снова громко и сипло захохотал. Если были среди присутствовавших на совете генералов такие, которые еще верили в полководческий талант Барклая, то его холодное и бездеятельное равнодушие к происходившему должно было убить в них остатки этой веры. Не говоря ни в пользу наступления, ни за дальнейшее уклонение от боя, не споря и не вмешиваясь в рассуждения генералов, Михаил Богданович глядел в окно. Днепр поблизости был еще светел, как ясный полдень, но выше города серел, как ненастный рассвет. Погода ломалась, дождь быстро надвигался оттуда, где так зловеще серел Днепр. Итак - наступление! Его неудача представлялась Барклаю почти несомненной. Но хуже всего было то, что даже успех движения вперед не мог бы дать совершенно ничего. Барклай был уверен, что Наполеон со своими силами обязательно предпримет обход Смоленска через Днепр, и именно там, откуда грозило сейчас

городу внезапное ненастье. Если Наполеон это сделает беда! Погиб Смоленск. А следом за ним - покинувшая его армия. Наступление самоубийство! Оставалось одно: делать вид, будто оно предпринимается. Барклай тихонько вздохнул и поднялся с кресла.

- Благодарю вас, мои господа! Единогласно решено наступление. Приказ о том не замедлит. Ныне в ночь обе армии имеют выступить из Смоленска на селение Рудню для генеральной встречи с неприятелем. Движение - тремя колоннами. Первая армия - две колонны. Вторая армия - колонна. Моя главная квартира завтра - в деревне Приказ-Выдра. Вам, князь Петр Иванович, рекомендую на предмет сей селение Катань...

По кабинету пронесся радостный гул. Лица генералов сияли. Цесаревич обнимал Багратиона. От волнения его губы дрожали. Один лишь Барклай сохранял свой всегдашний спокойный, почти равнодушный вид. Он медленно протянул руку к окну. Все головы повернулись туда же. Небо и воздух над городом приняли цвет мутной воды. Мелкий дождь дробно стучал в оконную раму. Ненастные сумерки окутали Смоленск.

- Господин генерал-квартирмейстер! Ночью дороги распустятся от дождя! Беретесь ли вы провести войска на Рудню?

Толю казалось, что он отлично понимал скрытый смысл действий Барклая. Любуясь удивительным присутствием духа в этом человеке и вытянувшись, он отвечал:

- Берусь провести в любую непогодь, ваше высокопревосходительство!

- Очень хорошо! Особливо благодарен я генералу от инфантерии князю Багратиону за весьма полезное предложение его выставить в наблюдательных целях на левом берегу Днепра двадцать седьмую пехотную дивизию. От себя добавлю: движение наше на Рудню продолжаться будет на три перехода. Коль скоро неприятель на пространстве этом не обнаружится и встречи не произойдет, тем и движение вперед прекратится.

"Вот где зарыта собака!" - подумал Толь Главнокомандующий холодно поклонился.

Глава двадцать первая

Первая армия наступала к Рудне двумя колоннами, а слева от нее шла Вторая, вдоль днепровского берега, на селение Катань, и по большой Пореченской дороге. С самого начала войны не было в войсках такого живого и бодрого духа, как в эту дождливую, туманную и слякотную ночь. Непроглядная тьма и пронзительный ветер, разносивший повсюду косые полосы холодной водяной россыпи, никого не смущали. Дождь хлестал, а

солдаты улыбались. Ветер выл, а они перебрасывались веселыми прибаутками. Войска действительно жаждали встречи с врагом и рвались в бой...

Двадцать седьмого июля, за один переход до Рудни, обе армии остановились. Дневка? Зачем? Чтобы дать французам день для соединения их сил? В главных квартирах водится немало злодеев. Что, если Наполеон узнает о предприятии? Странно, очень странно! Может быть, у генерала Барклая созрел какой-нибудь новый план наступательных действий? Но к чему новый план, когда покамест все благоприятствовало осуществлению старого? Только что получилось известие о том, что атаман Платов наголову разбил авангард Нея - шесть полков французской кавалерии под начальством генерала Себастиани. Случилось это у деревни Инково, Молево Болотогож. Платов гнал французов до Лешни, доскакал даже и до Рудни и видел, что она пуста. Появились пленные французы - один полковник, семь обер-офицеров и три сотни солдат. Пленные единогласно показывали, что французские начальники не знают о наступлении русских и не готовы к встрече. Дневка еще ничего не испортила. Однако она была вредна и опасна.

Получив приказание остановить наступление, Багратион пришел в бешенство и сейчас же начал отправлять к Барклаю ординарцев и адъютантов с письмами и записками. Что было в них - никто не знал. Но, наверно, Барклаю было очень не по себе, когда он читал их. Ответы главнокомандующего были странные. В селении Приказ-Выдра, где он остановился, плохая вода и дурные сообщения. Поэтому он переводит свою главную квартиру в деревню Мощинки, за восемнадцать верст от Смоленска по Пореченской дороге. Получены сведения о приближении громадных неприятельских сил. Они появились уже у Поречья, на правом фланге Первой армии, а также будто бы невдалеке от Катани, чуть ли не рядом со Второй армией.

- Что ж из этого? - спрашивали друг друга солдаты и офицеры. - Ведь Платов-то не побоялся... Ведь мы же идем бить французов, сколько ни есть их...

Появление французов не могло быть причиной остановки движения. Это был просто наудачу выбранный предлог. Таким предлогом могли бы служить и дождь и ветер, дувший в лицо. Барклай выбрал французов.

- Ахти, господи! Да каков же наш главнокомандующий! Это... это Фабий Медлитель, черт его съешь!

Словцо, сказанное на долгом и скучном биваке, вмиг облетело полки.

- Фабий Кунктатор... Барклай - Фабий Кунктатор...

Иначе Барклая теперь уже не называли. Немногие знали, что означает это имя, и даже - что это за имя. Но в чужих звуках его чуялось что-то оскорбительное и насмешливо-недоброе. И к Барклаю имя это прилагалось просто как бранное. По-прежнему оставалась одна только прямая надежда: Багратион. Да вспоминали еще и Кутузова. Что касается самого князя Петра Ивановича, в колебаниях и неопределенности Барклаевых действий он снова видел ненавистную ему черту: трусливую оглядку... Нет, это не просто осторожность, хуже! Целый день князь Петр метался по своему шалашу в тоске и смертельной досаде. Вся главная квартира Второй армии сбиралась любоваться его смелым гневом и сочувствовать пылкой ярости. Невозможно полагаться на Фабия! Нельзя доверять его нечленораздельным отпискам! У страха глаза велики. Да и не тот у Барклая глаз, что у Багратиона. И князь Петр Иванович решился выяснить, чего именно боится Барклай. А для этого приказал немедленно сформировать легкий отряд из двух батальонов Смоленского пехотного полка и нескольких эскадронов конницы и отправить его в ночной поиск за Катань...

Уже смеркалось, когда Багратион вышел проводить уходивший в экспедицию отряд. Дождь усиливался. Земля становилась все хлипче и вязче. Но люди глядели весело. У лошадей был сытый вид. Саквы, полные овса, тяжело покачивались у седел.

- Мундштучь! Садись! Глаза налево, по четыре направо заезжай, ма-арш! М-а-арш!

- С богом! - сказал Багратион. - Ночь спать не буду, други, вас поджидаючи!

До Катанского леса шли без предосторожностей. Живо раздавался легкий топот наскаканных коней, бойко звенел людской говор, позвякивали гусарские сабли и мерцали в темноте огоньки офицерских трубок. В лесу надо было быть осторожнее. Проводники, которые вели отряд, говорили, что вчера земляки их, ехавшие в Смоленск, видели по ту сторону засеки французов. В надежности проводников сомневаться не приходилось. Это были три крестьянина из деревни Росасны - три русака, честных, смышленых и смелых до отчаянности. Никакой шум не выдает так предательски ночное движение войск, как человеческий голос. Да что голос! Чириканье куличка слышно бывает по ночам за версту!

- Сабли под ляжки! - скомандовал подполковник Давыдов своим гусарам. Молчать, ребята, ни чичирк!

И стало в лесу тихо-тихо - сучок не треснет, листочек не прошелестит. Надо было иметь звериное ухо, чтобы услышать,

как кони пошевеливали удилами. Лес редел, и поляна открывалась за поляной - верный знак, что близка опушка.

Гусар Циома был смешлив от природы. Иной раз когда кругом и не было никого и смешного ничего отнюдь не происходило, вдруг вскакивал он с места и, силясь удержаться от хохота, начинал хрипеть, шипеть, как старые стенные часы перед боем, плеваться и так громко кашлять, что по соседству вздрагивали и люди и лошади.

- А ты ж, Циома, забув, я колысь давав тоби хлиба, - склонясь с седла, прошептал товарищ-гусар, - а ты теперь дай мени трошки сала.

Эта невинная шутка чуть не опрокинула веселого гиганта наземь. Циома прыснул, зафыркал, и громовое эхо его хохота раскатилось по всему лесу, дробясь и повторяясь в тысяче подголосков. Давыдов случился близко.

- Лови, бестия!

Над Циомой сверкнули ножны подполковничьей сабли. Хрясть! Удар пришелся по шее. Да какой удар! Будь гусар под каплей, не жаль бы. А то ведь так, ни за что. Но дело оказалось непоправимым. На опушке взыграла тревога. Заревел горн. И через минуту послышался тяжелый ход конницы. Впереди скакали офицеры, за ними - трубачи. Эскадрон французских кирасир в белых шинелях и мутно поблескивавших касках вырос перед гусарами Давыдова словно из-под земли. Конь-неук встал под Циомой на дыбы. Смешливый великан выхватил саблю. Кругом него уже звенели клинки и гремели пистолетные выстрелы. Рубились лихо. И коли сек гусар по черепу, так до самых бровей, по плечу - так до самого пояса. Давыдов чертом вертелся в этом аду.

Казаки и пехота выходили к опушке с другой стороны. Среди них не было Циомы. И потому им удалось подойти к французскому биваку без тревоги и насесть на него как снег на голову. Пока гусары справлялись с кирасирами, пехота крушила французский обоз, а казаки рыскали по лагерю, подбирая трусливых. Что это был за лагерь и чей обоз? Выяснилось это самым необыкновенным образом. Донской урядник Кузьма Ворожейкин и рядовой Смоленского пехотного полка Агей Сватиков никогда до сих пор не встречали друг друга. Судьба впервые столкнула их в эту ночь под огромной сосной, огороженной плетневым забором, у большой роскошной коляски с поднятым верхом. И случилось так, что одновременно с двух разных сторон заглянули они в кузов этой коляски. То, что они увидели там, было в высшей степени интересно и важно. В экипаже прятался французский офицер с белым крестиком

Почетного легиона на груди. На лице его явственно обозначались отчаяние и жестокий страх. Дрожащая рука сжимала огромный пистолет. Урядник и солдат, не раздумывая, полезли на француза. Но кавалер Почетного легиона, несмотря на свою очевидную застенчивость, был силен и ловок. Сперва грохнул выстрел, а затем тяжелая, налитая свинцом рукоятка еще дымившегося пистолета просвистела мимо головы Ворожейкина. Сватиков охнул и откинулся навзничь. Но Кузьма был цел и крепко держал француза обеими руками за талию. В коляске судорожно бились и катались два тела. Из длинной бороды урядника летели клочья седо-рыжих волос. Острые зубы впились в его лицо, и липкие струйки крови застревали в усах. Но он не чувствовал боли, а только хрипел, ломая своего врага:

- Вот тебе, пащенок! Давно же я до тебя добирался!

Давыдов еще издали заметил танцевавшую на месте коляску и подскакал, пораженный этим явлением. Судьба Пьон де Комба уже решилась, так как Ворожейкин сидел на нем верхом и ловко опутывал арканом. Но капитан все-таки делал кое-какие усилия, чтобы стряхнуть с себя волосатого наездника.

- Rendez vous! - сказал ему Давыдов. - Vous etes notre prisonnier{62}!

- Grace! Pardon! - прохрипел пленник. Теперь он стоял, трясущийся и бледный, с арканом на шее и руках, а казаки вязали ему ноги.

- Monsieur, monsieur! - говорил он Давыдову. - On m'a die mon sabre d'honneur! De grace!{63}

Ворожейкин вытаскивал из коляски какие-то портфели и шкатулки с гербами. Три росаснинских крестьянина уносили окровавленного Сватикова.

Утро следующего дня было солнечное, светлое и радостное. Спрятавшиеся в траве птицы наполняли воздух своими звонкими голосами, и казалось, что пели не они, а поля. Возле палатки генерала Васильчикова еще не потух костер. Десятка полтора кавалерийских офицеров собралось здесь вокруг Давыдова, всего час назад вернувшегося из экспедиции под Катанью. Подполковник не успел еще умыться и привести себя в порядок. Усатое лицо его было так закопчено пороховым дымом, что казалось чумазым. Офицеры глядели на него с завистью.

- Всю жизнь торчу среди битв, как казачья пика, - весело и бойко рассказывал он о происшествиях минувшей ночи, - а дела такого не видывал. Лесом шли - дров не видали. А как наскочили на обоз маршальской квартиры - у меня в пятках похолодело. Бог мой, что поднялось! И смутно, и черно, и курно!.. Но... попробовала-таки сабля живого мяса!..

Все слушали затаив дыхание.

- А как же ты, любезный Денис, герцогскую коляску полонил? - спросил кто-то. Давыдов расхохотался.

- Не я, - казак из конвойных Ларивона Васильича, именем Ворожейкин.

Оглянувшись и завидев невдалеке Кузьму, он крикнул:

- Эй, брат, подавай сюда!

Офицеры набросились на урядника: расскажи да расскажи, как полонил коляску маршала Жюно. Ворожейкин никогда не попадал в подобные переделки. И лестно было ему этакое внимание, и смущен он был немало. Рассказать! Да ведь не дома это у себя, за липовым столом, в добром кругу станичных шабров и сродичей замешать на пенистом цимлянском быль с небылью... Эх! Долго повертывался он во все стороны, недоуменно разводя руками, и наконец вымолвил с явственной тоской в маленьких острых глазках и голосе:

- Да что ж, господа, ваши высокие благородия! Чать, я не архитектур... Сделать - сделаю. А рассказать не могу я!

Слова эти были встречены взрывом дружного хохота. Урядника хлопали по плечам, совали ему в руки рубли и ассигнации. Неожиданный успех ободрил Кузьму.

- Наше дело такое, - пустился он толковать, - как-нибудь сбоку урвать, а не то, так и стречка дать. С лету падаем, словно ястреба на курей. Зачем туда с ножом, где топор положен? Наше дело такое. Покамест господа гусары секли-резали, мы по задам сквозили. Вот и вижу я: лежит он, будто в люлечке, голову в норку, а сапожки напоказ...

Раздался новый взрыв хохота. И весь рассказ Ворожейкина уже до самого конца сопровождался веселым смехом.

- Но важнее всего, - сказал Давыдов, - что в чемоданах и шкатулках, взятых из коляски Жюно, нужные сыскались бумаги. Сказывал мне генерал, что князь Петр Иваныч сразу за них принялся. А среди бумаг - пук прокламаций престранных.

Он вытащил из ташки лист и развернул его.

- Я прихватил одну. Диво!

- Т-сс!

- "Немецким быкам, - читал Давыдов. - Быки! Вы маршируете в ногу с солдатами великой армии. Не отставайте же! Счастие французского оружия зависит от вас. Достаточно ли вы жирны, чтобы стать героями огненной силы и мужества? Вы - первые немецкие быки, вступающие в Россию. За саксонскими быками следуют баварские, вюртембергские, вестфальские, а за этими итальянские, венгерские и другие. Все они лишь ждут сигнала Великого Скотобоя. Бодрствуйте, быки! Спешите! Скоро

весь рогатый скот Европы будет завидовать вашим лаврам. Правда, вы не эйлауские и не фридландские быки, но все-таки крови и мяса в вас еще достаточно. Быки! Вы умрете славною смертью! Ваши кожи, переделанные на сапоги и башмаки, еще много послужат людям. Ваши потомки, вспоминая вас, еще долго будут поднимать гордый рев. Кто может отказать вам в глубоком уважении? Генералиссимус Дикий Бык".

Действительно, это было что-то до крайности странное.

- Одно думать можно: хоть и взяли французы себе немцев в союзники, но потешаются над ними жестоко!

Прокламация переходила из рук в руки. Давыдов задумался. Он стоял, опершись о бок чьей-то лошади, и, ударяя пальцами по колечку шпоры всадника, с упорным любопытством следил за тем, как от этих ударов оно шибче вертится и звончее поет. Но мысли его были далеки от того, на что глядел он. Никогда раньше не случалось ему так завлекаться мечтой, как нынче, после славного ночного поиска. "Чего нельзя совершить с двумя сотнями Ворожейкиных, размышлял он, - ежели сновать с ними без перерыву между транспортами и обозами, рекрутскими депо и отсталыми частями противника? Двигаются они по местам, отлично нам известным. Тут-то и вцепиться бы в них, как репейник в бурку. Но пехота не поспевает, конница не всегда выдерживает отпор, артиллерия бьет по воробьям. А все потому, что нужна тут не большая сила, а быстрота малой силы. Каждый набег в отдельности не великим будет сражением, но от множества таких стычек спутаются все французские карты, и останется французская армия без сообщения между корпусами и без провианта. А сведений необходимейших сколько добывалось бы! А утомление врага какое! Ах, надобно к войне регулярной приложить войну... партизанскую!" Давыдов так далеко занесся мыслями, что и не заметил, как возвращавшийся от главнокомандующего генерал Васильчиков подошел к офицерскому кругу. Сюртук его был распахнут. Молодецкая грудь вольно дышала под снежно-белым пикейным жилетом. Глаза сияли. Вишневый румянец горел на круглых щеках. И весь барственный вид его говорил о том, что он доволен. Багратион только что горячо благодарил его за ночной поиск. Правда, добытые сведения подтверждали основательность опасений генерала Барклая. Но уж очень хорошо было самое дело! Васильчиков потянул Давыдова за ментик.

- Полно грезить, любезный подполковник! Не дельное задумали вы. Скажу откровенно: не решился я даже, по просьбе вашей, князю о том доложить. Партизанство! Ей-же-ей, пустое! Вы - гусар, а казачьим напитаны духом. То ли дело стоять в

чистом поле грудью, в божий день, хоть под ядрами и пулями, да в атаку ходить... А это что ж?

И он повернулся, чтобы идти к себе в палатку, улыбающийся, горделиво-прямой. Назовите лунатика по имени, и он упадет. Подобное произошло и с Давыдовым. Будто вдруг сорвался он с огромной высоты блестящих своих замыслов в бедную, будничную сферу серых генеральских слов. "Глупец!" - подумал он о Васильчикове и проговорил громко:

- Пожалуй, пусть и не докладывает князю... Но знает меня князь еще с седьмого года и по Турции. Сам дойду!

"Государь!

Ваше величество, вероятно, уже имеете донесение о небольшом, но славном деле, происшедшем на днях у селения Катани. Очень забавны обстоятельства, при которых герцог д'Абрантес потерял свою коляску и вместе с ней важнейшие бумаги. Не сомневаюсь, что одна из этих бумаг остановила на себе особенное внимание вашего величества. "Воззвание к немецким быкам" - документ большого политического значения, так как раскрывает сущность отношений, существующих между союзниками. Этот же документ сыграл роль лакмусовой бумажки и для разъяснения моих отношений с князем Багратионом. Я уже не раз утруждал ваше величество описанием этих отношений, - вам угодно было знать о них возможно обстоятельнее. Благословенная судьба приблизила мою скромную особу к вам, государь, настолько же, насколько она отдалила от вас князя Багратиона. Говоря о нем в моих письмах, я всегда стремился к самой полной лояльности. Едва ли упало хоть раз с пера моего прямое слово осуждения. И теперь я не могу и не хочу осуждать его. Но благоволите, ваше величество, прослушать историю, которую я расскажу вам.

Вместе с коляской Жюно наши казаки и гусары захватили одного капитана французской штабной службы. Раньше он состоял в корпусе маршала Даву. Но потом, по неудовольствиям с ним, перешел к Жюно. Фамилия этого офицера виконт Пьон де Комб. Ко мне привели на допрос высокого молодого человека совершенно приличной наружности. Он стоял передо мной, прислонившись к столу, заложив руки в карманы и не снимая с головы огромной медвежьей шапки. У него был вид повелителя. Это возмутило меня, и я крикнул:

- Долой шапку!

Он послушно снял ее, поставил на стол и от этого сделался ниже ростом, сразу утратив свое фальшивое и вызывающее величие. Превращение в простого смертного, в жалкого пленника, каким он и был в действительности, только подчеркнуло

благородные особенности его лица и фигуры.

- Простите, ради бога, - сказал он при этом, - Бонапарт ввел в закон и обычай для военных не снимать шапок нигде, даже во дворцах и храмах.

Он назвал узурпатора по фамилии. Меня это заинтересовало.

- Как? - спросил я. - Почему вы отказываете вашему императору в титуле?

- О граф! - с горячей готовностью отвечал он. - C'est dieu, qui m'y a fait penser{64}. Я счастлив, что вы обратили на это внимание. Император! Нет человека в мире более ненавистного для меня, чем он. Животное всегда, но часто еще и зверь, - c'est lui{65} У меня не было возможности вредить ему. Оставалось только насмехаться. Mais le ridicule n'avait jamais tue personne, meme les gens qui le meritaient le plus{66}.

Когда он назвал свое имя, я понял, с кем имею дело. Его фамилия в родстве с маркизами де Жюмильяк. Это одна из очень хороших фамилий Франции, и я помню это с детства.

- Pourquoi geverz-vous des miserables comme ce Napoleon?{67} - спросил я.

Тут он со слезами на глазах рассказал мне свою биографию, довольно обычную во Франции для дворян его возраста. Пьон де Комб окончил семинарию и приготовлялся к духовному званию, так как вся семья его и он сам были глубоко религиозны. Вихрь революции разрушил эти планы. Юноша очутился в революционной армии. И вот он - капитан и кавалер Почетного легиона. Это не мешает ему, однако, оставаться самым живым и деятельным роялистом. Даже здесь, в России, он не упускал ни одного случая, чтобы приложить к делу свои подлинные убеждения. Он клятвенно заверил меня, что "Воззвание к немецким быкам" написано им. Несчастный виконт тронул мое сердце, давно привыкшее ко многим видам человеческих бедствий. Уже отсюда я вижу, что и ваше величество также склонны сочувственно отнестись к бедному малому, который так долго бродил, спотыкаясь, в сумерках затмившейся и потускневшей жизни. Я обещал ему целость и заботу. Как он был мне благодарен!

На следующий день князь Багратион позвал меня к себе. Речь зашла о виконте. С первых же слов князя я догадался: именно то, что заставило меня оказать этому офицеру сочувствие и снисхождение, восстанавливало против него князя.

- Будучи роялистом, он служит Наполеону? Извините, граф, но, коли так, он - негодяй! Я попытался разъяснить дело.

- Что? Будучи офицером, он пишет возмутительные письма к солдатам? Надо расстрелять этого гнусного изменника, чтобы он

не поганил русскую землю!

Выкрикивая эти жестокие и несправедливые слова, князь бросал на меня такие взгляды, что моя голова кружилась от ощущения бездонной глубины, лежащей между нами. Pouvais je Soupgonner que fetroitesse inclairvoyante de cet homme pouvait aller jusque la{68}! Если бы совесть моя не была абсолютно чиста перед вашим величеством и моей новой родиной, я впал бы в отчаяние.

Сегодня на рассвете капитан Пьон де Комб был расстрелян.

Когда-то ваше величество выражали желание ознакомиться с дневником, который я веду с давних пор. Вот страница моего дневника: она, как мне кажется, заслуживает того, чтобы занять ваше внимание странными конфликтами, возникающими между вашими верными слугами. И князь Багратион, и генерал Барклай, и я - мы все готовы умереть за Россию по первому знаку нашего государя. Но где же все-таки согласие чувств и мыслей между нами, если говорить не о смерти, а о жизни и деятельности? Не скрою от вашего величества, что ответа на это послание я буду ожидать с живейшим нетерпением. Сравниться с ним может только безграничная преданность, которою одушевлен вашего императорского величества генерал-адъютант граф Эммануил де Сен-При. 28 июля 1912 года. Главная квартира 2-й армии, на марше в сел. Приказ-Выдра".

Наполеон решил вывернуть наизнанку весь ход своего наступления на Россию. Суть маневра заключалась в том, чтобы немедленно оставить Витебск, форсированным маршем выйти с главными силами к селениям Ро-сасне и Хомину, неожиданно перейти там Днепр, а после этого захватить в тылу у Барклая Смоленск.

И французские войска двинулись от Двины к Днепру. Шли они по таким грязным и топким дорогам, что не только лошади, но и люди тащили на себе артиллерию и обозы. Происходившая от этого задержка очень тревожила Наполеона. Но двадцать седьмого июля Платов разбил авангард маршала Нея у Молева Болота. Дело это заставило Наполеона предположить, что Барклай изменил свою тактику и сам ищет генерального сражения. Двое суток император ждал атаки русских. Однако ее не было. Тогда он опять двинул все свои войска к Днепру. У Росасны и Хомина собралось около двухсот тысяч человек. Первого августа Наполеон выехал из Витебска. Он почти не спал в дороге, и карета его мчалась вперед, как ураган.

Итак, случилось то самое, чего опасался Барклай, когда делал вид, что соглашается, по требованию своих генералов, на наступление. Смоленск был бы потерян в эти же первые дни августа, если бы не твердое решение русского

главнокомандующего не удаляться от города больше, чем на три перехода. Только это и могло спасти Смоленск.

Росасна торчала на берегу Днепра за глухим лесом и болотами. Рядом с деревней лежал набоку гнилой, почерневший от времени деревянный господский дом без окон, дверей и двора, прямо посреди крестьянских огородов. Все было пусто и в доме и в деревне. Не лаяли собаки, не кричали петухи, не мычали телки и коровы, - будто вымерла Росасна. Зато за несколько сот саженей от околицы, на реке, кипела жизнь. Оба берега были густо покрыты французскими войсками. Горы запасных понтонов, приготовленных для переправы бочек и веревочных бухт, громоздились повсюду. Пешие части уже шагали по мостам. Артиллерию спускали к реке на канатах. Конница переправлялась вплавь. Наполеон спешил. Он стоял возле своей маленькой кареты, сверкавшей лаком и тонкой позолотой, с подзорной трубой у глаз. Ветер развевал вокруг его колен длинные полы шинели. Кругом толпилось множество свитских генералов и офицеров в расшитых мундирах. Льстивый шепот легкими волнами перебегал по этой толпе. Все шло прекрасно.

Однако это лишь казалось так, будто деревня Росасна совсем опустела. В трехоконной избе, крайней с той стороны, где происходила переправа французских войск, были люди. В углу за печью сидел слепой старик и плел из ивовых прутьев корзину. Белые пятна его незрячих глаз, да и все худое длиннобородое лицо были обращены кверху. Узловатые черные пальцы быстро и точно насаживали на клетку прут к пруту. Изредка он поправлял на лбу ремешок, которым были стянуты кругом головы его желто-серые волосы, и вздыхал. Чуткое ухо его прислушивалось к глухому бормотанью солдата, лежавшего на скамье под шинелью.

- Думал я... думал, - бормотал солдат, - что им, талагаям, на походе?.. Знай сидят себе в седлах да едут... Ох, выше, ребятушки, невод-то волочите, - вишь, рыбина мимо хлещет. Во-во... Едут, а тут тащи на себе ранец... Что-й, думаю, за дело такое? АН, сом! Большуща-ай! На неделю теперь, Фросьюшка, еды нам будет! Слава содетелю! А только вижу я - будь она проклята и гусарская служба! Два ранца соглашусь нести.

Солдат бредил. Под окном раздался осторожный голос:

- Эх, слухай! Кто там у вас... дома-та-т?

- Ходи, ходи, Ананьич, - ответил старик. - Сейчас зятек придет и друзей приведет...

В избу вошел местный староста, рябой, темнолицый мужик с широкой бородой. Перекрестившись на образа, он внимательно поглядел в сторону солдата.

- Плох?

- У последних минут, Ананьич! Ноне к вечерням отойдет. Уж я и шептать пытал, и молитвы пел - не берет. Да где ж? У его любезного, гноище в грудях скопилось, - рази вынешь?

- Вот те и Агей Захарыч Сватиков! - вымолвил староста. - Боевой землячок наш! Был - и не станет!

В сенцах застучали сапоги, зашуршали лапти. Дверь скрипнула и впустила в горницу сразу троих мужиков. Это были те самые крестьяне, которые и в Смоленск поспели к приходу туда русских армий, и недавно провожали за Катань экспедиционный отряд. Один из них, тот, что носил белые порты, был хозяином избы.

- Ну и дела! - выговорил он, садясь на скамью возле раненого Сватикова. - Дела-а-а! Надо быть, ноне же и переправится... Больно спешит!

- Главная причина - куда их теперича леший кинет? - спросила поярковая шляпа.

Сватиков уже не бредил. Он лежал совершенно неподвижно, только пальцы его еле заметными движениями собирали в мелкие складочки край покрывавшей его шинели. При последних словах крестьянина в шляпе он захрипел тяжело и трудно. Глаза его открылись, и пристальный, как будто удивленный взгляд обошел всех находившихся в избе. В горле Сватикова булькало и свистело. Голова поднялась с подушки.

- Агей Захарыч! Мила-ай! Уж ты... лежи уж. Христа для!

Слепой старик хоть и не видел, а знал, что делалось в избе.

- Не тревожьте его, детушки, - сказал он. - Сейчас он зд всю жизнь главное молвит! Подошло ему время...

Сватиков действительно хотел говорить. Несколько секунд это ему не удавалось: тонкие губы, покрытые сухой белой коркой, шевелились туго и беззвучно. От напряжения серые глаза сделались огромными и засветились тусклым, безжизненным огнем. Руки и ноги двигались в мучительных усилиях, помогая непослушному языку.

- Где... хранцузы-то? Вопрос был глух и невнятен.

- Издеся! - хором отвечали мужики. - Через Днепр прутся. С самой ночи... краю нет!

Сватиков вздрогнул. Бледное лицо его с острым, как у покойника, носом оживилось и, кажется, даже порозовело. Голос внезапно окреп.

- Соседушки! - уже значительно явственнее проговорил он. - Родимые! Ведь это они на Смоленск торопятся... его брать хотят, в обход, стало быть... с заду! А как несведом о том князь наш Петр Иваныч? Ну и... сгиб Смоленск! А-а-а...

На этом оборвалась речь Сватикова. Он хотел еще сказать

что-то. Но вместо слов только тянул эту хриплую, страшную, полную невыразимого отчаяния ноту:

- А-а-а-а!..

Мужики замерли, молча глядя на солдата. Однако испуг и изумление их продолжались недолго. Первым вскочил и засуетился хозяин избы.

- Батюшка ты наш, Агей Захарыч! Приставил ты нам голову к плечам! Ведь и впрямь на Смоленск они гонятся... Через Красный - на Смоленск! Что ж теперь? А? Видать, и нам гнать надоть! Князя повестить - главное дело...

- И то! - подтвердил другой. - Расее, чать, все служим!

- Запрягай, хозяин! - крикнул третий. - Время-то не повторное. Скачем!

Мужики, крестясь и отыскивая рукавицы, кинулись к порогу. Староста хотел было остеречь:

- Не вдруг на гору-то! С поноровочкой!

Но его никто не слушал. И в избе опять остались только слепой старик, Ананьич и Сватиков. Агей лежал, запрокинув голову. На губах его теперь пузырилась бело-розовая пена. Он как-то странно и страшно дышал - не грудью, а и животом и ногами - весь. Пальцы судорожно мяли шинель. Старик подошел к нему, наклонился и, прислушиваясь, спросил:

- Кончаешься, раб божий Агей?

Сватиков не ответил. Да он уже и не дышал.

Уже четверо суток обе русские армии делали трудные и опасные марши. Когда Барклай, оставив движение к Рудне, потянулся двадцать седьмого июля в сторону от неприятеля, правей его, и увел свою армию в село Мощинки, Багратион перешел в Приказ-Выдру и, выставив передовые посты через Лешню и Катань до Днепра, расположился на том самом месте, где до того стоял Барклай. Здесь действительно была дурная вода. Но еще хуже было то, что Михаил Богданович, по-видимому, вовсе отказался атаковать французов в Рудне. Багратион слал к нему записку за запиской, резкие и колкие. Ответы приходили холодные, лаконичные и невразумительные.

- Правый фланг... Поречье... Сколько угодно всего, лишь бы не драться, - возмущался князь Петр Иванович. - Повесить его, Алеша, мало!

Надо было протестовать против такого положения вещей. Требовалась открытая демонстрация. Багратион повел свою армию к Смоленску. Туда же отступал и Барклай. Казалось бы, все кончено. Но тридцать первого июля Багратион получил новый приказ - опять идти к Рудне. Ермолов сообщал дискретно, что главнокомандующий успокоился за свой правый фланг и потому

хочет действовать. Первая армия выступила, дошла до селения Шеломца и здесь остановилась. Второго августа и Вторая армия осела в деревне Надве. Теперь Багратион бесповоротно убедился в полной никчемности всех планов Барклая. Да, пожалуй, никаких планов уже и быть не могло. Французы шевелились везде. Движения их корпусов были так рассчитаны, что для общего соединения всех сил почти не требовалось времени. Итак, четыре бесценных дня были потеряны самым преступным образом. Скоро Барклай и шагу не сможет ступить без того, чтобы не быть отрезанным от Смоленска. Одному Багратиону, конечно, не под силу защитить город. Простой диверсией к Дорогобужу Наполеон имел возможность вбить мертвый клин между русскими армиями. И в этих-то обстоятельствах обе они, истомленные бесцельными маршами, стояли на месте. Отдельные отряды производили поиски и нигде не открывали неприятеля. А Михаил Богданович писал Багратиону, что наступление вовсе не отменено.

Князь Петр Иванович от досады ничего не понимал в совершавшемся. Да и никто ничего не понимал. Офицеры кричали:

- Черт знает что делается! Бродим туда и сюда, и сами не знаем зачем.

Никогда еще с таким единодушием и так ожесточенно не бранили Барклая. И никогда так дружно не стояли горой за Багратиона, как теперь. Вдруг Михаил Богданович приехал в лагерь Второй армии.

ˆГлавная квартира Второй армии разместилась в самой Надве, а войска вокруг. Солдаты живо нарубили веток и настроили шалашей. Высокий берег Днепра, занятый вдоль дороги из Рудни в Смоленск обширным лагерем, потонул в свежей зелени. Отсюда расстилались золотые просторы взволнованных легким ветром полей. По просторам этим бежали проселки. Солнце закатывалось, и дали синели. Но ружья, составленные в козлы, еще сверкали по всему лагерю. Пехотные солдаты таскали откуда-то солому и прутья. То здесь, то там всплескивались песни, гремела музыка и подыгрывали рожки. Горьковатый дымок бивака носился в воздухе. Как фейерверки, полыхали костры, сложенные из поломанных колес, - какое дерево суше и горит с таким молодецким треском, как это испытанное старье!

Везде огни, говор... Но вот взвилась под облака ракета. Зоревая труба издалека подала свой томный голос, призывая к покою. Вереницы вороных и рыжих коней весело шли с водопоя. Другие стояли у плетней и ржали, приветственно помахивая

головами. Барабаны забили "на молитву". Задумчивый свет полного месяца пролился на землю...

Барклай приехал из Рудни. Князь Петр Иванович встретил его обильным ужином в большом, укрытом листвой шалаше. Гостеприимство было у Багратиона в крови. Но он не спал уже несколько ночей. Лицо его пожелтело, он ежился от озноба и с трудом унимал дрожь в челюстях. После ужина генералы вышли на лужайку, окруженную цепью часовых, под открытое небо, к костру. Барклай стал в тени шалаша, заложив за спину здоровую руку, и замер в неподвижности. Сен-При устроился на толстом обрубке дерева и принялся палочкой вычерчивать на земле какие-то гербы и геральдические знаки. Толь с независимым видом прилег у огня и грелся, разгребая шпагой уголья. Багратион быстро ходил по лужайке взад и вперед.

- Что вы наделали, ваше высокопревосходительство! - говорил он, бросая на Барклая откровенно гневные взгляды. - Подумать страх! Был Наполеон в Витебске и о наступлении нашем в мыслях не имел; войска свои на двести пятьдесят верст растянул. Принц Евгений шел на Поречье, Даву только еще из Могилева выбирался. Что против нас оставалось? Ней и двадцать тысяч Мюратовых в Рудне. Их-то и надо было истребить. Да больше того: мы бы отрезали Наполеона и от прочих корпусов и били бы их поодиночке. И что ж? Вместо того принялись за маневры - бегать, на месте топтаться. Может, по теории в том и есть смысл, а по практике - не вижу. И что такое, ваше высокопревосходительство, маневры на войне, как не... глупость? Свели все на нет... Ах, горе!

- Мы дали неприятелю время соединить свои силы, - сказал Сен-При, - но еще не все потеряно. За Рудней лишь десять полков кавалерийских, десять пушек и один полк пехоты. Одно из трех: или французы хотят нас атаковать с той стороны, где не ждем мы их; или тянут, чтобы полностью для атаки собраться; или держать нас намерены здесь против себя, покамест не управятся с Третьей армией Тормасова. Во всех случаях необходимо нам занимать Оршу и Витебск. Если же не сделаем того, Смоленск погиб и придется нам прямо на Москву идти...

- Запоздали ваши советы, граф, - резко отозвался Багратион, - а что не в пору, то худо. Он остановился перед Барклаем.

- Что же, ваше высокопревосходительство? Дождусь я от вас слова прямого и ясного? Или...

Глаза его так выразительно сверкнули, что несколько встревоженный Толь приподнялся на локте, а Сен-При вскочил с обрубка и вовсе исчез. Лысой голове Барклая было холодно. Он надел шляпу.

- Французские корпуса, против которых вашему сиятельству и мне предстояло сражаться, - раздался его тихий голос, - сильнее нас. Успех был сомнителен. Сверх того, и он не избавил бы нас от противника. А неудача повлекла бы за собой самые большие бедствия...

Багратион сорвал с себя шарф и швырнул его в догоравший костер. Толь с натянутой улыбкой подбросил прутьев в огонь. Наступило долгое молчание.

- Господа! - вдруг раздался из-за шалаша громкий окрик Сен-При. Кажется, все решилось!

Он с мальчишеской резвостью бежал к лужайке и взволнованно размахивал руками, от чего золотой генерал-адъютантский аксельбант развевался за его правым плечом.

- J'etais tout a 1'heure temoin des sentiments de nos excellenls paysans... Et ils font preuve dans tout ceci d'une abnegation qui est veritablement admirable{69}...

- Да говорите же по-русски, граф! - в бешенстве крикнул Багратион. Разве не знаете вы, что не понимаю я болтовни этой...

Сен-При покраснел и с быстрого бега перешел на шаг. Подойдя, он проговорил сухо и вежливо:

- Три крестьянина из деревни Росасна прискакали сюда, чтобы сделать важные сообщения вашему сиятельству. Я сейчас выслушал их. Наполеон - в Росасне, войска его на левой стороне Днепра и идут на Красный и Смоленск. Кроме того, только что прибыл курьер от генерала Неверовского. Вот пакет с донесением...

Толь пошарил круг себя, - сучьев больше не было. Тогда он улыбнулся еще двусмысленнее, чем давеча, медленно развязал на себе шарф и бросил его на уголья. Огонь вспыхнул. Багратион развернул рапорт Неверовского и присел на корточки у костра. Ярко освещенное лицо его с поразительной ясностью отражало смену возникавших в нем настроений. Неверовский сообщал, что его шеститысячная дивизия атакована кавалерией генералов Груши, Нансути и Монбрена, за которой следует корпус Нея. Бой идет на Смоленской дороге, обсаженной деревьями в четыре ряда. Это пока спасает Неверовского, так как атакующая его конница вынуждена скакать по обочинам дороги, спотыкаясь на рытвинах. Но она уже сорок раз ходила в атаку, и ее много, очень много... Дивизия потеряла полторы тысячи людей и пушки... Она еще огрызается, как лев, который смертельно ранен... Однако...

Глухой гул канонады долетел с левого берега Днепра, оттуда, где шел сейчас бой. Багратион поднял голову, прислушиваясь. Раскаты орудийного грома усиливались с каждым мгновением.

- Это именно то, - медленно проговорил Барклай, - что я

предвидел. Если бы мы ушли от Смоленска дальше, спасти Неверовского было бы нельзя.

Багратион посмотрел на него с ненавистью.

- Неверовского выручу я. Мы все потеряли, кроме Смоленска. Кто будет спасать город?

- Надо подумать, следует ли спасать его. Маневр Наполеона у Росасны еще не конец его предприимчивости. Он может повторить этот маневр, перейдя Днепр в десяти верстах выше Смоленска. И тогда окажется в тылу у обеих армий. Надо ли рисковать?

- Надо! Необходимо! Эй, адъютантов ко мне!

Толь уже не лежал, а стоял возле костра. Кажется, он ничего не подкладывал в него больше, а костер горел ярко. Багратион наскоро писал карандашом приказания. Седьмой корпус генерала Раевского шел позади Второй армии и потому был ближе к Смоленску, а следовательно и к Неверовскому, чем она.

- Объясни, Алеша, Николаю Николаевичу все, - говорил Багратион Олферьеву. - Останови седьмой корпус и назад поверни. Пусть идет... Нет, пускай опрометью бежит через Смоленск на выручку Неверовского. Это - первое. А второе - так ему скажи: города без боя не отдадим. Я клялся в том смолянам бедным и исполню. Армия следом идет...

И действительно, над лагерем уже вились сигнальные ракеты, и в разных концах его барабаны били тревогу. За Днепром громыхало, как в грозу.

Войска Второй армии шли к Смоленску всю ночь. Олферьев обгонял их, меняя уставших коней в кавалерийских частях. Утро встало под серым небом, тусклое и какое-то мертвое. Но земля была зелена, как свежевыкрашенный зарядный ящик. Олферьев смотрел на шагавшие по дороге и полю длинные шеренги пехоты и думал: "Как велик наш солдат! Он несет у себя за спиной, в своем бедном ранце, все нужды, желания, потребности и даже фантазии, весь свой человеческий эгоизм, да еще и десять дней существования впереди... А уж там - будь что будет! Величие этих людей в том, что будущее каждого из них заключено в солдатском ранце, и простирается это будущее лишь до первого сигнала тревоги..." От этих мыслей сердце Олферьева радостно и гордо билось... "Я свой среди них! Какое счастье! Но - свой ли? А Муратов?" Он мчался мимо крупной, размашистой рысью, и пыль из-под копыт его коня темным облаком вилась над солдатскими рядами. Крестьяне толпами выходили навстречу войскам с иконами и хлебом-солью. Бабы выносили с собой грудных младенцев. Пыльные, усталые, покрытые черным потом, солдаты кричали им:

- Эй, тетки, баньку-то для хранцуза не забыли истопить?

Бабы унимали плакавших ребят.

- Истопим, родимые... А уж вы загоняйте его, проклятого, в жару-то!

Олферьев смотрел и слушал с завистью. "В огненном бою, в крови, в смерти за общую родину сыщутся для меня дружба и товарищество с этими людьми. Все мы - русские и тем - свои!" Около какого-то гусарского полка он остановил засекшегося коня для смены.

- Олферьев! - окрикнул его зычный бас. Это был Фелич, ехавший в качестве арестованного позади своего эскадрона.

- Куда спешите? Погодите-ка... У меня в седельных ольстредях{70} вместо пистолетов хранятся флаконы с польской водкой. Не хотите отведать из золоченой стопки? От живота и против тряски - чудеснейшее средство!

Олферьев только рукой махнул.

- Скажите там у вас, в главной квартире, кому нужно, - гремел ему вслед Фелич, - для лошадей в кавалерии сена нет. Рожь, яровое, траву косят гусары. Люди кормятся из обозных фур крупой и сухарями... Много подлецов и мошенников...

Олферьев был уже далеко. Вдруг... Что такое? Желтые воротники на мундирах - сводная гренадерская дивизия Первой армии... Как она здесь очутилась? Он подъехал к рядам. Ага! Дело в том, что именно эта дивизия своим поздним выступлением из Смоленска и задержала седьмой корпус Раевского. Быть бы беде, да горе помогло! Начальник дивизии, принц Карл Мекленбургский, по обыкновению, проспал и выступил на три часа позже, чем полагалось. А может быть, знал наперед подлинные планы Барклая к потому не торопился... В коляске ехал, развалясь, рыжий генерал, толстый и свежий, как молодой, хорошо отпоенный бычок, Это и был принц. Он подозвал Олферьева.

- Что случилось?

Олферьев доложил.

- Хм! - сказал принц. - Это очень важно! Впрочем, скачите скорей к генералу Раевскому и как можно лучше исполните данное вам, господин офицер, поручение. Noren Sie auf{71}!

Солдаты чувствовали, что все делалось не так, как надобно было бы делать, и что происходило с ними что-то такое, что не должно происходить с русскими солдатами. "Маневры" под Рудней, трудные форсированные марши, без видимой цели и понятного смысла, тяготили солдатские души скверным настроением. Даже правофланговый карабинер Трегуляев рассыпался теперь не в веселых, а в желчных и злых прибаутках.

- То стоим, мух на голощеке кормим, - говорил он, - то вдруг вспряли, понеслись... Поехала кума - неведомо куда... Буй да Кадуй черт три года искал...

И он договаривал шепотом:

- Так и наш хромой черт мечется... Леший его задави! Вовсе людей затаскал!

- А ты не чудись, не блажись, - строго останавливал его фельдфебель Брезгун и показывал на Старынчу-ка, шедшего, по огромному своему росту, в первой шеренге, но казавшегося из-за опущенной головы ниже соседей, - вон на кого глянь! Ему, братец, всех тяжелей, а молчит.

Действительно, Старынчуку было всех тяжелей. Уж как ждал он боя, когда выступала дивизия в Рудню! Как молил бога, чтобы дал ему бог куражу сразу убить сто французов и тут же получить Георгия! Ничего не вышло... Все по-прежнему... А кто виноват? Старынчук молчал. Но все солдатские разговоры кругом него сводились к одному: на чем свет стоит ругали Барклая. И Старынчук чувствовал, как в душе его начинала скрестись жесткая злоба к этому худому, плешивому хромцу с мертвым лицом. Как раньше тоска по дому, так теперь тоска по Георгию становилась в Старынчуке болезнью. Когда на мощной груди Брезгуна позвякивали его кресты, Старынчук вздрагивал, и ему хотелось застонать от тоски.

- Влас, он ведь такой! - говорил Трегуляев. - Он, Иван Иваныч, молчит-молчит, да и молвит. Егория давно бы оттяпал, кабы не Болтай... Кабы не болтались мы по-пустому... Эх!

Варварушка,
Сударушка,
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя...

Карабинерная рота проходила мимо высоких загородей только что поспевшего гороха. Трегуляев так ловко потянул боком по кудрявым мелколистным кустам, что рукав его, словно сам собой, наполнился пухлыми и сладкими стручками. Крестьяне, вышедшие встречать войска, сердобольно потакали солдатскому баловству:

- Берите, батюшки, берите, родные, - чтобы хранцу не пришлось! Рвите, батюшки, кушайте на здоровье!

- Спасибо, добрые люди, - благодарил Трегуляев, - кабы не позволили, так не посмел бы и тронуть...

Солдаты смеялись. Один только Старынчук был серьезен и мрачен.

Полковник князь Кантакузен был крайне недоволен ходом вещей. Когда Полчанинов прискакал к нему с приказанием

начальника дивизии повертывать бригаду обратно к Смоленску, он разразился градом проклятий и упреков, главным образом по адресу Барклая, а отчасти и принца.

- Заморят они нас с тобой, почтеннейший! - грозно восклицал он. - И солдатушек-ребятушек заморят! То им, как видно, и надобно! Бог нас ими наказывает!

Полчанинов разложил на ушах своей Сестрицы карту окрестностей Смоленска. Кантакузен наклонился с седла, красный от гнева, тяжело дыша.

- Покажи-ка, золотой, на карте, куда мы со вчерашнего перешли?

- На карте, ваше сиятельство, все там же стоим. Карта у меня четырнадцать верст в дюйме... Кантакузен с сердцем глянул на прапорщика.

- Ну вот... Хорош квартирмейстерский офицер!.. Все там же стоим! Да ведь мы же переходили с места на место?

- Так точно, ваше сиятельство, переходили...

- Значит, согласен ты со мной, почтеннейший?

- Согласен.

- Вот и покажи мне на карте своей: куда мы перешли?

- А на карте все там же стоим. Кантакузен с ожесточением плюнул.

- Эх, золотой! Пишешь ты отменно хорошо, а по делу никак с тобой столковаться нельзя! Вон господин офицер скачет... Это, кажись, князь Петра Иваныча адъютант. Сейчас все и узнаем досконально. Господин офицер! Господин офицер!

Но у Олферьева не было времени для остановок и разговоров. Он только придержал лошадь и прокричал Кантакузену:

- Французы наступают на Смоленск... Еду, князь, к генералу Раевскому, Седьмой корпус назначен к защите...

- Седьмой корпус... - повторил князь Григорий Матвеевич. - Седьмой корпус... Эко счастье им привалило! И опять - не мы!

"Опять - не мы!" Слова эти вмиг разнеслись по бригаде. И когда докатились до Старынчука, он так крепко сжал кулаки, что мослы в пальцах захрустели.

Дивизия седьмого корпуса двигалась к Надве в таком порядке: за пехотными полками 1-й бригады - патронные ящики и легкие артиллерийские роты с запасными лафетами и кузницами на особых дрогах; потом - пехота и легкая артиллерия 2-й бригады; затем - егерские полки 3-й бригады с тяжелыми батарейными ротами и, наконец, - кавалерия и конная артиллерия.

Выступив из Смоленска, по вине гренадерской дивизии принца Мекленбургского, с запозданием, Раевский еле успел

отойти от города, как его уже нагнал адъютант генерала Неверовского, летевший к Багратиону с известием о бое двадцать седьмой дивизии под Красным. Николай Николаевич был опытный генерал. Осведомившись у проезжего адъютанта о положении дел, он сразу понял, что именно ему с его корпусом придется защищать Смоленск от главных сил наполеоновской армии. И, поняв это, остановил корпус. Долго ли предстояло ему грудью отбивать натиск бесчисленных французских войск? Этого Раевский не знал. Обе русские армии находились в сорока верстах от Смоленска. Подкрепление раньше еле* дующей ночи едва ли могло поспеть. А ведь задача была не только в том, чтобы отстоять древний русский город.

Главное - не допустить, чтобы Наполеон отрезал армии Барклая и Багратиона от Москвы. Смоленск - ключ к Москве. Спасая Смоленск, Раевский спасал обе русские армии и столицу России. Генерал поднял седеющую голову к тихому бледно-серому утреннему небу и зачем-то потрогал свои пышные баки.

- Что ж, - почти громко сказал он, - если так, то и погибнуть не жаль!

Уже около часа корпус стоял на месте.

- Чего мы ждем, батюшка? - спрашивали Раевского сыновья.

Вероятно, по глуховатости своей, он не слышал этих вопросов, так как молчал, приковавшись глазами к зрительной трубке. Было часов пять утра, когда Олферьев на сером коне, покрытом клочьями белой пены, подскакал к генералу, держа два пальца правой руки у шляпы, в левой - пакет. Наконец-то!

- От главнокомандующего Второй армии князя Багратиона вашему превосходительству!

Николай Николаевич разорвал пакет, и перед близорукими глазами его запрыгали написанные знакомой рукой строки:

"Друг мой, я не иду, а бегу. Желал бы крылья иметь, чтобы поскорей соединиться с тобой. Держись! Бог тебе помощник!"

Больше в повелении не было ничего. Да и что бы еще надо было? Раевский быстро засунул цидулку за левую пройму белого жилета, по обыкновению надетого под его сюртуком. Нет, ни громадность, ни чудовищное превосходство сил врага не смущали Раевского... Из-за недальнего холма солнце раскидывало по небу розовый веер яркого блеска. Николай Николаевич обнял Олферьева. И положил руки на плечи своих сыновей.

- Здравствуй, славный день смоленской битвы! Седьмой корпус кинулся назад...

Чтобы поспеть на выручку Неверовского, Раевский должен был пройти через Смоленск и выйти по городскому Днепровскому мосту на Краскенскую дорогу. Однако в городе от казаков и

какого-то раненого трубача он узнал, что двадцать седьмая дивизия почти уничтожена и остатки ее, выскользнув из боя, спешат к Смоленску.

Александр Раевский вытянулся перед бароном.

- Я записываю разговор вашего высокопревосходительства с батюшкой...

- О! Зачем же?

- Для истории. Беннигсен вздохнул.

- Я кое-что слышал о вас, господин офицер. Для истории? Вероятно, для одной из тех историй, от последствий которых вас до сих пор спасало уважение князя Багратиона к вашему достойному отцу,

Он повернулся к старику Раевскому.

- Я позволю себе, мой генерал, снабдить вас еще одним советом, хотя вы у меня его и не спрашивали. Запретите вашему сыну писать, и пусть он говорит как можно меньше. Иначе его ожидают полный крах карьеры и печальная будущность!

Глава двадцать четвертая

Французская армия окружала ту часть Смоленска, которая лежала на левой стороне Днепра, таким образом, что оба фланга осады примыкали к реке. А у Раевского было только двадцать восемь батальонов - около пятнадцати тысяч человек. Скорого подкрепления он не ожидал. Не хватало ни пехоты, ни артиллерии для того, чтобы занять ими всю линию городской обороны. Поэтому он и решился отбивать Смоленск из предместий. Это было очень смелое решение; в случае неустойки отступать можно было лишь через крепостные ворота, но, по узости своей, они не пропустили бы войск. Таким образом, отступление равнялось гибели. Впрочем, Раевский к не помышлял о нем. В глубине души он надеялся на то, что французы плохо знают город и его окрестности. Ему казалось почти несомненным, что целью атаки они поставят захват Днепровского моста. А если так, то главного натиска следовало ждать со стороны южных, Молоховских, ворот на правый фланг обороны. Именно здесь, на Королевском бастионе и под откосом его контрэскарпа, между стеной и рвом, Раевский приказал стать двадцать шестой дивизии генерала Паскевича. Бригаду, уцелевшую от двадцать седьмой дивизии, разместили на кладбище правого предместья и в самом правом форштадте поставили еще восемь батальонов. Войска двенадцатой дивизии заняли левые предместья. Батарейную артиллерию развезли по стенам, легкая распределилась между пехотными частями. На Королевский бастион втащили восемнадцать орудий, двадцать четыре выкатили на кладбище и столько же в правый форштадт.

Французов отделяла от города обширная равнина, пересеченная оврагами, рытвинами и водоемами.

- Очень удобно! - сказал Раевский Паскевичу.

- Очень! - согласился молодой генерал.

Хотя ружья в пехоте стояли в козлах, но полки при малейшей тревоге могли выслать застрельщиков. Пушки были заряжены, фитили зажжены. И Олферьев поскакал в главную квартиру Второй армии с донесением о готовности города к штурму...

Третьего августа, накануне торжественного дня, маршалы условились поздравить императора небывалым образом. Собственно говоря, такие заговоры повторялись из года в год. И император уже не раз имел возможность убеждаться в ловкой находчивости и изобретательной предприимчивости "кандидатов в короли". Но то, что было замышлено ими в этом году, не имело прецедентов.

Князь Понятовский прямо говорил своим товарищам:

- Это будет подарок, каких император еще не получал!

И все согласились сделать так: завтра, четвертого августа, в то время когда маршалы будут в палатке императора пить за его здоровье, после трех залпов по Смоленску войска бросятся на приступ, ворвутся в город, и король Неаполитанский Мюрат поднесет Смоленск императору, как букет бесценных цветов.

Все было приготовлено к этому внезапному штурму с величайшей тщательностью. Войска с нетерпением ждали рассвета и сигнальных залпов. Ранним утром маршалы принесли свои официальные поздравления и толпились в кабинетной части палатки императора, который что-то диктовал в спальне статс-секретарю графу Дарю. Каждую минуту должен был появиться камердинер Кон-стан во главе фаланги лакеев с подносами. Тяжелые золотые кубки, полные старинного арльского меду, разойдутся по маршальским рукам. Грянут залпы, и тысячи верных и мужественных солдат кинутся на смерть, чтобы подтвердить ею свою радость по поводу рождения императора.

Констан появился. Но вместе с ним вышел из спальни граф Дарю и сказал:

- Милостивые государи! Его величество крайне недоволен затеей, которой вы вздумали омрачить сегодняшний праздник. Он запрещает это. Атакой города будет командовать сам император.

Было семь часов утра, когда корпуса Мюрата и Нея тремя колоннами двинулись к Смоленску. Раевский стоял на батарее за Молоховскими воротами и в зрительную трубку следил за ходом наступления. Он видел, как вдоль линии атаки впереди огромной свиты и эскорта из гвардейских улан в красных мундирах и

высоких шапках промчался маленький широкоплечий всадник на белом скакуне. Войска волновались и что-то кричали. Всадник скрылся. Атака сейчас же выделила фланкеров, - стрелки побежали к городу. Раевский хотел было приказать, чтобы головные части двадцать шестой дивизии тоже выдвинулись. Но не успел этого сделать, - Паскевич распорядился сам. Несколько артиллерийских рот выскакали ко рву, остановились и начали разведываться с неприятелем ядрами. Французов это не остановило. Одна колонна наступала вдоль реки, другая - на кладбище, а третья направлялась прямо на Королевский бастион. Атака уже миновала полосу ядерного огня, прокатилась под картечью и теперь заливала ров. Однако пехота двадцать шестой дивизии, лежавшая между рвом и городской стеной, не выпускала французов изо рва. Раевский видел, как горячилась пехота: отстрелявшись почти в упор, хватала ружья на руки и бросалась в штыки. Через два часа ров был завален французскими трупами. То же происходило и на кладбище. Все шло прекрасно. Плохо было только то, что этому прекрасному не предвиделось конца. Атаки следовали одна за другой. Двадцать шестая дивизия начинала уставать. Уже два раза линейные части Нея переплескивались через ров и докатывались до откосов бастионного контрэскарпа. Правда, штыки еще славно действовали, но спасала положение главным образом артиллерия. Л французские войска все подходили и подходили. Десятки батарей выезжали вперед и громили годуновские стены. Целые полки шли на фланкировку, рассыпаясь побатальонно. Раевский был бледен...

Генерал Паскевич смотрел вниз с бруствера Королевского бастиона. Свинцовый дождь сбивал кругом него листья и сучья с больших верб, которыми оброс бастион. Но Паскевич не замечал этого. Внизу было еще хуже, гораздо хуже, - настоящее пекло. Французские ядра то и дело шлепались по сю сторону рва, взметали кверху столбы земли и, с визгом крутясь в людской сутолоке, валили с ног десятки солдат. Вот вырвало ядром косяк из пушечного колеса, оторвало ногу у лошади, опрокинуло двух канониров, разнесло ось и лафетную доску, - орудие упало. Уже много их валялось на боку. А человеческих трупов еще больше. Как ни ужасно было то, что происходило внизу, но Паскевич любовался этим зрелищем. Ему особенно нравилась работа одного высокого канонира-бакенбардиста. Ловкость и точность движений этого солдата были поразительны. "Где я его видел? Ага! Салтановка, опушка леса, разрыв старой пушки, угрозы канониру, дерзкий артиллерийский поручик... Как путаются на войне карты человеческих отношений!" Еще будучи пажом и

дежуря во дворце, Паскевич поймал однажды словцо графа Аракчеева: "Надобно требовать от солдата невозможного, чтобы он возможное сделал..." На остром, мелко-красивом лице Паскевича промелькнуло что-то неуловимо скверное, похожее на улыбку. "Трус и подл Аракчеев, но умен. Можно гнуть солдата пополам, но воевать без него нельзя. Я обещал этому бакенбардисту Георгия и дал его. Если мне суждено возвыситься, я покажу свету настоящее величие и настоящий разум полководца..." Паскевич все пристальнее вглядывался вниз. Что это там делается? Орудия заезжают справа и становятся так, что прицельная линия приходится не поперек, а вдоль рва. Не сошли ли они там с ума? Кто командует? Э, тот самый дерзкий поручик, у которого Паскевич чуть было не отобрал шпагу под Салтановкой... По всей длине рва - французы. Орудия стреляют. Залп... другой. Ров замер. Ай да поручик! И под бешеным огнем, придерживая рукой шпагу, чтобы не мешала бежать, Паскевич пустился вниз с бастиона в то самое пекло, где так молодецки действовал Травин.

С тех пор как началась война, только в огне, под смертельной угрозой, Травин чувствовал себя живым, бодрым и деятельным человеком. А в остальное время одолевала его какая-то тупость мысли. И лишь в глупых происшествиях, подобных последней стычке с Феличем, отыскивался для него выход из этого тупика. А вот под Королевским бастионом - не то! Хоть Травин и был под арестом, но за убылью офицеров пришлось ему вскоре после завязки боя уже командовать ротой. Сперва он опрокидывал атаку за атакой лобовым огнем, в ров и через ров. А потом вдруг догадался: орудий мало, а все бьют в лоб, перед собой. Не лучше ли развернуться вдоль рва? Попробовал. Славно! Падали уже не десятки, а сотни французов. "Как понятлив Угодников! Толкни только с места мысль этого редкого солдата, а она и пойдет, и пойдет ворочаться".

- Ваше благородие! - кричал канонир, стараясь голосом перекрыть грохот боя. - Ваше благородие! А ежели двумя расчетами направо бить, а двумя налево?

- Верно!

Травин повернул половину своих орудий.

- С передков долой! Передки, отъезжай! Тут-то и вырос перед ним Паскевич.

- Молодец, поручик! Я любовался...

Травин молча отдал честь. Он не любил Паскевича. "Из таких-то и растут Аракчеевы! Но этот хуже будет... Аракчеев нагл при дворе и трус в бою. Этот же храбр под огнем, а при дворе будет ползать..." Было что-то и в Травине неприятное генералу. "Как он

одет худо! Из таких-то в странный наш век и выскакивают Бонапарты..."

Ров был опять полон французами. Они карабкались по откосу, подсаживая друг друга. На передних лезли задние, а на задних наседали линейные батальоны, беглым шагом стремившиеся к бастиону. Еще минута-две, и колонны эти зальют собой ров, и волны их выплеснутся на бастион. Травин не отрываясь смотрел на эту страшную картину.

- Командуйте огонь, поручик! - приказал Паскевич.

- Слушаю, - сказал Травин и не пошевелился.

Он знал, что орудия заряжены и канониры уже держат пальники у затравок. А прислуга толпится перед пушками, чтобы не видно было наводки. Он сегодня придумал этот фокус: все готово, а врагу - невдомек. И чем дольше, тем лучше...

- Извольте же командовать, поручик! - крикнул Паскевич. - Оглохли, что ль?

Между батареей и неприятелем оставалось не более десятка саженей. И расстояние это уменьшалось с каждой секундой.

- Поручик!

Травин сделал движение рукой, какое делают люди, когда не хотят, чтобы им мешали. Он был бледен,

- Поручик!

Голос Паскевича звенел и ломался:

- Один лишь миг, ваше превосходительство! Французы были уже почти на батарее. Травин махнул рукой.

- Пали!

Канониры отскочили от орудий. Вспыхнули огоньки, струйки дыма взвились над скорострельными трубками - и все орудия грохнули разом, выплюнув смерть. То, что только что бежало, лезло, валилось вперед, - стрелки и линейная пехота, - все это лежало на земле. Угодников указал пальцем туда, где лежал батальон в том самом порядке, как шел, даже с офицерами при взводах. А наседавшая сзади туча застыла на месте. Этаких залпов Паскевич не видывал. Поручик - отличный стрелок, но... ослушник! "Шпагу! - хотел он крикнуть Травину. - Подайте вашу шпагу! За ослушание пойдете под арест!" И вдруг заметил, что на офицере нет шпаги. По растерянному выражению генеральского лица Травин все понял и сказал:

- Я уже под арестом, ваше превосходительство. Паскевич закусил губу. Он был в затруднении.

Днепр у Смоленска неширок. С укреплений, из предместий и даже с равнины, на которой происходило сражение, был ясно виден его высокий правый берег. Около полудня холмистый гребень этого берега ощетинился войсками. Раевский облегченно вздохнул и, делая на груди под жилетом незаметные движения правой рукой, перекрестился. Вторая армия пришла гораздо раньше, чем он того ожидал. Действительно, Багратион бежал к Смоленску...

Между тем пехотные колонны французских войск продолжали правильно и быстро двигаться на город с застрельщиками впереди. Кавалерийские взводы прикрывали с боков батареи легкой артиллерии. Как раскаты грозы, гремели

пушечные выстрелы. По временам облака густого синего дыма застилали эту картину. Кругом Багратиона были расставлены на высоких ножках подзорные трубки и телескопы. Но Петру Ивановичу они были не нужны. Его зоркий глаз отчетливо различал все, что делалось в городе и над городом. И чего не видел глаз, то разгадывал он сам. Его смуглое лицо было покрыто горячим потом, солнце пылало и жгло немилосердно. Он непрерывно отряжал адъютантов и ординарцев и слал Раевскому подкрепления одно за другим. Для него не было сомнений: бой, принятый седьмым корпусом, - только начало громадной генеральной битвы за Смоленск. Барклай - хитрая лисица, но обстоятельства победили его. У Багратиона был радостный и вдохновенный вид.

Как-то само собой сделалось: не успела Вторая армия стать на биваке, как позади того места, где находился главнокомандующий, появились продавцы с холодной водой, квасом, пивом и огурцами. Штабные офицеры наскоро освежались питьем и бегом возвращались к свите. В этой сутолоке мелькали и крестьянские зипуны, армяки, войлочные шляпы. Здесь же оказались и три росаснинских мужика. Какой-то полковник квартирмейстерской части долго разговаривал с ними, а потом отвел прямо к главнокомандующему. Князь Петр Иванович кипел, и все возле него кипело. Мимо везли из города подбитые орудия и лафеты. Из резерва скакали к Смоленску свежие артиллерийские роты.

Атаки французов начинали заметно ослабевать. В четыре часа дня открыл было наступление Даву, но скоро был отбит. Почти смеркалось, когда Багратиону доложили, что подходят головные части Первой армии. Шестой корпус генерала Дохтурова уже становился на бивак. Барклай вел свои войска форсированными маршами, по-суворовски, без привалов. Солдаты ели на ходу. "Ведь умеет же квакер и спешить!" - подумал Петр Иванович. Первый день смоленской битвы кончился. Багратион вскочил на коня.

- Еду! Прочь с дороги! Раздайся, други!

Он карьером пустился вниз, через мост, в город. Свита неслась позади. Улицы Смоленска были загромождены ранеными, умирающими и мертвыми. Жители сидели в сараях и погребах. Кое-где занимались пожары, - небо розовело от всполохов и казалось живым. Раевский и Паскевич встретили главнокомандующего у Королевского бастиона. Багратион поцеловал Раевского и обнял Паскевича.

- Спасибо вам нижайшее, други! Вы спасли армии русские и Россию. Что тебе, что мне, Николай Николаич, поздно биографию

свою днем нынешним начинать. Мы ее начали в семьсот восемьдесят восьмом годе, при Потемкине, ты подпоручиком, а я прапорщиком. Помнишь небось как в дружбу вступали? А вот Иван Федорыч - дело иное. Сегодня история его открылась. И будет она немаловажной...

Из темноты выехал всадник в генеральской шляпе и звездах. Это был Барклай. Он молча поклонился и крепко пожал руку обоим защитникам Смоленска.

Глава двадцать пятая

В течение этого дня Наполеон несколько раз сожалел, что так заносчиво отказался от приготовленного маршалами подарка. Неудача атак, которыми он руководил, его поразила. К вечеру у него собралось под рукой двести тридцать тысяч человек. Завтра эта громада должна будет овладеть Смоленском. Но что-то препятствовало императору сегодня успокоиться на этой мысли. Уже заходило солнце, когда он позвал к себе Жюно, герцога Абрантесского, и сказал ему:

- Слушайте, Жюно! Вы зажирели и стали неповоротливы, как те немецкие быки, которыми вы командуете. Под Островной вы потеряли маршальский жезл. Однако я помню вас и таким, каким вы были раньше. Вы можете сегодня же найти свой жезл.

Жюно молчал. Тысяча чертей! Уж как надоели его солдатской душе выговоры с высоты, на которую он сам втаскивал этого человека! Ему дали Вестфальский корпус, толпу солдат-свинопасов, розовых, как ветчинные окорока, и таких же жирных, и уверяют, будто зажирел он сам. А если бы под командой у него были не немцы, а французы, он, может быть, завоевал бы уже и Смоленск и Россию...

- Чтобы отыскать маршальский жезл, Жюно, - продолжал император с обидно-снисходительной усмешкой на холодном лице, - вам надо открыть переправу повыше города, перейти через Днепр и отрезать русским дорогу на Москву. Тогда мы завтра покончим все это без лишних усилий. Вы поняли, Жюно?

Жюно поклонился. Конечно, понял. Конечно, сделает. Маршальский жезл!..

- Видишь, Алеша, трубу? Веди, душа моя, пушки прямо на нее, мимо и дальше, покамест не пришло повеление стать. Сам посмотри, как батареи разместятся...

Весь вечер Олферьев провозился с расстановкой пушек по днепровскому берегу, выше города. И лишь близко к полуночи вернулся в главную квартиру. Но Багратион тут же послал его к командиру шестого корпуса Первой армии генералу от инфантерии Дмитрию Сергеевичу Дохтурову.

Генерал был нездоров и лежал в шалаше на походной койке,

в сюртуке и фуражке, под черной косматой буркой. Он поднял круглое лицо и протер кулаком добрые карие глаза,

- Что? Шестой корпус назначен для смены седьмого?

- Так точно, ваше высокопревосходительство. Дохтуров сел на койке и закряхтел.

- Сакремент! Очень даже хорошо, молодой человек! Уж лучше на поле славы помереть, нежели в кровати!

Отсюда Олферьев помчался в город. Генерала Раевского он отыскал на террасе над Молоховскими воротами. Николай Николаевич дремал на ковре. Прочитав повеление о смене, он зевнул и сказал подошедшему Паскевичу:

- Слава богу, нас сменяют! Сделайте милость, Иван Федорыч, покажите Дохтуровскому квартирмейстеру наши места на позиции, с тем чтобы выходили полки тотчас по смене. И до света - всем выступить.

Только на заре закончились разъезды Олферьева. Возвращаясь на бивак, он догнал легкую артиллерийскую роту, которая, сменившись, шла из города. По всему было видно, что роте крепко досталось поработать. Орудия от дул до затравок так закоптились, что стали какого-то необыкновенного черно-сизого цвета. Лица людей, шинели и портупеи были так густо покрыты огарками от картузов, что солдаты походили на трубочистов. Рота медленно двигалась по дороге. Навстречу со всех сторон выходили еще не бывшие в деле офицеры и набрасывались с жадными расспросами на поручика, ехавшего впереди. Но ответы поручика были до крайности односложны.

- Где стояли? - спрашивали его. - Не на Королевском бастионе?

- Да.

- Говорят, ад был у вас?

- Нет.

- Экий медведь! - раздался в темноте чей-то негодующий голос.

Но поручик - это был Травин - не обратил никакого внимания и на дерзость. Он был в странном, радостно-рассеянном состоянии духа. Видел, слышал, а в голове все это как-то путалось и мешалось. После напряжения, пережитого во время боя, мысли и чувства его сразу обмякли. Оставалось лишь гордое сознание того, что никто из встречных вопрошателей не сумел бы отбивать Королевский бастион лучше, чем делал это он, Травин. И жадное любопытство их казалось ему мелким и жалким...

Какой-то пехотный солдат погладил рукой пушку.

- Уж и видно, что поработала. Вишь, как рыло-то позамарала...

Эти простые слова вдруг вывели Травина из его странного состояния. Он наклонился с седла к солдату и обнял его.

Олферьев ехал сбоку, наблюдая Травина. Хотя он видел его до сих пор всего один раз, во время скандала у Чаппо, но узнал с первого взгляда. Все в этом офицере нравилось Олферьеву, начиная с гордой бедности до объятия с солдатом. Корнет вспомнил свои утренние мысли. Наверное, Травину и в голову не приходят этакие глупые сомнения, колебания и боязливые мечты.

Олферьев тронул повод, подъехал к Травину и, взяв его за руку, сказал:

- Слушайте, поручик! Вы еле-еле знаете меня, я - вас. Но я хочу большего. Будем друзьями!

Травин не удивился. Он только осторожно отнял у Олферьева свою руку и, довольно холодно усмехнувшись, проговорил:

- Полноте! Откуда вы взяли, что я - враг вам? Я даже барону Феличу не враг, хоть он и порядочный подлец. Но быть друзьями...

Олферьева качнуло в седле. Кровь отхлынула от его сердца, и он чуть слышно спросил:

- Вы взяли у меня свою руку, почему?

- Помилуйте! Как вы могли подумать? Скажу откровенно: я не люблю аристократов. Однако не все одинаковы. И руку я взял совсем по другой причине...

Он быстро размотал грязный носовой платок, которым была обвязана кисть его правой руки, и показал ее Олферьеву. На кисти не хватало двух пальцев указательного и среднего. Корнет успел разглядеть комочки жил и мускулов, запекшуюся черным ожерельем кровь и блеск мелких белых косточек, застрявших в мясе.

- Видите? - спокойно и серьезно проговорил Травин. - Вот в чем дело... Ума не приложу: как мне теперь драться с Феличем? Ни на пистолетах, ни на шпагах... Вы лучше меня эти вещи знаете. Подайте же дружеский совет, коли друзья мы...

Вестфальский корпус двигался в обход Смоленска с большой осторожностью. Во-первых, было уже почти совершенно темно. Во-вторых, три русских крестьянина, которые служили сегодня Жюно проводниками, почему-то не внушали ему доверия. Эти скоты так подозрительно переглядывались и переговаривались, цокая языками, что в лучшем случае, по-видимому, и сами не знали, где переправа через Днепр, а о худшем герцог и думать не хотел. И, наконец, в-третьих, с самого начала кампании, а особенно после того, как Жюно связался с вестфальцами, ему ужасно не везло. Он никуда не поспевал со своим корпусом, путался в тонкостях диспозиций и иногда с тайной горечью

подумывал о том, что устарел для новой войны, тактика которой изобретена неутомимым хитроумием императора. Одна история с коляской, так нагло отхваченной русскими под Катанью, чего стоила!..

Итак, корпус шел очень медленно, двигаясь через какие-то левады, сады и огороды. Несколько раз Жюно принимался тормошить проводников. Они кланялись и быстро говорили что-то, подмаргивая друг другу. Один из них, в белых штанах, казался особенно сомнительным. Однако он-то и был старшим.

Когда взошла луна и Днепр сверкнул наконец впереди серебряными разводами на черной глади, Жюно вздохнул с облегчением. Но ехавший рядом начальник корпусного штаба, полковник Клери, произнес сдавленным голосом:

- Ваша светлость! Мы обмануты! Посмотрите, где город и где русские биваки. Мы не отошли от Смоленска и на лье, хотя ходили четыре часа...

Клери не успел договорить, как с противоположного берега реки грянул пушечный выстрел. За ним последовал еще один, два, три - много, и затем на Жюно с его корпусом обрушился такой огненный град, что вестфальское стадо взбесилось. Прежде всего куда-то исчез обоз. Потом в дивизиях вспыхнула такая неслыханная сумятица, что через полчаса полки и бригады перемешались, как карты в руках пьяного игрока. А канонада все усиливалась, и ядра сыпались все гуще, сметая на своем пути целые взводы. Жюно уже не сомневался, что проводники завели его прямо под прицельный огонь русских батарей.

- Wir bleiben nicht hier{72}! - ревели вестфальские солдаты.

Жюно скакал между их рядами и кричал:

- Солдаты! Взгляните на меня: я покрыт ранами. Я был в Сирии, в Египте, везде! Двадцать лет мужества и преданности! Что же вы делаете со мной, проклятые дьяволы!

Жюно почувствовал на глазах слезы. Ярость, дошедшая до последнего градуса, жгла его грудь, душила за горло.

- Тысяча чертей! - прохрипел герцог. - Опять ускользнул маршальский жезл!..

Комендантские стрелки вели к Жюно трех крестьян из деревни Росасна. Теперь крестьяне не переговаривались и даже не глядели друг на друга. Головы их были опущены, лица бледны. Но, судя по необыкновенной твердости шага и спокойствию движений, они чувствовали себя правыми и не боялись смерти.

Глава двадцать шестая

Осажденный город расцвел надеждами. Не каждый же день празднует Бонапарт свое рождение! Жители вылезли из погребов. Открылись трактиры и ресторации. В "Данцихе", у Чаппо, в

кондитерской лавке Саввы Емельянова было полным-полно народу. По улицам разносили мороженое - было жарко, и офицеры от Моленховских ворот то и дело посылали за ним. Солдаты полков шестого корпуса, стоявшие в предместьях, копали на огородах картофель и варили его над огнем. Так шло до трех часов дня: редкая перестрелка из-за рва и никаких признаков наступления.

- Надо быть, думает Наполеон, что выйдем мы из города в открытый бой, толковали офицеры на террасе Молоховских ворот, где обосновался штаб Дохтурова. - Врешь, брат! Обчелся!

Генерал только что пообедал и, раскрасневшись от недомогания и жары, прилег отдохнуть с кожаной подушкой под головой. Но, вспомнив что-то, сказал адъютанту:

- Прапорщик там пехотный, внизу... Позови-ка! Через минуту явился прапорщик, бледный и взволнованный.

Дохтуров достал из кошеля сторублевую ассигнацию.

- Остыдился, братец... Сакремент! Прогулял деньги и стреляться вздумал? Дурак! Не деньги нас наживают, а мы - деньги. Бери! Да не стесняйся, бери! Я еще наживу, а помочь найду ли случай - бог весть!..

Прапорщик кланялся и лепетал слова благодарности, а генерал уже повернулся к нему спиной, удобно подмостив под ухо подушку. Штабные офицеры сейчас же отыскали какую-то сломанную дверь и пристроили ее над стариком, как навес от солнца.

- Тише, господа, тише... Не шумите - генерал отдыхает. Не разбудить бы!

Но Дохтуров и спал и не спал. С одной стороны, он слышал эти шепоты, трогательно доказывавшие ему общую любовь, и, стало быть, не спал. С другой - шепоты были так приятны Дмитрию Сергеевичу, что, погружаясь в тихое спокойствие, он не в силах был не только встать, но и глаза открыть, следовательно, спал.

В три часа дня приехал из передовой цепи начальник корпусного штаба.

- Кажется, французы зашевелились...

И вдруг над Красненской дорогой одна за другой взвились две ракеты. Начальник штаба начал рассылать офицеров по частям, - он ждал боя.

- Не след ли Дмитрия Сергеевича разбудить?

Взвилась третья ракета. И смерч из ядер и гранат налетел на город. Несколько ядер ударилось в террасу. Дохтуров поднял голову, посмотрел кругом мутными глазами, вскочил и крикнул:

- Лошадь!

Французская артиллерия била навесно. Густые цепи стрелков бежали к городским стенам, врезаясь между батареями. Перестрелка ширилась и росла. Ней атаковал Королевский бастион, Понятовский наступал слева, а Даву шел между ними. Головы французских колонн равнялись, потом делалась правильная деплояда, и огромное поле перед городом все гуще и гуще покрывалось длинными линиями пехоты. На берегу Днепра, по садам, расположенным на горе, французы уже теснили русских, сбрасывая в овраг Красненского предместья. Понятовский был уже под городской стеной. Ней - почти на Королевском бастионе, Даву рвался в Рославльское предместье.

У Молоховских ворот начинался беспорядок. Зубцы стен, отбитые ядрами, валились вниз, на полк иркутских драгун. И драгуны мялись, отступая к воротам. Чуя позади себя неладное, и пехота начала подаваться ото рва к воротам. Но здесь она попадала под копыта яривших драгунских коней. Какой-то огромный длинноусый гусар вертелся среди иркутцев с казачьей пикой в руках и рычал:

- Стой, р-ракальи! Заколю!

И он действительно с неистовой силой колол своей пикой в крупы драгунских коней, гоня их вперед.

- Это Фелич! - заговорили в свите Дохтурова. - Откуда он взялся?..

Внезапный грохот оборвал разговоры. Граната лопнула на том месте, где только что бесновался ротмистр, Фелича не стало. Топча пехоту, иркутские драгуны ринулись в ворота. То, что происходило здесь, должно было гибельно отозваться на Днепровском мосту и у ближайших к нему Никольских ворот. Правда, там командовал Неверовский... Дохтуров подскакал к роковому месту. Глаза его были налиты кровью. Он сорвал с себя галстук. Жаркий пот катился с его круглого лица. Тяжко дыша, соскочил он с лошади, вынул шпагу и стал в воротах под дождем пуль.

- Ваше высокопревосходительство! - кричал начальник корпусного штаба. Что вы делаете? Вспомните семью, детей!

- Оставь меня, братец! - прохрипел генерал. - Здесь жена моя - честь, а войско - дети! Он обернулся к солдатам.

- Сакремент! Братцы! На каждом ядре, на каждой пульке судьбой написано, кому пасть от них! Вон драгун свалился... Хотел уйти, и убит... Не ушел! Когда смерть нагоняет солдата - стыдно солдату бежать... Славно там умереть, где место долгом указано!.. Сакремент!

Никогда Дохтуров не был так красноречив, как в эту отчаянную минуту. И не напрасно! Драгуны оправились. Пехота

двинулась вперед. И живой, быстрый огонь ее, к которому сейчас же прибавилась картечь ближних пушек, с двух сторон начал поливать засевших в красненском овраге французских линейных. Путь между рвом и стеной был снова в русских руках. Атака Молоховских ворот не удалась. Доктуров смотрел теперь туда, где бился Неверовский...

У Никольских ворот тоже было смутно. И здесь пехота отступила, ведя ружейный огонь от самых ворот. Неверовский еле держался. Он скакал между солдатами с багровым от гнева лицом, изрыгая проклятья и самую яростную брань. Одет был сегодня этот генерал как на праздник, - в новых эполетах и в расстегнутом сюртуке, из-под которого виднелась белая рубаха со сборками. Шпага сверкала в его руках. Он был красив, и эта мужественная красота силы и бесстрашия могущественно действовала на солдат. Полки пошли вперед и с натиска заняли ближайшие к воротам дома предместья. Неверовскому бросился в глаза маленький черноглазый артиллерийский генерал на вороном орловском жеребце. Он тоже останавливал и повертывал кучки еще не оправившихся от робости солдат. Это что за явление? Откуда? Неверовский дал шпоры лошади и наскакал на чужака.

- Кто здесь мешается не в свое дело? Маленький генерал гордо поднял голову.

- Я граф Кутайсов, начальник артиллерии. Мое место везде. Вы кто?

- Я - Неверовский.

Они молча посмотрели друг на друга и разъехались.

Наполеон приказал своей артиллерии громить смоленские стены. Но ядра вязли в них. Тогда он велел бить по городу гранатами и зажигательными снарядами. Смоленск запылал. Столбы пламени взвились к облакам. Клубясь в ярком блеске солнечных лучей, черный дым пожарища слился с синим пороховым дымом. И эти грозные тучи, пронзаемые всплесками огня, покрыли город багрово-фиолетовым заревом. К Дохтурову подскакал Клингфер.

- Ваше высокопревосходительство, главнокомандующий повелел передать, что от мужества вашего зависит сохранение армий, и даже больше того...

Дохтуров рассердился.

- Сакремент! Никогда слов благодарных не искал я! Честью лишь своей дорожу, и она для меня бесценна. Да что я один сделаю? Скачи назад, господин офицер, и скажи Михаиле Богданычу: "Дохтуров требует сикурса..."

Клингфер помчался. На улицах города лопались гранаты, и

осколки их догоняли раненых, которые шли и ползли вдоль домов. Ядра разбивали крыши и стены, вскидывая кверху груды щебня, вырывали из мостовых камни и разбрасывали бревна деревянных накатов. Здания горели, пламя клокотало за окнами. Все кругом рушилось с отчаянным треском, дождь мелкого стекла сыпался на Клингфера. От жары волосы затрещали на его голове. "Вдруг не доеду? - подумал он. - Не доеду, а сикурс необходим..." Навстречу неслась толпа солдат с ружьями наперевес. Нет, это была не просто толпа, уж очень была она велика, и вели ее офицеры.

Клингфер крикнул одному из них:

- Что за войска?

- Сикурс от главнокомандующего... Четвертая дивизия... Идем на вылазку...

Клингфер вздохнул с облегчением. "Счастье служить при Барклае... Какая предусмотрительность!" В это мгновение железный таран с такой сокрушительной силой ударил адъютанта в плечо, что он не только вылетел из седла, но еще и перевернулся в воздухе, прежде чем упасть наземь. "Не доехал!.. Впрочем, теперь и не надо". Клингфер успел почувствовать, как чьи-то ловкие руки подхватывают его под спину. Успел он услышать чьи-то слова:

- Как ему стояк-то разворотило, - враз исчаврился... Ну да, может, и отойдет! Тащи его в дом, ребята!..

Нечеловеческая боль в плече заставила ахнуть Клингфера. И на этом все кончилось...

Около пяти часов Даву предпринял второй штурм Молоховских ворот и почти ворвался в город. Но четвертая дивизия дралась с такой яростью, что французы опять были отброшены. Как и накануне, атаки их начинали заметно ослабевать. Бой еще кипел. Город пылал, и гранаты рвались над ним. Однако стены и зубцы старой крепости по-прежнему были унизаны стрелками, и французы нигде не имели заметного успеха. Дрались уже - только чтобы драться. Ружейная пальба и пушечная канонада не смолкали. И когда стало смеркаться, то тем, кто наблюдал за ходом дела из лагеря Первой армии, казалось, будто Смоленск опоясан сплошной полосой огня.

Из шалаша Барклая разносился громкий голос князя Петра Ивановича. По обыкновению, главнокомандующие спорили. Правильнее сказать, Барклай молчал, перебирая длинными, худыми пальцами перья своей шляпы, а Багратион, размахивая руками, кричал:

- Судьба исхитила из рук неприятельских лавр победы! Второй день кончается, - Смоленск наш и нашим остаться

должен! Какую голову иметь надобно, чтобы не разобрать, где польза? Какое сердце, чтобы не устыдиться трусости? Обе армии наши уже в третий раз пришли в Смоленск: были двадцать второго, потом двадцать седьмого, ныне - снова. Для чего? Чтобы завтра уйти? Счастливая завязка дела предрешает его конец. Генерал Раевский...

Багратион еще вчера заметил, что Барклай с совершенной холодностью относился к блестящей защите города Раевским. Едва ли он даже усматривал в геройстве седьмого корпуса еще что-нибудь, кроме точно исполненного долга. И это оскорбляло князя Петра Ивановича выше всякой меры.

- Генерал Раевский показал, что можно сделать, коли хочешь. Убыль в людях большая? У Дохтурова - тоже. Но вот - я. Я приведу всю свою армию на левый берег Днепра и на себя возьму крест. Желательно вам это? Однако и вы делайте то же...

Багратион с трудом перевел дух.

- Не молчите же! Что мы предпримем завтра?

Барклай медленно проговорил:

- Мы отступим.

Удивительно: эти два слова были произнесены совсем тихо, но прозвучали они как непререкаемый приказ. Сухая фигура Барклая вдруг приняла в глазах князя Петра мертвые очертания железной куклы. Он закрыл лицо обеими руками, чтобы не видеть. Он хотел бы и не слышать, но Барклай продолжал говорить:

- Наполеон силен. Ни Раевскому с Дохтуровым, ни нам с вами не отстоять города. При таком положении вещей единое и главное правило принять я обязан за основу: не делать того, чего сильный противник мой ищет. Он ищет генеральной битвы за город, - я не дам ему этой битвы. Система моей войны уничтожать неприятеля его собственными успехами, заставить его удалиться от своих источников и тем погубить...

Утром Барклай получил письмо императора. В нем было сказано: "Вы развязаны во всех ваших действиях!" Этой фразой император, конечно, думал подвинуть Барклая на решительные операции, на защиту Смоленска и переход в наступление. Только так и следовало понимать ее. Но эпистолярное красноречие запутало эту простую мысль. Действия Барклая развязаны, - а наступление он считает невозможным. Прекрасно! Михаил Богданович сделал вид, будто понял двусмысленную фразу как апробацию своим отступательным планам. И, ответив в этом смысле императору, вовсе не был теперь расположен церемониться с Багратионом.

- Всякая другая система гибельна. Ежели вашему сиятельству

истина слов моих недоступна, рекомендую, субординацию блюдя, просто повиноваться... Князь Петр Иванович быстро подошел к Барклаю и взял его за руку. Почувствовав, что он отстраняется, подступил еще ближе. На глазах его сверкали слезы, голос звучал спокойно и мягко, почти задушевно:

- Я бы так понял, Михаиле Богданович. Вот мы уходим от Смоленска. К обороне не готов он, - трудно его защищать. Однако есть у нас впереди верная позиция. И непременно должен Бонапарт на позицию эту идти и брать ее. Мы же, достигнув ее, станем на ней, дождемся и встретим Бонапарта. Так - я бы понял. Но ведь нет у вас впереди такой позиции, в наступление пойдем мы просто сказать, наудачу. Заранее знать можно: будем искать позиции во всем совершенной, без изъяна, а с несовершенных все дальше и дальше отходить. А Смоленск уже брошен. Кто поручится, что, завладев им, Бонапарт дальше двинется? А ежели не двинется? Хороши же мы будем! От мысли такой в оцепенение прихожу. Ясно мне: все погибнет, коли взят будет Смоленск! Барклай качнул головой.

- Коли взят будет Смоленск, Наполеон пойдет дальше! И тогда ничто не погибнет, но все спасено будет, князь!

По лицу Багратиона разлилась мертвенная бледность.

- Итак... отступаем?

- Да.

Багратион вырвал из ножен шпагу до половины клинка и несколько мгновений стоял с зажмуренными глазами. Потом всадил шпагу обратно и, повернувшись с быстротой волчка, выбежал из шалаша. "Бешеный, - подумал Барклай, - совсем бешеный!"

Глава двадцать седьмая

Собравшиеся у Барклаева шалаша генералы Первой армии видели, как Багратион выбежал, вскочил на коня и ускакал. Никто не решился ни о чем спросить его, да и не надо было спрашивать, так как всем все было ясно. Генералы стояли на гребне прибрежной высоты. Лица их были обращены к полыхавшему городу, и громадное зарево так странно освещало их, что близко знакомые черты казались неузнаваемыми. Даже сквозь закрытые веки пробивался ослепительный блеск пожара...

- Триста спартанцев легли в Фермопилах, - воскликнул с отчаянием в голосе граф Кутайсов, - и больше двух тысяч лет хранится о том славная память! Почему же мы...

Его маленькая стройная фигурка вздрогнула, и он замолчал. Командир третьего пехотного корпуса генерал Тучков, человек серьезный и упрямый, с решительной физиономией и тонкими, сердитыми губами, проговорил:

- Это надобно кончить, господа! Я буду один атаковать Наполеона!

Командир четвертого корпуса, живой и бойкий граф Остерман-Толстой, подхватил:

- Почему вы один? Князь Петр Иваныч с охотой возьмет на себя победить или умереть... А мы все под ним готовы...

Ермолов вмешался:

- Надо, господа, прежде знать, как атаковать и откуда...

Он отыскал глазами Толя.

- Скажите ваше мнение, господин генерал-квартирмейстер!

Толь догадался: Ермолов хотел запутать дело, не довести до крайности. И потому сказал не то, что думал в действительности, а то, что должно было немедленно вызвать сомнения и споры.

- Атаковать неприятеля надобно двумя колоннами из города...

Возражения посыпались со всех сторон. И первым заспорил Ермолов:

- Как можете вы, Карл Федорыч, с вашими понятиями, такие неосновательные суждения иметь? Как выведете вы из города две колонны через узенькие его ворота?

- А как вы их развернете у стен под огнем неприятельских пушек? запальчиво наскочил на Толя Остерман-Толстой. - Как успеете подвести артиллерию? Гиль!

- Для атаки надобно переправиться на ту сторону Днепра через форштадт, - твердо выговорил Тучков. - Он ведь еще в наших руках. И оттоль действовать.

Толь чувствовал себя под этим напором нехорошо. Он даже не улыбался. Впрочем, переложить всю тяжесть минуты на Барклая было нетрудно.

- Я об атаке предложил. А о защите Смоленска мысль моя такова, господа: защищать его надобно в одном лишь случае...

- В каком?

- Ежели главнокомандующий согласится всеми силами пойти на французов. Но раз такого намерения у него нет и не будет, то и защищать Смоленск пользы нет, и удерживать его не к чему нам.

То, что сказал наконец Толь, было дельно. Да, без единства в действиях, вразброд, без твердой руки надо всем - наступать невозможно. Генералы растерянно переглянулись.

- Что же делать с главнокомандующим?

Кутайсов выскочил вперед.

- Laissez-moi faire, j'en viendrai a le decider{73}!

- Идите, граф, - сказал Тучков, - идите и говорите от имени всех корпусных командиров! Отступать больше мы не можем и не

будем!

- Не будем! Идите! - закричали все.

Кутайсов давно уже высказал главнокомандующему все, чем хотел пронять его. Маленький генерал был резок, почти беспощаден в выражениях. Прекрасное, открытое лицо его так жарко пылало, он так вольно размахивал руками, что Барклай понял: это генеральский бунт! Дошло до того, что корпусные командиры отказывались повиноваться... Итак, надо или перестать быть самим собой, или... Однако он относился к бунтовавшим генералам без злобы и раздражения, как взрослые относятся к детям, хорошим, но еще не знающим, что огонь горяч и вода в больших реках глубока. И он сожалел, что они этого не знают. Сожаление - теплое чувство. К своему изумлению, Кутайсов увидел, как бледное и суровое лицо Барклая вдруг осветилось выражением кроткой ласки. Но через мгновение Михаил Богданович наклонился над лежавшей на столе картой, и тусклые отблески чадившей лампы заслонили неожиданно проступивший внутренний свет.

- Приказ об отступлении из города и о том, чтобы немедля после этого мост Днепровский истребить, мною отдан и должен быть исполнен. Пусть всякий делает свое дело, граф. А я сделаю свое. Вот ответ мой господам корпусным командирам.

И он поклонился, давая этим знать Кутайсову, что разговор кончен.

- Шалаши сломать! Артиллерию и обозы - вперед! Войскам стать под ружье!

Багратион произнес эти слова на ходу, отрывисто и быстро. Генералы, ожидавшие его возвращения из лагеря Первой армии, ахнули. Опять отступление! Начальник сводной гренадерской дивизии, граф Михайло Воронцов, опомнился первым. На хитро-красивом лице его дрогнула привычная, хотя и несколько смущенная улыбка.

- Ваше сиятельство, - сказал он, - гренадеры отказались менять рубахи до боя!

Слова эти, как и все, что он говорил, были осторожны. Но генералы почувствовали, как много заключено в них смысла и что это за смысл. И сейчас же заговорили, перебивая друг друга. Командир восьмого пехотного корпуса, князь Горчаков, хоть и был племянником Суворова, но, в отличие от своего дяди, всему на свете предпочитал ленивые щи. Однако и он протер заспанно-масленые черные глаза и закричал:

- Да куда ж мы пойдем? Впереди - ни позиции выбранной нет, ни места, где бой принять!..

Горчаков был прав. Раевский махнул рукой. Как и всегда в

минуты сильных разочарований, он испытывал сейчас отвращение к настоящему и холодное равнодушие к будущему. Оставалось сожаление о прошлом. Но желание действовать не рождается из этого печального чувства.

- Feci quod potui, - устало проскандировал он латинский стих. - Faciant meliora potentes{74}!

Сен-При спросил:

- Но что же делать, генерал?

Раевский пожал плечами. Ему было все равно. Вместо него ответил Горчаков:

- Делать надобно так: собрать князю Петру Иванычу всех корпусных командиров обеих армий... Он - старший... Его послушают... После того сменить Барклая и объявить себя главнокомандующим.

Возмущение Барклаем зашло так далеко, что если бы эту мысль высказал не Горчаков, а Кузьма Ворожейкин, стоявший тут же, рядом с другими конвойными казаками, и державший на руках плащ генерала Васильчикова, то и в этом случае она, пожалуй, не вызвала бы возражений. Оставление Смоленска представлялось генералам Второй армии чем-то до самой последней крайности поносным, таким, что уже и сил не было пережить этот позор. Москва, с наседающими на нее французскими полчищами, как нестерпимо горький упрек стояла перед их глазами. А за ней поднималась Россия...

- Сделайте, князь! Смените Барклая! - загремели голоса. - Немедля! Сейчас!

Багратион стоял неподвижно, с опущенной головой. Казалось, будто он застыл в немой покорности. Багратион - и покорность! Мучительное, потрясающее душу недоумение скрывалось за этим столь не свойственным ему видом. "Бунт генералов! - думал он. - И я - во главе его! Что ж? Если требует того польза России, я готов. И на бунт готов, и на то, чтобы стать его предводителем. Но... нужно ли это России?" Разговор с Барклаем странно подействовал на Багратиона. Не будь этого разговора, он решился бы без колебаний. Теперь же не знал, как быть. Пока Барклай скрывал свои истинные намерения, а князь Петр Иванович пытался разгадать их, чувство опережало в нем мысль: ненависть к "квакеру" заслоняла тогда собой все остальное. Но сегодня "квакер" высказался с такой полнотой и ясностью, что враждебные к нему чувства Багратиона почти исчезли, и на первый план выступила смертельно встревоженная мысль, а что, коли прав Барклай? Ополчение - далеко. Бог весть, велико ли оно. Ополченцы - не воины. На горсточке солдат, собравшихся под Смоленском, сосредоточены все надежды России. Умереть - не

мудреное дело. Но если завтра Наполеон раздавит эту горсть, то ведь послезавтра падет перед ним бесславная Россия... Багратион поднял голову, сложил руки на груди и, глядя прямо на генералов, сказал:

- Не могу я сделать этого, други! Гроза смолкла. Посреди пороховых туч еще мелькали огни, но орудийные выстрелы слышались лишь изредка.

Ружейная пальба постепенно превращалась в отдаленный тихий гул. Над городом поднималось светлое зарево, разрезанное на части столбами пламени, похожими на лучи восходящего солнца. Слева горели ветряные мельницы. Охваченные огнем, они все еще продолжали молоть, и крылья их быстро крутились, образуя багровые круги. Направо, по темно-голубому небу, между звездами, рассыпались бураки и ракеты дождем разноцветных искр. В полночь генерал Дохтуров получил повеление оставить город, отступить на левый берег Днепра и взорвать мост, удерживая за собой до времени лишь Петербургское предместье, занятое войсками третьей дивизии генерала Коновницына. Незадолго до рассвета шестой корпус был уже на Большой Московской дороге.

Тогда же выступила и Вторая армия. Багратион решил идти на Пневу Слободу, переправиться там через Днепр и затем двигаться прямо к Дорогобужу. Пехота не спешила, а артиллерия еле тащилась. Хотя орудия были запряжены по три, а зарядные ящики по две лошади, пушки вязли в грязи. Рота Травина по-прежнему привлекала общее внимание: сломанные колеса, перебитые ядрами и еле державшиеся на оковках правила - все это вызывало интерес и внушало уважение. Рука Травина была уже перевязана лекарями, но он отказался идти в лазаретный обоз. Покачиваясь на своем косматом коньке, поручик оглядывался на Смоленск и думал: "Кто скажет, когда Б этом городе снова загудит русская песня, загремит русское "ура"! А когда наконец и загремит оно над могилами павших, дрожь пробежит по старым костям их..." И он сам вздрогнул.

- Я ищу вас, - услышал он голос Олферьева, - был в лазаретном обозе...

"Этакий навязчивый аристократишка!" - мелькнуло в голове Травина.

- Да зачем я надобен вам? Право, мне не до философских бесед!

Но Олферьев не обиделся.

- Слушайте! Во-первых, главнокомандующий прикаˆ зал вернуть вам шпагу. Во-вторых, Фелич убит...

- Что?! - воскликнул Травин.

- Да... Нынче днем он ускакал из полка в город, замешался в свалке под Молоховскими воротами, колол и рубил отступавших драгун и сам погиб. Чего искал, чего хотел этот человек? Тысячи русских мертвецов лежат в Смоленске. И для каждого из их неведомых имен есть на широкой земле нашей сердце, которое помнит его твердо, - в нем и живет мертвый. Лепет детей, что шныряют по крестьянскому двору, грустные вздохи матери или молодицы, доброе слово братьев и друзей - все для него. Сядут за стол, назовут, и покатится слеза с горошину по розовой щеке или по глубокой морщине. А Фелнч? Кому он нужен?

- Ох, ваше благородие! - раздался рядом солдатский голос. - Уж так молвили, что лучше не выдумаешь! Оттого и смерть не страшна нашему брату, что обчая жизнь опосля нас не кончается...

Это сказал Угодников. Взволнованный, с ярко блестевшими глазами, он как бы ловил ускользавшие слова. Травин вздохнул.

- Фелич был странное существо. Мир его праху! Вчера говорили вы, Олферьев, о дружбе... Коли не отдумали, заключим конкордат. Вы - хороший человек, Угодников - хороший человек, - с хорошими людьми приятно ьсти дружбу. Вот мое предложение: дружба втроем!

Олферьев посмотрел на него с изумлением и пробормотал:

- Est il possible que vous faites cette offre serieusement? A ce qu'il me parait, vous badinez, mais il n'y a pas a plai-santer la-dessus. Nous sommes des officiers{75}...

- А Угодников - всего лишь канонир? Но меня это не смущает нисколько. Впрочем, я действительно пошутил. И может быть, неудачно. Il faut garder 1'equilibre entre le trop et le trop peu meme dans, la plaisanterie{76}. Однако ведь я тоже был раньше Феличем. И немножко остался им навсегда. Простите меня, Олферьев... Вот вам рука моя - на дружбу!

Позади своих войск ехал Багратион, грустный и рассеянный, окруженный молчаливыми и хмурыми адъютантами. За спиной армии опять начинала погромыхивать пушечная пальба, - французы возобновили нападение на Смоленск, и третья дивизия Коновницына принимала последний бой. Огонь ширился и полз вверх по реке: наконец французские батареи загремели на противоположном берегу Днепра. Река была узка в этом месте, ядра засвистели над головами Багратиона и его свиты, но князь Петр Иванович даже и не заметил их, Олферьев подскакал к свите.

- К князю! - встретили его сдержанные голоса. - К князю! Он спрашивал...

Корнет догнал главнокомандующего. Лицо его было так

печально, что сердце у Олферьева сжалось.

- Что же мы делаем, Алеша?

- Мне стыдно... стыдно, ваше сиятельство, - горячо прошептал корнет. Мы превратили Смоленск в обиталище ужаса, смерти, отчаянных бедствий и уходим... Куда?

- Куда? - переспросил князь.

- Во мрак проклятой ночи, среди которой бредем сейчас...

Олферьев хотел сказать еще много, но конь его сделал внезапный прыжок. В лицо корнета плеснулась струя холодного воздуха, быстрый и оглушительный свист пронесся мимо головы. Он еле усидел в седле. "Ранен!" Он хотел выговорить это слово, но вместо того, медленно опрокидываясь назад, простонал:

- О-о-о!..

Кривые и тесные смоленские улицы пылали. Курясь едким дымом, тлелся бревенчатый накатник мостовых. Крутой ветер взвевал кверху огарки и горячую золу. На одной из батарей Петербургского предместья, где еще шел бой, стояли цесаревич Константин Павлович и генерал Ермолов. Алексей Петрович выпрямился во весь свой могучий рост и протянул руку по направлению к городу. Сюртук его распахнулся. Редкая красота на минуту сделалась поразительной. И он проговорил слегка дрожащим голосом:

Кто вверг отчизну в море зла,
Свел с неба мстительные кары?
Кому нужны врагов дела,
Война и гибельны пожары?

Глаза Константина Павловича гневно сверкнули из-под соломенных бровей.

- Все - Барклай, любезный друг! - прохрипел он. - Проклятый халдей! А теперь еще не желает, чтобы я служил с вами. Гонит меня из армии. Ему нож вострый, чтобы делил я с вами опасности и славу. Канальство!

Они уже оставили батарею и шли по улице. Лабазы, в которых прежде складывали пеньку и лен, были завалены ранеными: перед порогами мутно рдели лужи красной воды, вылитой фельдшерами из тазов после обмывки ран. Из лабазов раздавались крики и стоны. Цесаревич и Ермолов заглянули внутрь. Глазам их представилась страшная картина. Раненые сидели, лежали, стояли. Лекаря в белых фартуках с засученными выше локтей рукавами мундиров метались между ними, орудуя, как мясники на бойне. Испарения, висевшие в воздухе, были так тяжелы и удушливы, что цесаревич сейчас же выскочил на улицу.

- Все - Барклай! - злобно сказал он, задыхаясь от возмущения. Несчастье для России! Но я еще покажу себя этому

халдею! Даром не разойдемся мы!

Он вдруг захромал, передразнивая Барклая, и в самом деле чем-то стал на него похож. Ермолов засмеялся.

От левой стороны догоравшего моста французы вброд перешли Днепр и огородами, конопляниками и садами выдвинулись до кладбища. Егерские полки третьей дивизии генерала Коновницына были спрятаны в кладбищенских сараях. Начальник дивизии, худенький, растрепанный, с серым, изможденным лицом и большими ясными глазами, сам распоряжался огнем.

- Каждый стрелок, ребята, должен знать, - говорил он, суетливо перебегая от одной кучки егерей к другой, - сколько пуль у него в суме, сколько смертей несет он на себе неприятелю. Ни одного выстрела даром...

Егеря жестоко били французов прицельным огнем. Но гранаты уже рвались над сараями, и скоро сухие дощатые крыши и стены их начали загораться. Тогда Коновницын вывел стрелков наружу, крикнул: "В штыки!" - и, размахивая шпагой, побежал впереди. Дело вышло короткое, но жаркое. Еще не забрезжило утро, как не только кладбище, но и все Петербургское предместье было очищено от неприятеля.

Этот бой, который ничего не мог изменить в судьбе Смоленска, "был нужен Первой армии, чтобы спокойно выйти по левому берегу Днепра в гору, за петербургский шлагбаум, и оттуда спуститься на равнину. Армия уходила медленно. Впотьмах слышались голоса и брань офицеров, которым никак не удавалось правильно построить колонны. Полчанинов носился в этой суматохе на своей Сестрице, тоже кричал и тоже бранился, приказывая пехоте не разбивать рядов, ездовым при орудиях тянуть дружно и ровно... Вдруг бесконечная вереница бричек и тарантасов, доверху заваленных военным добром, скрипучих крестьянских телег и какого-то пешего народа с котомками и мешками загородила гренадерам путь. Бабы сидели на телегах, унимая вопли грудных ребят. Мужики, опустив головы, шагали обок с худыми лошаденками. У Полчанинова опустились руки и пропал голос. Это были беженцы из Смоленска и пригородных сел. Обычно войска бывают нетерпеливы в подобных случаях, - не любят они, когда на трудном марше их возникают препятствия. Но на этот раз было иначе. Никто не приказывал солдатам, никто не учил их: ряды сами раздвигались, пропуская обозы. Даже артиллерия с грохотом принимала в стороны, и орудийная прислуга пособляла мужикам выпроваживать с дороги застрявшие на ней тяжелые телеги. Армия уважала народное несчастье!

- Всю Россию с места согнал! - говорил Трегуля-ев. - Вишь,

чего достиг! Да уж известно: сел червяк на вилок - всей капусте пропасть! И-и-их, лихо его задави!

- Шутку, братец, шути, а людей не мути! - пробовал его урезонить фельдфебель.

Однако голос Ивана Иваныча звучал и нестрого и неубедительно. Его душа тоже возмущалась происходившим. Да Трегуляев и не шутил вовсе. Старынчук слушал все это и мотал на ус...

За Смоленском открывалась Россия - широкое раздолье чернозема, безбрежное море золотых полей, испещренных коричневыми пятнами пара, березовое мелколесье на горизонте да двойные линии истерзанных зимними бурями ракит вдоль большаков. Было жарко, ветрено и пыльно. Жажда мучила людей и лошадей. Кони яростно тянулись горячими мордами к воде встречных ручьев, но пить с удилами во рту невозможно, и они приходили в бешенство. Солдаты засовывали кивера под мышки, а головы покрывали платками и листьями. От пыльных вихрей и бивачного дыма у многих покраснели и начинали слезиться глаза.

Войска были ужасно утомлены. Под резкие высвисты флейт пехота засыпала на ходу, - люди валились, задевая друг друга, целыми десятками. Кавалерия спала, сидя на конях. И все это - не столько от длинных переходов, сколько от беспрестанных остановок, неизбежных при движении большого числа войск по одной дороге. Солдаты поистрепались. Вместо форменных панталон то и дело встречались разноцветные, кое-как залатанные и бог весть где добытые штаны. Портупей давно уже никто не белил, и оттого сделались они желто-бурыми. Впрочем, на это не обращалось внимания. Следили только за исправностью ружей, - следили все, от генерала до последнего фурлейта{77}. Позади армии тянулись тысячи сухарных фур и лазаретных повозок.

Гул орудий вблизи поднимает дух, а издали наводит уныние. Настроение войск было самое грустное. Солдаты подходили к верстовым столбам, расставленным у дорог, и читали вслух:

- "От Москвы триста десять верст".

Цифры подхватывались, бежали по рядам и через несколько минут разносились по полкам, дивизиям и корпусам Дорогобуж, Вязьма - исконно русские названия эти хватали за сердце.

- Вязьма-городок - Москвы уголок!

Не было ни одной роты, ни одного эскадрона, где с серых от пыли, сухих от зноя и усталости солдатских губ не срывались бы грозные в смутном значении своем фразы:

- Русаки-то - не раки, задом пятиться не любят! Ой, неладно

затеял "он"!..

Привал! Вмиг отвязаны котлы, и кашевары бегут за водой. У кухонь уже режут скот на говядину. Солдаты разбирают сараи, заборы и клуни, - без жердей, соломы и дров плох бивак. Из жердей, переплетенных соломой, вырастают козлы. В кавалерии разбиваются коновязи.

Лошадей не расседлывают, - только отпускают подпруги, отстегивают, мундштуки да вешают через головы торбы с сеном. Получаса не прошло - и бивак готов! Люди сидят вокруг огней, жуют и толкуют. Но о чем бы ни зашла солдатская речь, она неизменно сходит на "него".

- Эх, горе луково! - воскликнул Трегуляев. - Дело-то какое! Живот постелил, спиной накрылся, в головы кулак, а под бок и так. Коли высоко два пальца спусти. Слышь, Влас? Учись, братец! Что ж, Иван Иваныч, только нам теперь и осталось ходу, что с моста да в воду?

Брезгун развел усы. Он понимал, куда клонит Максимыч, и ответил по существу:

- Откуда знать? Может, у "него" от ума это идет? Аль замыслил что? По уму у "него" нехватки нет...

- Ум, Иван Иваныч, разумом крепок. А где же разум, когда Влас "его" на кусочки разнесть охоч! И всех до того довел. С хвоста идет начало, - стало быть, голова - мочало. Горбатого к стене не приставишь. Взялась за Расею нежить окаянная. Верно сказывали деды: не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь. Выслужили себе главнокомандующего!

До Рудни и Смоленска Брезгун не вытерпел бы и десятой части этаких речей. А теперь молчал, опустив голову. Трегуляев махнул рукой, обтер рот и поднялся из-за каши. Быстрый глаз его заметил, что карабинеры соседних взводов отыскали на ближнем полу одну из тех ям, в которые крестьяне, уходя в леса от французов, зарывали картофель, и уже немалой толпой сгрудились возле находки. Картофель в таких случаях выгребали прямо в полы шинелей. Трегуляев всунулся в очередь. Но дело затягивалось, картофеля в яме становилось все меньше - ждать было скучно, да и надежда получить долю терялась. Карабинер выпучил глаза и крикнул отчаянным голосом:

- Князь едет! Князь!

Под "князем" в Первой армии разумелся цесаревич, строгий и взыскательный ко всякому наружному беспорядку. Солдатская толпа без оглядки брызнула в стороны. Того и надо было Трегуляеву. Яма лежала перед ним, заманчиво розовея картофельной грудой. Он не спеша прыгнул вниз и принялся набивать добычей карманы.

- Стой - не шатайся, ходи - не спотыкайся, - с ухмылкой бормотал он при этом себе под нос, - говори - не заикайся, ври - не завирайся...

Благополучие его нарушилось самым неожиданным и неприятным образом.

- Князь! Князь едет!

Трегуляев, уверенный, что его пугают, так же как он только что испугал других, не торопясь, поднял голову. По дороге к биваку карабинерной роты, верхом на огромной чалой лошади, с небольшой свитой, ехал цесаревич Константин Павлович. Брови его были насуплены. Лошадь ступала возле самой картофельной ямы с вытянувшимся на дне ее солдатом, а он даже и не взглянул ни на яму, ни на солдата. Между тем из роты уже заметили его приближение. Взводы развертывались в стройные ряды, и громкие командные окрики доносились до Трегуляева. Карабинер выскочил из ямы и, подоткнув за пояс тяжелые шинельные полы, пустился бегом вкруговую к своему месту.

Цесаревич угрюмо поздоровался с солдатами и молча проехался вдоль строя. Левая рука его с бессознательной жесткостью вела повод, и громадный чалый конь щерился, роняя изо рта куски белой пены и порываясь ухватить седока за ногу. Помолчав и о чем-то подумав, Константин Павлович хрипло заговорил:

- Плохо, друзья! Но что делать? Не мы виноваты... Больно, очень больно, до слез... А надобно слушать того, кто командует нами... И мое сердце не меньше ваших надрывается... Не верю в доброе... Старые мои сослуживцы! Душа в "нем" не наша, - вот грех! Что ж делать?..

Он еще долго говорил в этом роде. Потом кивнул головой, еще гуще насупил брови и, круто повернув коня, поехал прочь от роты. Старынчук продолжал стоять так же неподвижно, как стоял, слушая речь цесаревича. Он был смертельно бледен, колени его дрожали, ярость подступила к горлу и сжала его душным, как собачий ошейник, кольцом. Все то верно, за что ненавидел он Барклая... Это уж не солдатские разговоры. Все то верно, раз сказал о том брат царя. Старынчук повел глазами, и увидел такие же, как у него самого, бледные, изуродованные гневом лица. Картошка давно уже высыпалась из шинели Трегуляева, а он и не почуял того. Чье-то ружье, дребезжа ложем, ударилось оземь. Кто-то громко всхлипнул.

Лазаретный обоз остановился среди черного леса, на узенькой и грязной, покрытой лужами дороге, у бревенчатого частокола, которым обнесен был старинный скит. В деревянной церквушке монахи отпевали только что умершего от ран генерала

и нескольких штаб-офицеров. Лазаретные фурлейты и монастырские служки наскоро копали могилы - огромные ямы, в каждую из которых можно было уместить не менее трех десятков трупов. Другие вынимали мертвецов из полуфурок, освобождая вакансии для живых. Воздух был полон стонов, криков, просьб и проклятий. Из низенькой трапезной послушники тащили на шестах котел с гречневой кашей. Кругом церкви собирались в кучи легко раненные офицеры. Длинный пехотный поручик говорил:

- Помилуйте, господа, да что же это такое? Сперва без толку бродили у Смоленска, чуть его даром не отдав. Потом - смеху подобно - один только наш корпус на холмах... Итальянская опера! Наконец отбились... Но тут-то и бросили вовсе Смоленск... А? Что же это, господа, такое, я спрашиваю?

И он колол своих слушателей злыми глазами.

- От Смоленска пошли было по Петербургской дороге. Чудо, что армию не потеряли...

- Дрянь дело! - воскликнул тоненьким голосом розовый артиллерийский прапорщик. - Россияне - народ храбрый, благородный, созданы драться начистоту, а не глупой тактике следовать...

- Я вас спрашиваю: что же это такое?

- И спрашивать нечего, - уверенным басом отвечал рыжий драгунский капитан, - преданы мы врагу! Изме-на-с! Вот что это такое!

Олферьев был сильно контужен ядром в бедро. Оно распухло и посинело. Лекаря с тревогой высматривали в покрывших его белых пузырях зловещие признаки антонова огня. Боль и лихорадка жестоко томили Олферьева, он то и дело забывался и начинал бредить. К счастью, близкое положение к Багратиону и заботы князя Петра Ивановича спасали его от многих общих неудобств. Он ехал не в обыкновенной лазаретной фуре, заваленной ранеными и скончавшимися на переходе, а в тарантасе, хотя и открытом, но широком, спокойном и пустом. Не осушавший глаз старый дядька Никанор громоздился на козлах рядом с возницей. Олферьеву мерещилась большая черная баня, - такие бывают в уездных городках, и моется в них простонародье. В бане было ужасно жарко, и Олферь-ев задыхался от этой жары. К потолку, словно окорока в печном ходу, были подвешены сухие, коричневые люди с выпученными, дикими от боли и страха глазами, - их коптили к пасхе. И Олферьев знал, что его тоже сейчас подвесят, а если еще не подвесили, то потому только, что кого-то не хватает. "Кого не хватает?" - спросил он Травина. "Да, да, - отвечал тот, - не хватает еще одного аристократа - фон

Клиагфера,,." Нов этот момент появился Клингфер, бледный и худой. Его поддерживали два лазаретных солдата. На забинтованном правом плече из-под перевязки виднелись окровавленные лубки.

- Сюда господина офицера поместите, - приказывал солдатам лекарь с Анной в петлице, - коляска большая... Да осторожней, чертяки!.. Вдвоем завсегда веселее бывает, отчего и здоровью польза...

Олферьев хотел возразить. Но для возражения не сыскалось ни слов, ни сил. Клингфер отшатнулся было от тарантаса, однако ловкие солдатские руки уже подняли его и положили рядом с Олферьевым.

- Вот и славно! - сказал лекарь. - Салфет{78} вашей милости!..

Глава двадцать девятая

С самого выступления из Смоленска полковник Толь почти не слезал с лошади. Затруднительность положения, в котором он находился, нисколько не уменьшила его энергии. Наоборот, именно в бурной деятельности отыскивал он спокойствие и уверенность в своем будущем. У Толя был немилосердный иноходец - очень маленький, длиннохвостый, светло-серой масти, за которым ни один офицер квартирмейстерской части, даже на самом лучшем кровном коне, угнаться не мог. На этой лошади полковник каждые сутки делал не менее сотни верст, отыскивая подходящие позиции для генерального боя. И квартирмейстерские офицеры скакали за ним.

Полковник отлично знал, что все эти поиски позиции ни к чему, так как Барклай по-прежнему уклонялся от встречи с Наполеоном. И если главнокомандующий требовал от Толя готовых позиций на пути отступления, то для того только, чтобы создавалась видимость его воли к решительному отпору. Толь с поразительной неутомимостью поддерживал необходимую для главнокомандующего видимость решительных действий. Не будучи обманут, он, однако, этим как бы ставил себя в один ряд с обманутыми, делался, как и они, жертвой Барклаева двуличия, отгораживался от своего покровителя и приобретал право вместе с другими бранить его. Из таких-то важных соображений и вытекала его бешеная деловитость. Армии приходили на выбранную им позицию, занимали ее несколько часов и затем шли дальше. Пустая энергия Толя жестоко утомляла его подчиненных. Но требовательность его была беспощадна и не допускала возражений. Впрочем, иной раз и он позволял себе сказать с тонкой улыбкой:

- Знаем и сами, что кривы наши сани. Эхма!

Толь любил русские поговорки и употреблял их всегда вовремя и к месту. Но, бросая этот камешек в огород Барклая, он думал: "Das ist ein Land, da ist nichts anzufangen".{79}

Под Дорогобужем выдалась редкая минута, - деятельный полковник сидел в своем шалаше на сбитой из неоструганных досок походной кровати и отдыхал, расстегнув сюртук и с наслаждением затягиваясь кнастером.

- Я очень рад, полковник, что застал вас, - сказал, входя в шалаш, обезьяноподобный Барклаев адъютант, граф Лайминг. - Очень также хорошо, что вы один.

Такое вступление и таинственный вид Лайминга чрезвычайно подзадорили любопытство Толя, поэтому он постарался ответить самым равнодушным тоном:

- Милости просим, любезный граф! Коротать скуку отдыха одному - вдвойне скучно. Только эгоисты могут думать иначе.

"Ах, как умен!" - подумал Лайминг и заговорил еще таинственнее:

- Я пришел, чтобы поделиться с вами крупнейшей новостью. Полагаю, что лучшего конфидента мне не найти. В уплату за откровенность требую совета! Граф оглянулся. - Новость сбивает меня с толку. В Петербурге я знал бы, что делать. Но здесь...

- Ум - хорошо, полтора ума - лучше.

- Справедливо! К тому же мы находимся приблизительно в одинаковом по затруднительности своей положении Vous etes oblige de m'enipecher de faire une betise{80}. Мы оба пользуемся милостивым вниманием нашего достойного генерала Барклая де Толли...

Полковник начинал понимать, в чем дело. - Покамест отыскиваю по его приказаниям позиции для армии, - сказал он, выпустив изо рта совершенно круглое кольцо табачного дыма, - он, кажется, окончательно потерял свою собственную позицию...

"Ах, как умен!" - еще раз подумал Лайминг и быстро вынул письмо из-за лацкана мундира.

- Слушайте!

Толь закрыл глаза. Немецкие фразы письма приятным звоном отдавались в его ушах. Петербургский дядюшка Лайминга, состоящий воспитателем молодых великих князей, - человек, близкий ко двору, с влиянием, весом и возможностью осведомляться о ходе государственных дел из самых первых рук, пользовался вернейшей оказией, чтобы сообщить племяннику кардинальную новость момента. Барклай смещен. Главнокомандующим всех русских армий назначен одноглазый Голенищев-Кутузов. Дело не прошло гладко. Вот подробности. Вопрос решался в комитете из шести главнейших сановников

империи. Никто из них не оспаривал необходимости заменить Барклая, а о кандидатах в главнокомандующие сильно спорили. Назывались имена Багратиона, Беннигсена, Тормасова. Но в конце концов остановились на Кутузове. Единогласное решение это очень не понравилось императору, - он не желал Кутузова. Подписывая приказ, он сказал, как некогда Понтий Пилат: "Я умываю руки!" Самоотречение этого прекрасного императора пошло еще дальше, - он предоставил новому главнокомандующему полную свободу действий и отказался от своего несомненного права вмешиваться в его распоряжения. Под этими условиями Кутузов принял назначение и уже выехал к армии.

Прочитав все это, Лайминг аккуратно сложил письмо и посмотрел на Толя. У полковника был такой довольный вид и такая блаженная улыбка гуляла по его губам, что граф изумился.

- Как?! - воскликнул он. - Вас не тяготит перспектива лишиться нашего достойного Барклая? Я не знаю Кутузова, но знаю, что для меня он не будет вторым Барклаем. Я хочу проситься в строй. Посоветуйте же мне, ради бога!

- Хм! - сказал Толь. - Строй, несомненно, нуждается в таких отличных офицерах, как вы, граф! А что касается меня - мое положение отнюдь не схоже с вашим. Кутузов и для меня не будет Барклаем, но он будет Кутузовым, - и мне больше ничего не надо. Я был кадетом Сухопутного корпуса, когда он был директором и любил меня, как сына. Однако почему мы говорим об этом назначении лишь применительно к нашим собственным делам? А армия? А Россия? За месяц мы очутились позади Смоленска. Как же не пробежать неприятелю в десяток дней трехсот верст до Москвы, покамест главнокомандующие будут спорить и переписываться о Поречье и Мстиславле? Кутузову не надобно будет ни спорить, ни переписываться. Правда, он стар. Что ж? Мы попробуем гальванизировать его дряхлость... У нас нет недостатка в энергии. Промахи и порицания мы отдадим ему, - его славное имя не боится их, - а успехи и похвалы по справедливости возьмем себе. Армия узнала Толя полковником, - в пышных эполетах он будет героем всей России. Мы сломаем сопротивление везде, где оно встретится, обломаем крылья Багратиону, обрубим хвост Ермолову...

Толь уже не сидел. Он стоял посредине шалаша, возбужденно радостный, розовощекий, пышущий здоровьем и силой, и широко разводил рукой, в которой еще дымилась трубка со сломанным пополам чубуком.

- Das ist ein schones Land, da ist alles anzufangen{81}. И он громко и визгливо рассмеялся.

У села Федоровки, почти под самым Дорогобужем, отыскалась наконец позиция, вполне подходившая для генерального сражения. По крайней мере генерал-квартирмейстер именно так говорил о ней Барклаю:

- Das ist eine starke Position{82}!

Собственно говоря, позиция эта обладала такими крупными недостатками, что и сильной не была, и для генерального сражения не годилась. Толь знал эти недостатки, но был совершенно уверен в том, что Барклай, последовательно уклонявшийся до сих пор от боя, меньше всего собирается давать его теперь, накануне своей смены, о которой, вероятно, уже имеет сведения. Маленькая комедия с позицией у села Федоровки никому и ничему помешать не могла. Приказано найти позицию, - Толь нашел ее. Надо, чтобы она считалась сильной? Пожалуйста: das ist eine starke Position! Так думал Толь.

А Барклай думал совсем иначе. Действительно, ему уже было известно о назначении Кутузова. С приездом нового главнокомандующего заканчивался целый период великой войны, связанный с именем Барклая. Много горьких часов и дней пережил Михаил Богданович за это время. Ненависть войск угнетала, оскорбляла, мучила его нестерпимо. Тридцать лет боевой дружбы с русским солдатом шли насмарку. Клевета и народное презрение были единственной платой за верность и преданность. И не находилось до сих пор никакого средства, чтобы помочь беде. Только теперь, когда новый главнокомандующий уже ехал в армию, а Барклаю оставалось командовать всего лишь несколько дней, открылось такое средство. Теперь можно было наконец пойти на то, чего так страстно хотелось и армии и народу. В эти последние дни Барклай был готов встретиться с Наполеоном. Будет успех - не он поведет войска к новым победам. Будет поражение - не он соберет и укрепит разбитые силы. Надо было решиться на бой, чтобы имя полководца Барклая не оказалось связанным навеки с одними лишь отступательными маневрами предусмотрительного и осторожного ума. Прежде чем покинуть армии, Михаил Богданович хотел оправдаться в их глазах. Единственным средством был генеральный бой.

- Eine starke Position! - говорил Толь.

- Покажите мне эту позицию, Карл Федорович, - сказал Барклай. - Я осмотрю ее вместе с князем Багратионом.

Он никогда не просил, - он приказывал. Но приказательная форма редко подкреплялась у него соответствующим тоном. По отношению к Толю он, сверх того, и не хотел быть повелительным. А между тем именно от этого разыгрывалось

самолюбие полковника и странно раздражалась его заносчивая мысль. Он поклонился с холодной улыбкой.

Десятого августа оба главнокомандующих и цесаревич, со штабами и свитами, выехали на осмотр позиции. Покачиваясь впереди на своем сером иноходце, Толь давал пояснения. Его плечистая фигура, быстро поворачивавшаяся в седле то туда, то сюда, загораживала собой места, о которых он говорил. Но он не замечал этого. Несколько раз Багратион ударял серого иноходца нагайкой по репице, - Толь оглядывался, прикладывал пальцы к киверу и снова заслонял своей спиной весь горизонт. Давно уже этот самоуверенный и нагловатый человек не нравился князю Петру Ивановичу. И даже во внешности его было много такого, что Багратион находил противным, - и сытая розовость, и вечная улыбка с оттенком надменности, и голос, отрывистый и грубый.

- Эко время наше, ваше высочество, - прошептал князь Петр цесаревичу. Тот и молодец, кто плут и наглец!

Константин Павлович взглянул на Толя и, соглашаясь, кивнул головой.

- Однако, Карл Федорович, - сказал Барклай, - эго вовсе не сильная позиция. Возвышенность на правом фланге приходится как раз против продолжения первой линии наших войск. Это означает, что французы вдоль всего фронта нашего могут бить...

- Можно занять возвышение редутом, ваше высокопревосходительство, отвечал Толь, - и неудобства не будет.

- Да, можно поставить там редут. Но озеро помешает нам поддерживать редут войсками. Придется сразу отрядить туда много пехоты и артиллерии, чем лишим их участия в общем бое. А ежели их вытеснят оттуда, то где путь безопасного для них отступления?

Толь не ожидал ничего подобного. Барклай критиковал позицию самым обстоятельным и глубоким образом, - так, как он один только и умел. Генерал-квартирмейстер покраснел от досады. Во-первых, он не понимал смысла этой привязчивости, во-вторых, критика непоправимо подрывала его репутацию самого ученого и знающего штабного офицера в армии. И это происходило за несколько дней до приезда нового главнокомандующего! Вероятно, Барклай не подозревает, что судьба его уже известна Толю. Надо было сейчас же покончить с этим нелепым и до крайности невыгодным положением. Барклай должен получить резкий и твердый отпор, тогда он поймет всю запоздалость и ненужность своих придирок. Толь быстро перебрал пальцами ремни уздечки и мундштука. На лице его явственно проступило выражение надменного и дерзкого упрямства.

- Лучшей позиции, чем эта, не может сыскаться, ваше высокопревосходительство. Не знаю, чего вы желаете от меня. Я выбрал позицию со всей тщательностью, - следовательно, в ней нет и тех недостатков, о которых вы говорите.

"Я выбрал", - он с особенной округлостью и твердостью выговорил это "я".

Багратион внимательно прислушивался к разговору главнокомандующего с генерал-квартирмейстером. Барклай был прав: позиция никуда не годилась. Князю Петру живо представилось, какие бессмысленные ошибки в ве" дении боя были бы неизбежны, если бы армия заняла ее. Сколько жертв, крови, страданий и потерянных шансов на успех! Честь Барклаю, что заметил оплошность любимца своего и не скрыл ее, как бывает! Здесь нельзя давать боя. Умен Барклай! Но Толь - что за птица! И как скоро сменил покорность на неслыханную дерзость, с которой защищается! Спроста ли? Нет, конечно! Пронюхал - и полез оскорблять. Впечатлительность Багратиона больно страдала. И вдруг, как порох, вспыхнул в нем жаркий гнев. Он с такой силой дал своему коню шенкеля и шпоры, что тот прыгнул вперед и зашатался, наскочив на серого генерал-квартирмейстерского иноходца.

- Как смеешь ты так говорить, полковник? - в бешенстве крикнул Багратион. - И перед кем? Перед братом своего государя... Перед главнокомандующим... Ты... мальчишка... Знаешь ли, чем пахнет это? Белой сумой! Солдатской рубашкой! В ранжир тебя!..

Он с размаху ударил кулаком по шее своего коня, резкий профиль его четко обозначился на фоне согретого солнцем светлого неба. Словно орлиная голова выглянула из-под шляпы с разноцветным перьем.

Кругом было тихо. Барклай неподвижно сидел в седле со спокойным, почти равнодушным лицом. Цесаревич осадил своего чалого в толпу свитских офицеров. Толь побелел. Приложив пальцы к шляпе, он так вытянулся, что мог сойти и за худенького. Еще мгновение - и по лицу его побежали крупные, прозрачные слезы. Багратион повернулся к Барклаю.

- Вы правы, Михайло Богданыч! И по мнению моему, позиция здешняя гиль. Боя давать нельзя тут. Жаль очень, что завели нас сюда. Приходится отступать! Не мешкая, будем к Гжати двигаться. Там Милорадовича с подкреплениями дождемся, а уж потом станем биться порядочно. Далее - ни шагу.

Барклай молчал. Как он мог сказать "да" или "нет", когда, по-видимому, не он уже будет и командовать в Гжатске? А выговорить во всеуслышание этот последний резон - трудно. О,

как трудно! Вот если бы помог кто... Это сделал Багратион. Он все понял. И поняв, словно вынул из кармана и на стол положил:

- Может в Гжать и новый главнокомандующий прибыть... А впрочем, как вам, Михайло Богданыч, угодно!

И он с такой открытой улыбкой посмотрел кругом, что и Барклаю, и цесаревичу, и Ермолову, и даже Толю показалось, будто, глядя прямо в лица единомышленников и врагов, хочет он влить в них частичку своей простой и честной, прекрасной души. Барклай наклонил голову.

- Едва ли в Гжатске распоряжение будет еще мне принадлежать, господа.

Он вернулся к дежурному генералу Кикину.

- Тотчас повеление дайте к отходу на завтра в четыре часа поутру.

На обратном пути Ермолов подъехал к Толю.

- Как же это вы, Карл Федорыч? Ошиблись - пустое. А зачем в драку кинулись?

Толь поднял на него угрюмый взгляд и ответил по-французски, чтобы не понял Багратион:

- S'il n'y a pas de position, il faut en faire tine. C'est mon metier faites le votre aussi bien{83}.

Глухие раскаты канонады доносились из арьергарда: это Платов удерживал натиск французских войск, рвавшихся к Москве.

"Завтра же буду проситься в строй", - подумал Толь.

В Дорогобуже было всего две улицы, пересеченные переулками и застроенные низенькими деревянными домиками. Середину города, вплоть до реки, занимала широкая площадь, поросшая травой и цветами. Днем на ней мирно паслись коровы и гуси. А сейчас, в темный и ненастный вечер, предвещавший скорое наступление ранней осени, по площади этой проходили войска. Главнокомандующий пропускал мимо себя сводную гренадерскую дивизию Первой армии.

Жители покинули город. Завтра надвинется на него арьергард, еле отбившийся от французов. Вспыхнет Дорогобуж, и останутся от него одинокие трубы да обуглившиеся стропила. Так погибло в огне уже немало мелких городов, через которые отступала армия. Теплый и удобный ночлег мог бы найти враг в тысячах домов, обжитых многими поколениями русских людей. И не нашел! Никто не сомневался в том, что так лучше, что именно так и надо. Но эти картины разрушения жизни, чужой и вместе - близкой, ожесточали отступавшую армию не только против французов, но и против Барклая.

Шел дождь, холодный и частый. Ветер с яростью разносил

косые полосы воды и швырял их прямо в хмурое, бледное и усталое лицо главнокомандующего. Барклай стоял с двумя-тремя адъютантами у окраины дорогобужской городской площади. Плащ развевался на нем, как знамя, то прикрывая, то обнаруживая тусклый блеск бриллиантовой звезды. Если бы он не придерживал рукой большой генеральской шляпы, ее давно снесло бы. От многолюдной главной квартиры его, как часто бывает в подобных случаях, почти никого не осталось. Но ни дождь, ни внезапное нерадение адъютантов, ни усталость - ничто не могло смутить его спокойствия. Войска тянулись мимо нестройными, глухо-шумливыми рядами. Барклай знал, как надо понимать это: солдаты не хотели больше видеть в нем главнокомандующего. Однако от времени до времени он говорил:

- Здорово, ребята!

Приветственные слова эти падали в мокрую темь и замирали в ней без отзыва. Солдаты не хотели отвечать на них. Только всплески разговоров в рядах поднимались выше.

- Вишь ты, - издевался над главнокомандующим Трегуляев, - долго молчал, ум копил, а молвил - и слушать нечего! "Здорово, ребята!" Учила нас мамка, учила и лямка, - не от таких слыхивали. А ты бы ему, Влас, рыкнул: не лезь, мол, дядя, с дождя в воду!

Если бы Трегуляев знал, что совершалось в Старын-чуке, он бы не подзадоривал его "рыкнуть". Копившаяся в рекруте с начала отступления злоба против человека, который бегом тащил армию прочь от врага, жгла его сердце. Он шагал по лужам, не глядя под ноги и не разбирая, куда приходился истоптавшийся на бесконечных маршах дырявый сапог. Пропаленная у бивачных костров шинель душила его своим высоким и тугим воротником. И, поравнявшись с местом, где стоял главнокомандующий, Старынчук крикнул:

- Ат, покарай бог, изменщик!

Шум и разговор в солдатских рядах смолкли. Барклай сделал шаг вперед. Адъютанты его кинулись к карабинерной роте. Раздалась команда:

- Стой! Смирно!

Искали Старынчука. В темноте вечера, может быть, и не трудно было бы ему замести свой след. Трегуляев уже несколько раз многозначительно толкал его в спину. Но Старынчук вовсе не хотел скрываться, - он вытянулся перед графом Лаймингом и отчетливо проговорил:

- Я сказувал, ваше благородие!

Глава тридцатая

Доложив необыкновенное дело гренадера Старынчука,

дивизионный аудитор опустил руки по швам и замолчал. Это был долгоносый чиновник, в черном мундире, с лицом переодетого иезуита. Подготовляя дело к докладу, он совершенно не думал ни о Старынчуке, ни о том, почему Старынчук оскорбил главнокомандующего, ни о самом главнокомандующем. Зато над фактической стороной дела он очень добросовестно поработал, и в постановлении суда, которое было им составлено, излагалась подробнейшим образом вся история рекрута. Поэтому аудитор решительно не понимал, почему один из членов суда, дивизионный квартирмейстер, прапорщик Полчанинов, не только заявлял при судоговорении какое-то особое мнение, но еще и отказался подписать приговор. Есть подписи презуса, членов суда, самого аудитора, а подписи Полчанинова нет. Впрочем, обстоятельство это ничего не меняло в итоге дела. Преступление было так чудовищно, что, по регламенту Петра Великого, полагалась за него смертная казнь четвертованием. Суд приговорил Старынчука к отсечению головы, согласно артикулам императрицы Анны. Но, в соответствии с подобными случаями, имевшими место после 1740 года, аудитор полагал, что начальник дивизии, которому принадлежало право конфирмации приговора, мог заменить его простым расстрелянием.

Принц Карл Мекленбургский взял перо и задумался. "Das ist schreicklich{84}! Без науки побеждать можно, а без дисциплины - никогда! С такими солдатами, как Старынчук, нельзя победить Наполеона. Хорошо ли я сделал, что связал свою судьбу с армией и народом, которые не могут быть победителями?" От этой досадной мысли у принца возникло такое ощущение, как будто горчица подступила к носу. Это происходило с ним довольно часто вероятно, от полнокровия. Тогда он закрывал глаза и отчаянно махал рукой, как делают обыкновенно люди, чихая. Нечто подобное случилось с ним и теперь, в ту самую минуту, когда он собирался конфирмовать приговор. Наконец приступ щекотания в носу кончился. Принц раскрыл глаза и увидел на пороге шалаша чернявую фигуру полковника князя Кантакузена и робко ступавшего за ним прапорщика Полчанинова. Полковник был взволнован, смуглое лицо его пылало, и он прямо с порога, без всяких обиходных церемоний, шагнул к столу, за которым сидел принц.

- Par quel hasarad vous trouvez-vous ici, prince?{85} - спросил его удивленный начальник дивизии.

- Простите, ваша светлость, - отвечал, нисколько не смущаясь, Кантакузен, - что с разбегу к вам вторгся. Спешил весьма, но дело того требует. Иди, иди, почтеннейший! - ободрил он Полчанинова. - Я взял с собой этого фендрика{86} в надежде на

то, что он лучше меня объяснит вашей светлости...

- Хорошо, что вы его взяли. Сейчас я крепко проберу этого молодого якобинца.

- Вы его плохо знаете, ваша светлость. Он сам проберет кого угодно. С виду - красная девица, а в горячке - Люцифер! Но сердце доброе и из глубины растет. Таким он и заявился в суде над гренадером Старынчуком. Осмелюсь и я доложить, что солдат этот меньше повинен, чем то казаться может. А уж коли всю правду говорить, то и не он повинен, а другие...

- Вы бог знает что говорите, князь! - возмутился принц. - Я только что видел дело. Он действительно назвал главнокомандующего изменником. Следовательно...

- Ей-ей, ничего не следует! Не знаю, что в деле написано, но уж, наверно, не написано, что за два дня до происшествия командир пятого корпуса благоверный государь цесаревич Константин Павлович самолично перед гренадерами то же говорил. Слова гнусного не изволил его высочество произносить, но все, что надобно для рождения его в темной солдатской душе, сказал. Старынчук же по-своему повторил. Свету мало, а теплоты много вот...

У принца опять защекотало в носу, и он замахал толстыми белыми руками.

- Я знаю все это не хуже вас. Но - довольно! Я больше не слушаю! Как вы не понимаете? Я иностранный принц... Не вмешивайте меня в эти дрязги! Меня нет! Я - закон! Солдат будет расстрелян! Я гоню прапорщика Полчанинова вон из квартирмейстеров!

- Нет-с! Так не будет! - закричал, вдруг придя в неистовство, Кантакузен. - Не будет! Тогда и меня расстреливайте! Половину армии! Кто вам позволит? Вы иностранный принц... А цесаревич - наш, российский... Чтобы с правдой встретиться, к нему один ход! Желаю здравствовать, ваша светлость! Идем, золотой, прочь отсель!

Он вышел из шалаша, как из бани, отдуваясь и дико вращая черными глазами.

- Каков кадавер злосмрадный! А? Ну, да еще посмотрим! Идем-ка, братец Полчанинов, сперва к князю Петру Иванычу... Потом к старику Куруте... А там... посмотрим!

Проснувшись после обеда, цесаревич вышел из шатра, приказал подать ружье и принялся стрелять в соломенного солдата, которого возил для этой цели за собой. Утром он уже упражнялся над солдатом, но никак не мог угодить в голову. Он заряжал и стрелял точно по артикулу, будто стоял во фронте. В разгар этих занятий к цесаревичу приехал Багратион.

Еще с итальянского похода 1799 года Константин Павлович привык относиться к князю Петру с уважением, легкой завистью и боязнью колкого словца. Первые два чувства он называл любовью, а последнее - дружбой, и такими отношениями с Багратионом кичился и бахвалился. Князь Петр сошел с лошади бледный и сумрачный. Ход отступления волновал и тревожил его. Прежде мучился он в припадках возмущения, в бешеных порывах негодования и досады. Теперь снедала его грусть. Он начинал понимать смысл Барклаевых действий. Допускал даже пользу, которая могла от них происходить. Но уверенности в том, что только так надо действовать, по-прежнему у него не было. И в бесспорной правильности своей собственной наступательной тактики он также после Смоленска уже не был убежден. От всего этого возникало в нем какое-то ужасное смутное и тяжелое состояние, неопределенностью своей жестоко угнетавшее князя Петра Ивановича. Не от того ли трясла его через день лихорадка?

- Решил я, ваше высочество, ни во что не вмешиваться, - говорил он цесаревичу. - Давно уж убедился, что никакие мои предложения в дело не берутся. Я теперь на все согласен. Но тоска берет, как подумаю, что и под Вязьмой не дадим мы боя. Принесем туда на плечах французов, да и дальше пойдем. А до Москвы всего пять переходов!

Цесаревич сморщил свой маленький нос и сделался похож на моську.

- Или очень уж храбр Барклай, или трус беспримерный, - прохрипел он. Ведь кабы не держал Платов арьергардом своих французов, что было бы? Но на Платова надежды возлагать не всегда можно. Он что ни день - пьян; кричит, что с отчаяния от ретирады. А я знаю: до смерти хочется ему графом быть; ход же дел таков, что лишь во сне примерещиться может ему теперь графство. И пьет, каналья-старик! Вчерась на арьергарде французов прямо в Семлево привел, нам всем на голову. Крик, шум... Снялись, побежали зайцами... Трюх-трюх... Вот тебе и Платов, свет в окошке! А неприятель на носу...

Багратиону вспомнилось, как обещал он в начале войны атаману победу, как манил его к ней сладким посулом титула для сына Ивана, для дочки Марфуши... Как клялся тогда Платов... Что же вышло? Всех отступление сразило. Но цесаревича - меньше всех. Не унывает... Олух царя небесного!

- Неприятель на носу...

Багратион посмотрел на нос Константина Павловича и улыбнулся.

- На чьем, ваше высочество? Ежели на вашем - дурно Платов арьергард ведет. А коли на моем, так и еще хлебнуть мог бы...

Цесаревич прыснул и раскатился хохотом. Потом, ухватив князя Петра в объятия, принялся щекотать и душить его. Шатер заколыхался. Пузатенькая фигурка Куруты появилась на пороге.

- Утром нынце, - сказал он, - васему сиятельству хвалебный акафист пели два грекоса - князь Кантаку-зен да я. Не цихалось ли вам? А на его висоцество залобу принесть хоцу: ездит по войскам и реци против Барклая мятезные произносит. И оттого люди гибнут...

Багратион понял, что маленький хитрец в заговоре.

- Об этом вашему высочеству и я представить имею, - подхватил он. - Вы знаете, каков был я до сей поры Барклаю патриот. Слова ваши честны. Но что из того выходит?

И Багратион подробно рассказал цесаревичу историю Старынчука так, как знал ее от Кантакузена.

- Барклай оскорблен до смерти. И солдат хороший по-пустому жизни лишается. А жизнь его отечеству послужить могла. Кто виноват? Во-первых, темнота солдатская... Во-вторых...

Цесаревич быстро прошелся по шатру. Он предчувствовал нападение и готовился к отпору.

- И во-вторых и в-третьих... Глуп гренадер твой, как баран! Как баранов стадо! Голос возвысил! Кто?

- Пусть так! Велик грех - да и причина не мала. Ваше высочество весьма не без вины. Принц Карл - кукла бездушная, с него взятки гладки. Расстрелять солдата - что воды глотнуть. А мы-то что ж? Мы не страшимся смерти на поле битвы, - бесстрашия вашего я давний свидетель, - а слово за справедливость и человечество сказать опасаемся. Почему? Да еще и вина на нас...

Константин Павлович быстро провел рукой по своим высоким залысинам, опушенным рыжей шерстью.

- Чего же ты хочешь от меня, князь?

- Вы - корпусный командир и русский великий князь... Спасите солдата...

Цесаревич сложил из пальцев фигу, чмокнул ее и спросил:

- А этого не надобно тебе? На фонарях качаться не желаю. И якобинству не потворщик. Сгрудили дело, чтобы меня запутать! Речи я говорил, согласен, дурью обнесло меня, сбрендил. Да я и отвечу. А какой ответ с великого князя российского? Иначе - с солдатом. Портит солдата война. За дисциплину я с живого шкуру спущу. Мой долг - наказывать; милость - государю принадлежит. А в драке моей с Барклаем безделка эта камнем на мне повиснуть может. Раскинь мыслью, князь, и увидишь, что, по всему, следует мне в стороне остаться.

Багратион взглянул на Куруту. Старушечье лицо Куруты морщилось, словно от боли. Он укоризненно покачивал курчавой головой.

- По мнению вашему, справедливо ли его высочество рассудил? - спросил князь Петр.

- Н-нет! - отвечал Курута с печальным отвращением в голосе.

- Ах ты грек! - закричал цесаревич. - Так возьми же, пожалуй, розог пучок, да и высеки меня!

И он принялся тормошить старика, заглядывая в его грустные черные глаза. Но Курута продолжал крутить головой. Тогда цесаревич быстро поцеловал его в руку.

- Ну посоветуй же, грек!

- Васе висоцество виноваты, и солдата спасти надо. Один целовек мозет сделать это.

- Кто?

- Ермолов. Коли захоцет - и коза сыта, и капуста цела будет!..

По обыкновению, за сутки накопилось множество предметов, о которых Ермолову надо было доложить главнокомандующему. Хотя большинство этих предметов и относилось к разряду так называемых "дел текущих", но среди них были вопросы и очень

важные, и очень запутанные. Как всегда, министр и начальник штаба работали дружно и легко. Резолюции писал Ермолов - быстро, четко, красиво, прямо набело и без всяких помарок. Барклай подписывал. Ночь была в половине, когда покончили с планом отправки раненых. Решили из Первой армии отправлять их в Волоколамск и Тверь, а из Второй - в Мещовск, Мосальск, Калугу и Рязань. Оставалось еще четыре вопроса. Ермолов положил перед Барклаем рапорт Толя, в котором полковник, не признавая себя способным к отправлению генерал-квартирмейстерской должности, просил об увольнении от нее и назначении к строевому месту.

- Гордость паче унижения оказывает господин Толь, - усмехнулся Алексей Петрович, - пишет: "неспособен", а читать надобно: "хоть на кознях и осекся, а весьма способен быть могу..."

- И есть весьма способен, - сказал Барклай. - Ошибка его у Федоровки не от невежества была, а вовсе от других, худших гораздо, причин. Не говорите мне о них, - я их знаю и Толю простил. Но к должности своей он очень пригоден, и замены не вижу. Скоро реприманд Багратионов забудется, тогда для пользы общей расцветет Толь. Отказать ему в просьбе его, как не дельной!

Ермолов положил другой рапорт - от Платова. Атаман объяснял неприятное происшествие под Семлевом, когда французы с неожиданной легкостью опрокинули его арьергард и теснили почти до лагеря Первой армии, отчего армия не имела дневки и вынуждена была без передыха отступать дальше. Объяснял он это хоть и многословно, но ужасно темно.

- А дело просто, - сказал Барклай. - Потому навел атаман французов на Семлево, что действовал одними казаками, хотя была у него и пехота. Да и казаков в дело пустил всего двести человек. Места лесистые у Семлева, стрелкам французским легко было разогнать казаков. И худо очень, что произошла неосмотрительность такая оттого, что пьян был атаман. А всего хуже - пьянства его причины, о коих столь громко кричит он.

- Ретирадой в отчаяние приведен атаман, - заметил Ермолов, - и графства обещанного лишается. Вот причины его.

- Знаю. Но арьергарда начальник он. Не может спокойствие армий уверенным быть, когда от отчаянной рюмки зависит. А если все войско донское, за атаманом следуя, пьяное заснет? По совести решаю: выслать атамана Платова из армии прочь, а генералу Коновницыну арьергард поручить.

Барклай задумался. Высылкой Платова он начинал борьбу со своими клеветниками. Но надо ли было начинать эту борьбу теперь, перед самым концом драмы, когда осталось Барклаю всего

несколько дней быть еще в роли ненавидимого всеми главнокомандующего? Почему не вел он раньше этой борьбы? Барклай был из тех людей, от которых как-то естественнее слышать "нет", чем "да". Однако, в отличие от людей такого склада, он ограничивал почти постоянным "нет" не только поползновения тех, кто требовал от него "да", но и свои собственные желания. Много, очень много раз доходили до него" сведения о действиях его явных и тайных врагов. Стоило ему пожелать - и давно уже никого из них не было бы в армии. Такие желания являлись. Но Барклай не принимал мер. Почему? Было две причины. Одна заключалась в том, что он с какой-то римской гордостью воздерживался от мести враждебным генералам, стараясь подняться над этим низким и мелким чувством и наравне с собой видеть только дело чистое и честное, как самоговорящая истина. Сам Барклай почитал эту причину единственной и основной.

А между тем существовала еще другая, и она-то была главной: Михаил Богданович боялся своих врагов. Это было совершенно обыкновенное, не заключавшее в себе ничего возвышенного чувство страха перед людьми, имевшими связи при дворе. 'Выгони он этих людей из армии - они кинулись бы в Петербург. Барклай был плохим царедворцем и не умел плести интриги. Чем мог он отразить грозу, которая тотчас собралась бы над его головой в зимнедворцовских и царскосельских императорских покоях? Полагаться на изменчивый и неверный нрав царя было трудно. Оставалось побеждать терпением злобные выходки врагов и свой собственный страх. Лишь бы не погибло дело! Но дело и Барклай - одно.

Итак: лишь бы уцелеть! Человек, живший в Барклае, был горд и смел; царедворец же, тихонько притаившийся в закоулках его души, оказывался уступчивым и робким. Вот почему и не боролся он до сих пор со своими врагами.

Однако теперь все изменилось. Дело, которому Барклай служил с такой ревностью, уходило из его рук. Вместе с тем становились нестрашными интриги и козни клеветников. Пусть исходят ядом и желчью, - поздно. Гордость поднимала в Михаиле Богдановиче свой голос и требовала мести. Возможность наказания тех, кто так долго мешал делу и мучил этим главнокомандующего, сохранялась всего лишь на несколько дней. И он не желал больше терпеть ни минуты. Платова из армии прочь!

А разве один атаман достоин высылки?

- Любезный генерал, - сказал Барклай Ермолову, - примите еще одно повеление. Его высочество цесаревич не многим ушел

от Платова. Нельзя больше терпеть его поступков. Не в том беда, что его высочество меня поносит, не в оскорблениях беда. А в том, что устранить цесаревича от военных совещаний невозможно, а он столь громко критикует и порицает мои распоряжения, что тайна военных советов беззастенчиво нарушается. Что опаснее быть может? Потому прошу вас завтра же передать его высочеству повеление мое: немедля из армии отправиться с донесением к государю императору в Петербург.

От изумления и неожиданности Ермолов выронил перо. Но Барклай оставался совершенно спокойным. Письмо царю, с которым поедет цесаревич, было уже заготовлено. Михаил Богданович прямо писал в нем о том, что нелепая басня о его измене возникла из болтовни цесаревича, что вред от басни той безграничен и что положение его в роли главнокомандующего после появления басни стало невозможным. Вздумай он теперь дать французам столь желаемое всеми сражение - и при малейшем неблагоприятном обороте боя басня об измене главнокомандующего повернет армию тылом к врагу. Остается рассчитывать на безусловную и легкую победу. Но такой победы быть не может. Настало время, когда новый главнокомандующий сделался положительно необходим. Им должен быть человек, который свободно примет любое решение и на ответственность свою возьмет любые его результаты...

К делу гренадера Старынчука Ермолов приступал без всякой надежды на успех. Главным козырем Алексея Петровича было такое соображение: простить преступника следовало, чтобы презрением к невежеству его и ему подобных лишить цесаревича охоты действовать на солдат. Кроме того, если Барклай так высок душой, что, даже смертельно оскорбленный, не боится милосердия, то и слепой увидит подлинную цену цесаревичевых проделок. Но высылкой Константина Павловича из армии козырь этот был уже бит. Ермолов на скорую руку, кое-как доложил историю Старынчука. "Хорош я, - думал он. - И надо же мне было поддаться князю Петру..." Однако Барклай слушал внимательно. А когда заговорил, голос его был мягок и слегка дрожал:

- Два года назад выпустил я из военного министерства циркуляр о том, что нельзя всю науку, дисциплину и воинский порядок на одних лишь жестоких наказаниях основывать. И теперь так же считаю. Есть средства иные, кои и в сравнение с жестокостью по пользе своей не идут. Доброе их качество от доброго разума проистекает. Некогда дисциплина и правда порядка в армии российской именно на них построены будут. Однако не скоро еще то будет. А ныне...

Он замолчал, перебирая бумаги. И Ермолов тоже молчал.

Прошло несколько мгновений, полных взволнованной тишины.

- Солдат, о коем вы докладывали мне, любезный генерал, - продолжал Барклай, - великое против дисциплины совершил преступление. А против истины и здравого смысла - величайшее. Сердцем я жесток против него. И долг свой знаю. Расстрелять бы его без фраз! - Он улыбнулся с неожиданной едкостью. Но в том ли главное? Чем преступление солдатское злей, тем его высочество цесаревич в нем повинней. И это важней прочего. Разум сердцу моему ставит препону. Ломлю себя напоследок, чтобы к сознанию в грехе предо мной его высочество привесть. И потому резолюцию не о расстреле кладу, а так запишите: "Сводная гренадерская дивизия в пятом гвардейском корпусе состоит, и по причине сей наказание виновного к ведомству государя цесаревича относится. Его высочеству по принадлежности для конфирмации направить".

- Успеет ли цесаревич конфирмовать до выезда из армии? - осторожно спросил Ермолов.

Барклай холодно пожал плечами и ничего не ответил. Алексей Петрович понял: главнокомандующий думал не столько о солдате, сколько о том, чтобы сделать как можно неприятнее для цесаревича его завтрашний вынужденный отъезд. "Ага! - подумал хитроумный начальник штаба Первой армии. - Кажется, его высочество не успеет... Что ж! Солдат вдругорядь спасен, а князю Петру от меня подарок..."

Глава тридцать первая

Биваки день ото дня становились хуже. Время на них проходило мирно и грустно. Погода была такая, что с утра до вечера висели над землей сумерки. Либо начинался дождь, либо серые облака стряхивали с себя его последние капли. Располагались биваки на ровных песчаных полях, где не было ни деревца, ни кустика. Поля эти казались пустыней, в которой должны быть погребены счастье и слава русского оружия. Места окрестных деревень означались печными кладками, торчавшими, подобно черным призракам, над гладким горизонтом. Так же неподвижно стояли раненые лошади, одиноко ожидая голодной смерти. Воздух был смраден. Тучи дыма стлались над биваками, расходясь от костров с горевшим навозом. Постепенно темная завеса этого дыма затягивала весь мир. Офицеры, в грязных толстых шинелях и рыжих сапогах, мало чем отличались от солдат. А солдаты, с худыми и бледными лицами, угрюмо бродили между кострами. Не слышно было ни песен, ни музыки, ни веселых разговоров.

Еще печальнее было вокруг костра фельдфебеля Брезгуна. Здесь поминали расстрелянного Старынчука. Какой-то гренадер

из соседней роты подошел с обычной просьбой.

- Мясца бы занять. Али кашицы чуток!

Трегуляев грубо отрезал:

- Говядина в поле жир нагуливает, а кашной горшок в гостях гостит. Как из гостей придет, так и до каши черед дойдет. Проваливай, братец!

Солдат озлился на грубость и хлестко отбрил:

- Видать, в Кашире-то у вас и впрямь мало едят, хоть и звонят много...

В другое время Трегуляев выпустил бы в него целый залп обидных прибауток, а теперь даже и внимания не обратил. Трагическая судьба Старынчука занимала все мысли его друзей.

- Отмаячил службу, бедняга! - сказал Брезгун. - Ведь что он мне? Без годуледелю и знал. А вот поди ж, - и фельдфебель повертел у груди растопыренными пальцами, - за кое место ни укуси - все больно. Да и хороший был он солдат!

- Душа в нем изныла. Не вытерпел. Разумей, дескать, Вахрамей! Кого за спиной корят, а тебе в глаза говорят, - получай!

За такими-то разговорами и прошел у костра вечер. Наступила ночь. Погода начала поправляться. Серые облака сбежали с неба, и на тихую синеву его медленно выплыл золотой месяц, покрыв сумеречную землю своим жемчужным сиянием. Иван Ивакыч стал на молитву. Опустившись на колени, он снял с головы сперва высоченный кивер, а потом и курчавый черный парик. Плешивая, как коленка, и только вдоль шеи окаймленная редкими седыми волосами голова его засверкала.

- Упокой, господи, раба твоего воина Власия! Святых лик обрете источник жизни... Да обрящает и он путь покаяния... Надгробное рыдание...

Голова Ивана Иваныча заметно тряслась. Трегуляев, тоже без кивера, стоял рядом в глубокой задумчивости. Из холодного мрака ночи донеслись громкие голоса. По земле, плотно убитой, как бывает на выгонах, глухо застучали шаги. И прямо к костру вышел Старынчук в сопровождении комендантского ефрейтора и полудюжины полицейских драгун. Длинное лицо его радостно улыбалось. Он неловко переминался с ноги на ногу и, по-видимому, хотел сказать что-то. Но, по обыкновению, слова только царапали его язык и никак не сползали.

- Ах ты пострел! - крикнул Иван Иваныч, не веря глазам, вскакивая с колен и топча сапогами свой кудрявый парик. - Да откуда же ты взялся?

- Тот же блин, да на блюде! - восклицал Трегуляев, бросаясь к Старынчуку с объятиями. - Бедненький-то - ох, а за бедненьким - бог! Неужто простили?

- Прощевали, - отвечал преступник.

- Кто?

- Ат он самый...

- Кто сам-то?

- Пан изменщик!

Брезгун только руками развел.

- Ну и дурень же ты, брат!

Трегуляев замотал головой, как лошадь, - такой взял его смех. Все случившееся было в высшей степени поразительно. Но еще поразительнее оказалась принесенная Старынчуком из-под ареста новость: едет пан Кутузов.

- Куда едет-то? Зачем? - теряя терпение и начиная сердиться, допытывался Брезгун.

Но новость эта уже молнией неслась по биваку. Дивизионный квартирмейстер, прапорщик Полчанинов, подошел к фельдфебельскому костру. Подобно тому как в Смоленске завертел, закрутил его Фелич, так теперь захватывали совершавшиеся кругом события. Только в Смоленске плыл он по течению мелкого житейского ручья, а в Дорогобуже вышел навстречу морскому приливу и - устоял. Что бы ни говорить и ни думать, а Старынчука спас он.

- Ну-ка, покажи мне преступника! - сказал он Брезгуну. - Я ведь его и в глаза не видал...

Перед прапорщиком вытянулась счастливая дылда с расплывшимся в улыбке длинным лицом. Фигура эта вызвала в Полчанинове странные чувства. Не откажись он подписать приговор суда, не бросься к Кантакузену, не пойди с князем Григорием Матвеевичем к принцу Мекленбургскому, а от него к Багратиону и Куруте, - лежал бы сейчас Старынчук с пулей в сердце, а не стоял бы у костра и не улыбался. И он, Полчанинов, - вершитель этой победы! Это уж не проигранная в карты Сестрица! Там была радостная благодарность Травину за спасение лошади, здесь - отвага, поднимающая дух до небес, и гордое чувство собственной силы. Дело Старынчука не прошло для Полчанинова даром. Он перестал быть мальчиком и превратился в решительного и уверенного в себе мужчину. Но и детского в нем еще оставалось много.

- Гутка идет, ваше благородие, будто Кутузов, Михайло Ларивоныч, командовать нами едет, - осторожно проговорил Брезгун.

Но Полчанинов ничего не ответил, только головой тряхнул да, заломив руку за шею, локтем вперед, прошелся гоголем кругом костра, мелко отбивая ногами плясовую.

- Конец дрязгам! Конец ретираде! Ура!

Это "ура" уже гремело по всему лагерю Первой армии. Доносилось оно также и из лагеря Багратионовых войск.

- Едет Кутузов бить французов! - закричал Трегуляев. - Ура!

Только теперь, в эти первые минуты распространения слуха о приезде Кутузова, можно было по всеобщей восторженной радости судить, до какой степени дошли в армии уныние, недовольство и желание перемены.

- Едет Кутузов бить французов! - повторялось повсюду крылатое словцо Трегуляева.

В эту ночь никто не спал на биваках. Карабинеры собрались у фельдфебельского костра и, подкладывая в огонь комья навоза, слушали рассказ Ивана Иваныча.

Рассказ фельдфебеля Брезгуна

- Не гребень голову чешет, а пора да временье. Иной оглянуться не поспел, а уж и стар. Жизнь так прошла, словно деревня между глаз сгорела. Не к тому я это говорю, чтобы за жизнь цепляться, - упаси бог, и в мыслях нет! А к тому, что надо с примечанием жить. Смерть - копейка. Верно! Да ведь и всякая копейка - наживное дело. Нажить надо смерть, чтобы не зря умереть, а с проком. У Михаилы Ларивоныча Кутузова в ученье состоя, выучились мы, старики, и жить и умирать!..

В восемьсот пятом году дошла армия российская до городишка одного австрийского, Кремса, на реке Дунае. Ох, широк, просторен Дунай! Не задаром и у нас об нем, об Ивановиче, песни сложены... Дошла армия. А к самому тому времени благоверные союзнички наши, австрияки, прах их возьми, весь пар свой без остатку выпустили. Генерал у них Мак был... Ведь и прозванья-то хуже не сыщешь, - Мак... Hv что это, скажите, за Мак? Неприлично ушам даже. Так вот, прохвостина эта, не долго раздумывая, с семьюдесятью тысячами войска отдался в плен. И уж сомневаться нельзя, что был бы нам еще и до Кремса полный и безвозвратный каюк, кабы не князь Петр Иваныч Багратион.

Под городом. Ам... Тьфу, пропасть какая! Давно не бывал я в немецкой земле, - язык-то по-ихнему не шустро вертится. Под Амн... Амштетеном молодецки отбился князь Петр Иваныч от французов и всю армию прикрыл. Тем и спаслись. Стоим, значит, в Кремсе. Переправа тут через Дунай-реку. Чуем: что ни час, все тесней нам дышится. Бонапарт с армией своей на хвосте у нас гонится и к Дунаю жмет, а подручные его с левого берега в тыл зайти норовят. Однако Михайло Ларивоныч распорядился по-своему. Ровно птицы, перехлестнули мы через Дунай, маршалу Мортью в рыло понадавали, и вмиг очутился он за рекой. Подошло дело к ночи...

Ну-с, это уж я прямо скажу: боже, создателю всякой твари, избавь от этакой ночки! Черна, сыра - ни ране, ни после не видывал. В октябре дело ни луны, ни звезд... А куда ни глянь - полыхают огни, бегут, катятся, полосами и разводами расстилаются, - пушки да ружья ратуют в горах. Ну и горы! Лес высок, дремуч, непроходен, - еле двум живым в ряд пройти! Как быть? Двинулись. А уж коли двинулись, так и прорвались. Эхма!

Только слышно вдруг стало, что австрияки у самого своего столичного города Вены пропустили Бонапарта. И он уже шагает, чтобы отрезать нас от другой русской армии, что из отечества в сикурс к нам шла. Одно из двух: либо навстречь Бонапарту всем скопом бросаться, на полный риск, либо заслон ставить. Михайло Ларивоныч всегда карты любил к орденам держать, чтобы раскрыться при полной лишь ясности. И рассудил он выставить заслон. Зовет князя Петра Иваныча.

- Князь любезный мой, друг, сын и товарищ! На грудь твою крепкую надеюсь. Загороди нас. А мы за тобой на большую дорогу выскочим и с сикурсом сойдемся.

У Петра Иваныча ответ прост:

- Слушаюсь!

Авангард... Я в нем был. Четыре тысячи человек - и одна батарея. Смех! Ступит Бонапарт, и - пятнышко! Мух так бьют. И все мы понимали, что пришло обречение на жертву вечернюю. Всяк солдатик из обоза понимал. Да и Михаиле Ларивоныч с князем Петром Иванычем не сомневались. Надысь пятьдесят восемь мне отбухало. Еще столько прожить, а не позабуду: прощались они... Обнял старик наш князя, щека к щеке... И... и... Тьфу, пропасть возьми, никак, в горло табак засыпался! И голову князь склонил. А Михаиле Ларивоныч трижды его осенил. В крестный путь шли. Грубо сказать, перли на рожон, прямо смерти в глаза глядючи...

Австрийцы впереди нас прыгали. И князь Петр Иваныч на них полагался. Таким манером достигли мы городишка Шен... Эх, хорошо, что в русском языке костей нет, а то враз поломался бы!.. Шенграбеном зовется тот городок. Тут австрийцы себя и показали. Ни здравствуй, ни прощай - хвост дудкой, и поминай как имечко! Ушли! Вот тебе и гусь с яблоками! Петр Иваныч вцепился было: "Куда? Стой! Не пущу!" А потом видит: живы - не люди и помрут - не покойники. От такой немчуры-шушеры в бою беспорядок один, а пользы ни на пятак. Он и плюнул. Да еще и ногой растер: "Катись, балдуины!" Выслал казаков и выставился на позиции перед городом.

Зажглось дело! Шенграбен! И слово-то страшное! Уж зажглось, заполыхало! Бродит меж французами Бонапартов

свойственник, королишка Аким Мюратов. Он первый повел на нас атаку, а за ним - пять маршалов, и у каждого полный корпус войск. Это на четыре тысячи! У них батарей без счету, - а у нас одна-одинешенька. Что же сказать? Сгибли бы в прорве этой, и след бы растаял, да князь-то Петр Иваныч зачем? Приказал он бить по Шенграбену из пушек. И били, покамест не загорелось. А как загорелся город, пехота наша стройными рядами, шаг за шагом, кровью обливаясь, а дистанцию точно блюдя, начала тихохонько отходить. И так пятились до полуночи. Финтить не стану: были и расстройства. Так кое-где. Но больше от убыли сильной да от мрака недоброго, а трусов не было. Бонапарт прискакал самолично, чтобы дело свое подпереть и горсточку нашу с земного лица стереть. Не тут-то было! Ядра, гранаты сыплются... Конница со всех сторон в палаши рвется... А мы с пехотой режемся... Батюшки светы! Страсть! Чуть где похуже - князь Петр Иваныч мчится и прикрытие за собой ведет. Глядь - и оправились люди! Такой-то прогулочкой пришли мы в деревню... Дорф какой-то. И тут, по чрезвычайной темноте уличной, наши два батальона с казаками об руку весь напор Бонапартов на себе понести должны были. Тут и я седьмой раз ранен был и пал замертво. А встал с унтер-офицерским шевроном!

Фельдфебель задумался. Прошло минуты две.

- Вышло нас четыре тысячи - вернулось половина. В остальном во всем по писаному, как по-тесаному. Выиграли сутки! Тем временем Михаиле Ларивоныч далеко подвинуться успел, что и надо было. Я на полуфурке лазаретном лежал. Но очевидные свидетели рассказывали: по исходе дела Михаиле Ларивоныч князя Петра Иваныча обнял при всех и к себе прижал.

- Пойди ко мне, мой генерал! Здравствуй, герой! О потерях не спрошу. Ты жив - с меня довольно!

Эх, молодцы мои! Трудно солдату знать, жизнь ли его али смерть нужней родине. Но одно верно: к славной смерти надобно ему всей жизнью готовиться...

Глава тридцать вторая

Лошади бойкой рысью тянули в гору, и карета раскачивалась на высоких рессорах, как лодка под штормом. Было близ полуночи, и до Царева-Займища оставалась одна подстава. Сидевший в карете тучный старик с большим мясистым носом и мягкими складками жира на широкой шее попробовал вглядеться через окно в ночь. Но так как зрячим у него был один только глаз, а не оба, да и тот видел плохо, - ночная чернеть встала перед ним непроницаемой стеной. Тогда он задернул на окне занавеску, поплотней запахнул свою генеральскую шинель и со вздохом откинулся на подушки. За вздоха ми последовал сперва легкий, с

тонким носовым присвистом, а потом густой и широкий храп. Седые брови старика сурово сдвинулись, а толстые губы разошлись в полуулыбке, как это бывает у спящих. Но он не спал, а думал. Давно уже приучил он себя к этой незатейливой хитрости: принимать вид спящего, когда надо думать. И в конце концов привычка сделалась необходимостью. Несмотря на постоянную физическую усталость, неразлучную с семьюдесятью годами трудной жизни, полубессонные дорожные ночи и неприятную тряскость экипажа, голова его была удивительно свежа. Он не раз замечал в себе эту особенность. Чем труднее обстоятельства и опаснее положение, тем яснее голова и острее мысль. Он сладко похрапывал, растянувшись на пышных подушках, а мысли в никогда не отдыхавшем мозгу обгоняли одна другую. "Что же, - думал он, - видывал я и ласки фортуны, и то, как поворачивает она свой жесткий хребет. Но мертвый не без могилки, а живой не без места. И коль скоро есть плечи - находится хомут. Боже, какой хомут! Конечно, Барклай не мог вынести этой тяготы. Он честен, умен, разумен, но не умеет опираться на то, что оказывает сопротивление. Все, что он мог, он сделал. Затем ему надлежало пасть. Багратион - остер и колок, скор и неутомим, рыцарь благороднейший. Правда, каждое из свойств этих и в самых обыкновенных людях встречается. Но в нем они все вместе собрались и столь явно на пользу направлены, что, кажется, можно их в руки взять. В них тонут, делаясь вовсе незаметными, своеобычливые князя Петра недостатки. Так! Однако и ему не спасти России..." И старик в сотый раз принимался обдумывать то, что предстояло ему сделать тотчас по приезде в армию, для того чтобы с первых же шагов завладеть ею и повести по пути, который был им намечен еще в Петербурге. Только по этому пути идя, можно было вырвать у судьбы победу и завоевать спасение России.

Рядом с этими важными мыслями в голове старика оживала пестрая вереница последних петербургских впечатлений.

- Сударыня, - говорит он госпоже де Сталь, - труден и непосилен мне подвиг. Я стар. Я даже вижу плохо!

- А все-таки, генерал, я уверена, что вам еще придется повторить слова Митридата: "Мои последние взоры упали на бегущих римлян..."

Кабы умела госпожа де Сталь предсказывать, как Ленорманша!

Карета умерила ход и перестала раскачиваться. Сквозь занавески окон мутно засверкали станционные огни. Суетливо забегали люди, перекликаясь тревожными голосами. Заржали лошади, и взвыли, вторя им, почтовые рожки. Вот она - последняя

подстава.

Путнику хотелось размяться, но непредвиденных встреч на станции он не желал. И поэтому послал адъютанта на разведку в станционный дом.

- Его высочество цесаревич Константин Павлович, проездом из армии в Петербург, - доложил адъютант. - Изволит почивать. Генерал от кавалерии Платов также проездом из армии...

- А что Платов творит?

Адъютант уже открыл рот, чтобы ответить: "Тянет ром, ваша светлость", когда железная рука оттолкнула его от кареты и в окно всунулась растрепанная голова дюжего атамана. Матвей Иванович действительно был во хмелю; глаза его были красны, небритые скулы лоснились от жаркого пота. Густой аромат ямайского рома наполнил карету. Платов был не только пьян, но еще и взволнован. Губы его вздрагивали, и на худом морщинистом лице не было и в помине обычного хитрецкого выражения.

- Михаиле Ларивоныч! - восклицал он захлебывающимся голосом. - Князь светлейший! Полюбуйтесь старым казаком! Вот до чего довели! Жизнь моя меня мало теперь интересует! Сорок второй год служу, а такого коловратства не ожидал. Правду скажу: слабость свою и сам чувствую, в старости лет и тупом зрении службу свою тягостной находить стал. Но... политика политика, - а рубаться-то ведь нужно! Не дают... Выговором за Семлево сразили до болезни. Все прочь кинулись, словно бы зачумел я... Ох, Барклай! Просто не разойтиться нам!

- За что же распорядился так Михаиле Богданыч с братом государя своего и с тобой, заслуженным воином? - спросил Кутузов.

- Цесаревича - за отпозицию, а меня - за то, что пример отчаяния войскам показую...

- Ну, а под Семлевом что было? Эх, как шарахает тебя, друг любезный! Покамест коней перекладывают, иди-ка лучше ко мне в карету и по-толковому объясни...

Усевшись против Кутузова, атаман принялся с жаром рассказывать:

- Отступал я через Славково к Семлеву с перестрелочкой. Авангард французский уже в Славкове был. Мост там, у болота... Попытался я на нем устоять. Где уж! Французы пушками мост сбивают, колоннами пехотными валятся на него, как из мешка. Я - шаг по шагу назад... Мыслю: на медленном ходу до вечера продержусь. Что ж? Продержался до утра! Далее - хуже. Облепили меня хранцы, будто аравитяне в пустыне. Ма-я-та! Идут они большаком - много! У Семлева - село Рыбка на речке Осме... Что

ж? Будем ребра считать! Князь светлейший! Шесть разов в атаку на французскую кавалерию до самых пушек ходил. Скрутя голову, дрался отчаянно. Но... пал! Отступил вполбежка к Семлеву. Вот и все!

Платов зарыдал.

- За что? Ась?

Кутузов положил на плечо атамана пухлую руку, покрытую сивым пухом и мелкими коричневыми пятнышками.

- Был ли ты, Матвей Иваныч, пьян в тот день, я не спрашиваю. Служили мы с тобой и без пьянства. Сам ты расчесть умеешь, где отечества польза и благодарность, а где вонючий штоф. Совесть человеческая широка, а службе ты нужен, - следственно, из кареты моей тебе и вылезать незачем. Его высочество цесаревич почивает. И сметь не могу обеспокоить священный сон его...

Кутузов дернул сонетку.

- Готово?

- Так точно, ваша светлость! - отвечал снаружи десяток голосов.

- Трогай с богом!

Лошади рванули, и карета заколыхалась. Платов опустился на колени. Губы его быстро двигались. Кутузов с трудом улавливал слова.

- Есть море-океан, а за тем морем горы каменные. Середь тех гор стоит архангел Михаил. Сохрани меня, раба божия, аминь! Буйную голову мою огради светлым месяцем, ясным солнышком, белою зарею, чтобы тела моего враги не окровавили, души не сгубили, чтобы супротивников моих уста кровью запеклись на веки вечные. Пойду я, раб божий, в зеленое рукомойло, к морю-океану, помолюся да поклонюся. Аминь!

- Это что же такое? - изумлением спросил Кутузов.

- Молитва наша донская, - отвечал атаман, с которого уже начинал соскакивать хмель, отчего и лицо его постепенно приобретало обычное выражение ловкой тертости, - сызмалетства с крестом рядом в ладанке ношу. Против напастей первое средство. Не верите, Ми-хайло Ларивоныч? - воскликнул он, заметив усмешку на бледных губах Кутузова, - А я сейчас докажу. На станции, сидя за бокальчиком, я молитву эту подтверживал: "Середь тех гор стоит архангел Михаил..." Слышу вдруг - шум; бегут, шепчут: "Едет! Едет!.." Я - наружу стремглав. АН, архангел-то Михаил персоной своей светлейшей прямо передо мной. Чудо!..

Кутузов подъезжал к Цареву-Займищу семнадцатого августа, холодным утром серенького дня. У самой деревни внимание его привлек казачий конвой, сопровождавший пленного

неприятельского офицера. Кутузов приказал подозвать старшего из конвойных. К карете подскакал Ворожейкин.

- Кого ведешь, друг мой! - спросил Кутузов.

- Полковника тальянского, ваша светлость! - бойко отрапортовал Кузьма.

Фельдмаршал с любопытством поглядел на пленника. У него было бледное, испуганное лицо. Из-под плаща высовывалась наскоро перевязанная раненая рука. Кутузов сделал ему знак. Итальянец подбежал. Толстый старенький генерал, которого он увидел в карете, не произвел на него большого впечатления. Под пыльной серой шинелью итальянец рассмотрел зеленый армейский сюртук без эполет и шарфа; седые волосы генерала были прикрыты белой фуражкой без козырька, с красной выпушкой. Лицо... Да таких физиономий, простодушно-лукавых и ласково-повелительных, полна Россия. Глаз выбит пулей. Хм! Бригадный командир, а может быть, и дивизионный начальник. Не больше!

- Кто вы, господин офицер?

- Итальянской королевской гвардии полковник Гильемино, квартирмейстер четвертого корпуса вице-короля Евгения, ваше превосходительство.

- Принц Евгений, - усмехнулся Кутузов, - мой старый знакомый. Как поживает этот красивый принц? Когда и где потерял он своего квартирмейстера?

При словах "мой знакомый" Гильемино вытянулся.

- Третьего дня у деревни Михайловской я был взят в плен казаками из арьергарда Второй русской армии, ваше сиятельство.

- Принц Евгений у Михайловской! А где сейчас его французское величество, с коим не встречался я с самого восемьсот пятого года?

"Кутузов", - догадался Гильемино и по-солдатски захлопал глазами.

- Я не знаю, где император, и потому не могу доложить вашей светлости.

Михаиле Ларивоныч засмеялся.

- Не поднимайте моих титулов выше, полковник. Последнего - совершенно достаточно. Итак, вы забыли, где император Наполеон. У вас будет досуг, чтобы вспомнить.

И он отвернулся от пленного.

- Кто взял в плен этого молодца!

Ворожейкин вздрогнул.

- Мне бог привел, ваша светлость!

Кутузов так ласково посмотрел на Кузьму своим единственным глазом, что у казака в горле сладко запершило.

- Экий ты волосач, друг мой! Самсон настоящий... Расскажи, как удалось тебе зацепить итальянца?

- Руками взял, ваша светлость, - отвечал Ворожейкин, - как дудака в гололедицу.

- Ха-ха-ха! Как дудака... Слышишь, Матвей Иваныч? Дудак, дудак... Ха-ха-ха! Спасибо же тебе, друг мой, за службу. Дудак... А не знаешь, Матвей Иваныч, хороший ли он казак?

Платов давно уже узнал Ворожейкина и отвечал без запинки:

- Первый по кругу урядник, ваша светлость... Из отменных - впереди!

- Коли так, поздравляю тебя, любезный, хорунжим, - сказал Кутузов. - А ты, атаман, нынче же в приказе по войску донскому о производстве и о подвиге сего господина офицера отдай и насчет... дудака включи безотменно. Трогай!

Карета откатилась уже довольно далеко от того места, где все еще в полной неподвижности стоял рядом со своим косматым коньком хорунжий Кузьма Ворожейкин.

"Батюшки мои! - думал он, - Да как же это? Сколько лет лямку тяну - и вдруг... Эх, да зато уж и знай наших! Кажись, во всем роду ни одного чиновного не бывало, - я первый... И-и-их, куда выехал, Кузьма Ивлич!"

Глава тридцать третья

Суворов любил подшутить над парадными встречами. Думали, что он приедет в карете, - а он подкатывал на перекладной. Дожидались у заставы, - он появлялся из переулка. Так, по-суворовски, приходят иной раз события, которых долго и с нетерпением ждут люди. Обмана нет - событие приходит. Но только не совсем так, как его предвидели: или не с той стороны, или не в тот час. Вот двинулись к нему навстречу, а он уже позади, - глядь, едва не разминулись. Нечто подобное случилось с Толем семнадцатого августа.

День был непогодливый. Серое небо казалось таким низким, что хотелось согнуться, чтобы не задеть его головой. Но Толь с раннего утра был за работой. Барклай приказал ему к приезду Кутузова (князя ждали вечером) приготовить у Царева-Займища позицию для боя. Полковник понимал, что комедия кончилась. Барклай не боялся больше сражения, - его даст новый главнокомандующий. Недавняя передряга лишь очень ненадолго повергла Толя в уныние и выбила из колеи. У него был счастливый характер: свались на него целая гора неприятностей, он и тогда бы встал и отряхнулся как ни в чем не бывало. И передряга эта в конце концов лишь укрепила его, освежив для новой, усиленной деятельности. Полковник скакал по позиции, указывал квартирмейстерским офицерам места для расстановки

корпусов и дивизий ужасно шумел, пылил и грозился.

- Сначала выходит средняя колонна и занимает места, - выкрикивал он приказания, - строится в порядке и без суматохи! Полки правого крыла идут вправо, полки левого - прямо! Остальное - потом! А теперь живо! Живо!

И он нещадно шпорил своего иноходца, серый хвост которого, раздуваясь веером по ветру, мелькал то здесь, то там. Случалось Толю вмешиваться по пути и вовсе не в свои дела. Так наскочил он на батарею Травина.

- Куда вы выдвинули, поручик, ваши пушки? Зачем? Где у вас диоптры{87} на орудиях?

Травин знал, куда и зачем он выдвинул пушки. А побрякушки, обычно болтавшиеся на орудийных затыльниках и сильно мешавшие стрелять, он еще под Смоленском действительно велел снять. Но при чем тут генерал-квартирмейстер? Травин отвернулся, не отвечая. Толь наехал на него горячей мордой иноходца. Широкая, окатистая грудь полковника бурно дышала.

- Я спрашиваю: где диоптры?

Травин тихонько засвистел вместо ответа. Канонир Угодников, стоявший у правого орудия, изменился в лице. Он любил своего начальника за смелый дух и справедливую душу и ставил его неизмеримо выше всех "господ", с которыми приходилось ему до сих пор служить. Но было в характере Травина что-то такое, от чего Угодников постоянно опасался за судьбу поручика. "Не сносить ему головы! - часто раздумывал канонир. - Сгинет нипочем. От характера!" И с неусыпностью преданной няньки следил, как бы не накликалась на Травина беда. Сейчас она возникала в лице генерал-квартирмейстера, суровость и гневливая мстительность которого были известны. Толь кипел, как чайник на огне. А Травин посвистывал. Угодников мысленно перекрестился и вышел вперед.

- Сами мы диоптры сняли, ваше высокоблагородие. Касания в них высокого нет. Чуть у пушки одно колесо повыше, так уж и целить нельзя.

Толь изумленно посмотрел на солдата. Умное и серьезное лицо Угодникова поразило его. Поведение поручика было до оскорбительности странно. Но ссора или поединок с ним - ненужная бессмыслица. Дерзость, с которой солдат кинулся спасать Травина, оказывалась еще более спасительной для самого генерал-квартирмейстера. Толь был благодарен Угодникову и спросил с неожиданной мягкостью в голосе:

- Как же ты без диоптра целишь, молодец? Объясни.

- Просто, ваше высокоблагородие... Господин поручик

выучили.

Угодников нагнулся к шестифунтовой пушке, поставил на линию прицела два больших пальца и через углы соединенных суставов навел.

- Промаха не бывает, ваше высокоблагородие. "Черт знает что такое!" подумал Толь и еще раз пожалел, что залез в историю с диоптрами, не спросив броду. Однако ретироваться перед поручиком с продранными локтями не годится.

- А что у вас за лошади, господин офицер? - сердито спросил он. - Одры, а не кони... В засечках... У выносных хвосты голые... Не бережете своей репутации, господин офицер!

Травин медленно повернулся и сказал сквозь зубы:

- Очень жаль, полковник, ежели, по мнению вашему, репутация русского артиллерийского офицера от скотов зависит.

За спинами Толя и Травина раздался лукавый, рассыпчатый старческий смех. Оба они обернулись. На старом мекленбургском мерине сидел Кутузов и весело покачивался в седле. Он был в том же костюме, что и в дороге: сюртук без эполет враспашку над белым жилетом, белая фуражка без козырька. Только не было на нем теперь шинели да прибавились перекинутые через плечо шарф и нагайка. Рядом с ним гарцевал Багратион и неподвижно возвышался на строгом коне Барклай. Позади шепталась, кивая султанами, пышная свита. Откуда они взялись? Как подъехали? Толь вспотел от неожиданности и замер, отдавая фельдмаршалу честь.

- Здравствуй, Карлуша! - проговорил Кутузов. - Ты тут пушишь не дельно, а я слушаю. Да мне и подслушать можно, я ведь не сплетник. Диоптры же и впрямь дрянь. Надобно будет снять их в артиллерии. Вот тогда и будет все по-твоему, Карлуша: steif, gerade, und Einer wie die Andere{88}! А канонир хорош! Подойди ко мне, голубчик мой!

Угодников подошел учебным шагом, так страшно выкидывая кверху носки и дрыгая мускулами ног, что Кутузов опять засмеялся.

- Бывал под командой моей, голубчик?

- Под Аустрелицем, ваша светлость!

- Я вижу, что мой ты! Иные считают, что война портит русского солдата, Михайло Богданыч. А я так обратно думаю: хорош русский солдат, ежели его для войны никакими немецкими фокусами испортить невозможно. Как тебя зовут, дружок?

- Канонир Угодников, ваша светлость!

- Молодец, молодец! Ведь молодец он, князь Петр? Эх, Михайло Богданыч! Как же это? С такими-то молодцами да все

отступать?

Кутузов произнес последние слова громко. Тусклый взгляд его обежал солдатские лица. Он не хотел упустить впечатления от этой давно приготовленной фразы. И увидел именно то, чего ожидал. Вся орудийная прислуга вздрогнула от прилива гордых и признательных чувств. "Уж теперь не пропадем! Знает отец, как взяться за солдата! Да и мы за таким отцом..." Совершенно те же чувства, и гордые и признательные вместе, волновали Багратиона. Сегодня на его улице был праздник. Сколько тягот спало с сердца! Не надо больше им воевать с чужой осторожностью; ни бежать от своей собственной предприимчивости. Во всем финал. Все годится по месту и времени. Амштетен... Шенграбен...{89} Здравствуй, старая, проверенная мудрость! Угрюмое лицо Барклая бросилось в глаза князю Петру Ивановичу. Трудно человеку вынести столько радости, сколько терпит он горя иной раз! А радость делает людей расточительными, заставляет их щедро расплескивать добро. Багратион подъехал к Барклаю.

- Смоленск - позади, а Москва - перед нами. Полно церемониться, Михайло Богданыч! Не лучше ли душевно приблизиться друг к другу?

Кутузов расспрашивал Травина:

- Да не сын ли ты Юрия Петровича, что в отставку бригадиром пошел? И в Москве после дюжинничал?{90}

- Я сын его, ваша светлость!

- Ба-ба-ба! Да ведь я с родителем твоим в Инженерном корпусе на одной скамейке сидел... Хват был покойник! А и ты в него: остер, зубаст... Так и надобно. А Карла за горячку его и недельность прости. Я его давно знаю, еще как он пальцы сосал, знал его. Много лишнего чешет. А говорить нужно, Карлуша, так, как кулаком бить: мало, крепко и больно. Запомни! Травин... Юрья Травина сын... Поди же ко мне, грубиян милый, я тебя поцелую!

Одним генералам позиция у Царева-Займища нравилась, а другие находили ее слабой. Несомненно, что в ней были большие достоинства. Открытое местоположение лишало врага возможности скрывать свои движения. Все возвышенности оказывались под русскими войсками, и это было очень удобно для действий артиллерии. Но, с другой стороны, по низенькому рельефу местности, отсутствовали на ней хорошие опорные пункты, и болотистая речка позади русских линий могла помешать отступлению.

Тем не менее армия строилась в боевой порядок, и в разных концах позиции возводились укрепления. Правда, войска столько

раз уже ожидали сражения и готовились к нему, так долго отступали в виду неприятеля, что в конце концов изверились в своих надеждах на генеральный бой. Но приезд Кутузова, очевидные выгоды царево-займищенской позиции и работы по ее укреплению заставляли думать, что решительный день настал.

В избе, занятой фельдмаршалом, происходило совещание корпусных генералов армии. Кутузов сидел в кресле посредине горницы, окруженный этими нарядными, красивыми, ловкими, изящно-осанистыми людьми. По сравнению с ними он казался короток ростом, грузен, неуклюж и даже жалок со своим кривым, непрерывно слезившимся глазом. У эмеритальной кассы военного министерства в Петербурге можно наблюдать сотни этаких отставных инвалидов, пришедших за получением пенсиона. И никто никогда не встречал такого фельдмаршала. Говорил Кутузов тихо, и когда говорил, то как будто думал о чем-то совсем другом. Но, как ни горячились генералы, как ни поднимали, споря, свои громкие голоса, тихая речь фельдмаршала была слышнее.

- Теперь дело наше, - говорил Багратион, - не в том состоит, чтобы искать позиции. Надо действовать. Мы гораздо неприятеля превзошли и духом и единством...

- Дельно, дельно! - повторял Кутузов. - Ох, как дельно говоришь ты, князь Петр! Мнение ваше, Михайло Богданыч?

- Надобно бой принять, - твердо сказал Барклай. - Что доселе тому препятствовало, не существует ныне.

- Очень дельно! Нижайше, Михайло Богданыч, благодарен я вам за меры подготовительные, к бою принятые. И позиция здешняя хороша отменно.

Раевский сидел молча. Видно было, что он и не собирается говорить. Николай Николаевич знал Кутузова и не сомневался, что мнения генералов нужны ему вовсе не для того, чтобы решить вопрос о бое у Царева-Займища. И фельдмаршал, изредка вскидывая на него свой одинокий глаз, тоже знал, почему молчит Раевский. Для того чтобы другие не поняли этого, он сказал:

- Голоса твоего, герой салтановский, не слышу. Да и к чему слова, когда вместо них дела твои кричат. Молчание - золото. Дельно, очень дельно!

Кутузов обернулся к Платову.

- Тебя ни о чем не спрошу, атаман... Волком рыщешь, боя ищешь... Готовься, братец! Видную тебе в сражении назначаю я роль.

Но, чтобы не подумал Матвей Иванович, будто обещан ему снова арьергард, добавил, обращаясь к маленькому Коновницыну:

- Умри, Пьерушко, а чтобы ближе, чем на два перехода к

хвосту нашему, француза не было!

Значит, Семлево не забылось Платову. Кудрявый генерал с большим горбатым носом и молодецки выпяченной вперед грудью остановил на себе взгляд фельдмаршала. Это был Милорадович, только что приведший из Калуги шестнадцать тысяч наскоро обученных рекрут. Генерал этот был учен: слушал курсы в Кенигсбергском и Геттингенском университетах, изучал артиллерию в Страсбурге, а фортификацию в Меце. Кроме того, был он на редкость храбр и деятелен необычайно. Войска, приведенные им из Калуги, почти не слезали с подвод для скорости движения. Зато и пришли они без ружей и сум, оставшихся в обозе.

- Миша, родной мой! - сказал ему Кутузов. - Утешил ты меня быстротой. Ангелы так быстро не летают!

Всех решительнее настаивал на принятии боя у Царева-Займища назначенный одновременно с Кутузовым в должность начальника его главного штаба генерал от кавалерии барон Беннигсен. Он не сидел, а стоял и по высоте своего роста почти доставал седой макушкой потолок избы. Длинное сухое лицо его было холодно. Но энергичные аргументы в пользу боя вылетали из Беннигсена, как вода из брандспойта. В позиции здешней он видел только достоинства. Успех сражения казался ему бесспорным. От времени до времени он быстро проводил длинным розовым языком по узким губам, - в этом проявлялось его раздражение. Действительно, Беннигсену не нравился весь ход совещания, в котором он мог лишь подавать свой голос, вместо того чтобы собирать и взвешивать чужие голоса. Удовольствие от возвращения к делам и возможности если не направлять, то по крайней мере влиять на них, отравлялось давней привычкой к главному командованию. Долгое время Беннигсен, как казалось ему, с достоинством и блеском занимал положение, в котором Кутузов выглядел сейчас таким жалким и смешным. Беннигсен был единственным генералом в Европе, которого боялся Наполеон. Пултуск и Прейсиш-Эйлау - доказательства. А чем похвалиться Кутузову? Отошедший в историю Измаил да Аустерлиц, способный лишь оконфузить историка? Кутузов отлично знал то, о чем думал Беннигсен, и причины, по которым он так настойчиво требовал боя под Займищем, были ему ясны. "Пожарная кишка, - с досадой подумал фельдмаршал, - и притом дырявая... Надо показать ему, что водяная струя хоть и бьет далеко, но до огня не долетает..."

- А ежели я поручу атаку вам, барон, - неожиданно спросил он, уверенность ваша в успехе, наверно, от того не уменьшится?

Беннигсен живо облизнул губы.

- Этого я не могу утверждать заранее. Но как не верить в успех, когда наши храбрые войска предводимы такими полководцами, как ваша светлость!

Беннигсен извернулся с большой ловкостью и огрызнулся удачно. Кутузов подозвал Толя и сказал ему шепотом:

- Нынче же отправь конную артиллерию на Рязанскую, дорогу, Карл!

Толь, пораженный, наклонился к уху фельдмаршала.

- Что ей делать за Москвой, ваша светлость?

- Пусть отдохнет там, бедная...

Ничего не понимая, Толь продолжал стоять наклонившись. Тогда Кутузов проговорил еще тише, но так повелительно, что полковник вздрогнул:

- Нынче же отправить!

И медленно поднялся со своего скрипучего кресла, отталкиваясь от подлокотников обеими руками. Тусклый, но внимательный взгляд его не спеша прошелся по генеральским физиономиям.

- Благодарю вас, дорогие мои генералы! Чтобы втискивать в дряхлую голову мою мысли ваши, немало терпенья надобно. А в народе английском правильно говорится: "Терпенье - цветок, что не во всяком саду растет". Благодарю и вижу, что с помощью божьей и вашей не напрасно тщусь я вывести российскую армию на пространный путь славы. Благодарю!

Он поклонился всем вообще и сказал Толю:

- Je suis a vous, colonel. Nous allons travailler{91}.

Почти всем генералам русской армии было хорошо известно, как умен и хитер Кутузов. Но к этим качествам его они относились неодинаково. Беннигсен ненавидел их за опасность, которая проистекала от них для его собственного хитроумия. Багратион любовался ими, так как знал, что хитрость Кутузова никогда не выходит за грань благородства, а умная расчетливость мысли не менее широка, чем размах самого князя Петра. Правда, Кутузов предпочитал не рисковать. Но благоразумие его было смело и предприимчиво, планы - громадны, и самые мелкие на вид предприятия направлялись в перспективе к крупнейшим следствиям. Все это знал и Толь. Поэтому когда фельдмаршал и он остались вдвоем, сидя друг против друга за столом с разложенными на нем картами и бумагами, полковник взвешивал каждое слово Кутузова.

- Богатство и силы наши неистощаемы, - говорил Ми-хайло Ларивоныч, - но беречься должно, чтобы не проступиться. Se contenir - c'est s'agrandir{92}!

- Осмелюсь спросить: зачем приказали ваша светлость

конную артиллерию за Москву отправить? Ума не приложу...

- И не прикладывай, Карлуша! От Царева-Займища до Москвы сто сорок семь верст. Надобно арьергард усилить. Коновницын будет вести его. И уж так, чтобы случаев, как у Платова под Семлевом, не бывало. И тебе, милый, за правило взять надо: днем и ночью, без разбору, армия идти больше не будет; надо ей свежей и неутомленной быть, для того марши так изволь располагать, чтобы поутру с биваков был подъем, среди дня - привал, ввечеру же - ночлег. На носу зарубить велю тебе: солдат русский - сокровище... Кабы я мог, на каждой руке по армии нес бы! А теперь бери перо и пиши... Толь приготовился писать приказ о новых распорядках маршей в армии и арьергарде. Он недоумевал: зачем в канун решительного боя отдавать походный приказ?

- Повеления вашей светлости исполнены будут, - осторожно сказал он, но, как видно, уже после боя... Кутузов с досадой перебил его:

- С чего взял ты, что после боя? Пиши приказ о ретираде за непригодностью позиции здешней!

Глава тридцать четвертая

"Ее высокоблагородию, Анне Дмитриевне Муратовой, в городе Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Леццано.

Милая, милая Netty!

Не знаю, должно ли письмо мое порадовать или огорчить тебя. Наша жизнь исполнена чувствований противоречивых, и каждый новый день так тесно переплетает хорошее с дурным, что уже не ищешь первого и не опасаешься второго. Я писал тебе о контузии, полученной мною при отступлении от Смоленска, о жестоких страданиях, и о том, как ждали лекаря, что не нынче-завтра откроется на бедре моем антонов огонь. Все миновалось! Страхи оказались пустыми. Провалявшись десять дней, я встал с моего тарантаса и пошел, как евангельский расслабленный после исцеления. Только одра своего не понес я, ибо тарантас мой был неподъемен. Я очень мучился от проклятой контузии, но если бы знала ты, как я жалею, что это не рана и что руки, ноги, грудь моя - целы. Контузии, как бы ни были они тяжелы и опасны, не пользуются у нас уважением. О них говорят презрительно. Кровь, пролитая из огненной раны, кость, развороченная свинцом, рука или нога, отполосованные хирургической пилой, - вот что уважается и ценится как заслуга чести и триумф благородства. "Он контужен" - это одно. "Он тяжко ранен!" - это совсем другое. Дух наш таков, что лишь непоправимое может нас успокоить. В таком печальном настроении вернулся я к моему любезному

князю и, наслаждаясь счастливой близостью с этим необыкновенным человеком, делаю то, что он приказывает, с ревностью и усердием, перед которыми меркнет вся моя прежняя старательность.

Однако случилось так, что первое же поручение князя поставило меня лицом к лицу с очень неприятными впечатлениями. Я должен был передать несколько добрых слов Багратиона генералу Барклаю (они уже не враждуют) и отправился в избу, где стоит наш бывший главнокомандующий. Это было вечером, на другой день после приезда к нам фельдмаршала. Барклай в глубокой задумчивости сидел за столом, на котором чадила оплывшая от неснятого нагара свеча. Его лицо, на котором обычно очень трудно бывает разглядеть что-нибудь внутреннее, явственно отражало на себе невыразимую грусть. Я исполнил поручение. Он кивнул головой, не промолвив ни слова, и опять задумался. О чем? Со всех сторон доносится до него оскорбительная кличка изменника. На смену ему прибыл в армию новый вождь. Войска, которыми он до сих пор предводительствовал, стоят у ворот Москвы. Мне стало жаль Барклая, и я подумал: "Вот жертва счастья, которое несправедливо даже к своим избранникам!" Tel brille au second rang, qui s'eclipse au premier{93}! С этими философскими мыслями я вышел из избы.

За углом, в полной темноте - дело происходило вечером, - я столкнулся с ротмистром фон Клингфером, адъютантом генерала Барклая. Это тот самый офицер, с которым мне должно было драться в Смоленске. Я писал тебе об этой истории, ее странном исходе и встрече нашей в лазаретном обозе. Мне было худо. Клингфер тяжко страдал от раны в плечо. Люди выдумали позолоту, потому что золото редко. А вежливость изобрели, чтобы прикрывать ею недостаток добра в человеческих отношениях. Когда судьба уложила нас рядом в тарантасе, мы начали с вежливости. Но ничто так не сближает людей, как совместное страдание. Воля здесь не участвует. И вскоре Клингфер и я нашли тот деликатный язык общности, разговаривая на котором, легко договориться и до дружбы. Плечо Клингфера зажило довольно быстро. Расставаясь, мы оба чувствовали, что кровавое решение, к которому стремились в Смоленске, не лучшее и не единственное...

Моя маленькая сестрица! Мне кажется, что при глубоком знании людей очень трудно чем-нибудь воодушевляться. Но я плохо знаю людей, и поводы для воодушевления подстерегают меня в жизни на каждом шагу. Встрече с Клингфером за углом Барклаевой избы я обрадовался почти как встрече с братом. Мы

крепко пожали друг другу руки, и я с естественным пылом заговорил о событиях:

- Слава богу, ропот в войсках стихает. Они чувствуют наступление торжественных дней великой развязки и отмщения. Их ведет маститый вождь... Говорят, что фельдмаршал настаивал перед государем на полной свободе действий и получил ее. Это - конец отступления и вернейший рецепт победы...

- Я все это знаю, - с неожиданной холодностью отвечал мне Клингфер, но почему вы думаете, что Кутузов поведет армию прямо к победе? Едва ли! Он хитрей, чем вам кажется. Отстранив от главного командования генерала Барклая, он будет продолжать его линию, так как других, правильнейших, нет.

Грустная фигура Барклая стала у меня перед глазами. Ему было тяжело. Но бог с ним! Не погибать же из-за него армии и России! Странная мысль пришла мне в голову. Вот разница между сторонниками и близкими Барклаю людьми и нами, кто всеми чувствами своими с Багратионом, а надеждами с Кутузовым: те служат Барклаю, оскорблены за него и хотят подчинить общее будущее судьбе этого человека; мы же служим не Багратиону, не Кутузову, а России и нашему славному народу, в своем доверии и любви к вождям мы не отделяем их от народа и армии ни в настоящем, ни в будущем. Не знаю, достаточно ли понятно выразил я мысль, которая вдруг потрясла меня и с поразительной ясностью показала, как глубока и непроходима пропасть, отделяющая меня от Клингфера. Он и я - враги. Вражда - суть наших отношений. А то, что было в лазаретном обозе, - не примирение, а всего лишь перемирие. Мысль зажглась и не потухла. Поэтому я запальчиво возразил Клингферу:

- Генерал Барклай сам отстранил себя от главного командования тем, что не совладал с желаниями войск. Не Кутузов сделал это, а он сам... От моего генерала мне известно, что фельдмаршал...

Клингфер дерзко усмехнулся.

- Может быть, князь Багратион еще и сам не знает, что фельдмаршал только что подписал приказ об отступлении...

Если это верно, то князь Багратион не мог не знать об этом заранее. А если не знал, то... И я крикнул:

- Не верю! Ложь!

Разговор наш, так безобидно начавшийся, ринулся вниз, подобно водопаду, прыгающему с камня на камень. Я не хочу вспоминать дерзости, которые вылетали из нас, как пробки из бутылок. В мгновение ока мы очутились в том самом положении, из которого для порядочных людей не существует иного выхода, кроме выбранного уже нами в Смоленске. Но Смоленск был

позади. С тех пор я много пережил, передумал и перечувствовал. Поединок? Глупо! А что же умней и справедливей? У меня опустились руки.

- Через полчаса у вас будет мой секундант, - сказал Клингфер, повертываясь.

- Обождите! - крикнул я, стуча зубами от гнева. - Не лучше ли рассчитаться без этих господ? Мой секундант - Россия. Наш поединок - бой за Москву. Клянусь, что каждый шаг мой будет поиском смерти за отечество. Соглашайтесь! Клингфер подумал.

- Хорошо! - сказал он наконец. - Это разумно. Клянусь, что буду искать смерти. Прощайте!

У меня есть новый друг - артиллерийский поручик Травин, бедный армейский офицер, невидный и непритязательный, но с огромной душой и свежим до блеска умом. Когда я рассказал ему о моем новом столкновении с Клингфером и нашем решении, он поздравил меня в немногих, но очень сильных содержательных словах:

- Кажется, что и аристократы могут быть людьми!

Твой друг и брат А. Олферьев.

С. Ц.-Займище.

18 августа 1812 года".

Глава тридцать пятая

Армии подошли к Колоцкому монастырю, остановились, и сейчас же возник вопрос о позиции для боя. Правый фланг колоцкой позиции был высок и решительно господствовал над всей линией. Но если бы войска правого фланга были смяты, вся линия была бы вынуждена к немедленному отходу. А отступать можно было только через тесную и узкую долину. Пока генералы обсуждали эти вопросы, подполковник Давыдов и прапорщик Александр Раевский лежали на шинелях под высокой березой и беседовали.

Что делает судьба! Еще в год итальянской кампании, когда Давыдову было всего-навсего пятнадцать лет, покойный отец его купил по случаю подмосковное сельцо Бородино с округой и ближними деревеньками. От Колоцкого монастыря до Бородина считалось двенадцать верст. Следовательно, Давыдов был на своей собственной, ему принадлежавшей земле. Но как все странно здесь! Стелется дым биваков, ряды штыков сверкают над сжатыми полями, и тысячи вооруженных солдат топчут родные холмы.

- Мы лежим, Александр, - говорил Давыдов, блестя своими горячими и быстрыми глазами, - на том самом пригорке, где я когда-то мечтал и резвился. Здесь с жадностью читал я о подвигах Суворова в Италии. И вот гляди: воины твоего отца роют редуты

под нашими ногами. Видишь лесок позади нас? Там рубят засеку. Он кипит егерями вплоть до болота и мхов. А ведь по ним со стаею гончих некогда полевал я. Все изменилось! Я лежу с трубкой в зубах и смотрю на эти места. Но нет уже у меня угла в собственном доме, нет его и в овинах, занятых генералами. Шумные толпы солдат разбирают избы и заборы. Им ведомы лишь бивачные нужды. Счастливцы! А я? В священную лотерею войны я вложил все, что есть у меня, - кров и имущество...

Александр Раевский слушал эту речь Давыдова, и кривая улыбка скользила по его сухому, желтоватому лицу. Давыдов и он приходились сродни. Но разность возрастов, а может быть, и что-то другое, мешала их близости. Пылкая искренность и порывистый нрав старшего родственника казались молодому Раевскому старомодными и смешными чудачествами, вроде пудреной косы или коротеньких панталон. Давыдов вскочил с шинели и накинул ее на себя.

- Блажен, - воскликнул он, - трикрат блажен, кто, вынув мокрый сапог из стремени, идет к себе в сухой и теплый угол! Блажен, кому добрый походный товарищ, самовар, затягивает свою бесконечную вечернюю песню про родные края и бывалые веселые дни! О, лихой запевало в хоре воспоминаний, как я люблю тебя! Вон наш старый господский дом, Александр. Пойдем туда! Нет самовара запоют стены...

В доме хозяйничали солдаты. Лаковый пол круглого зальца был усыпан осколками разбитых зеркал, диваны и кресла ободраны. Гумар Циома колотил палкой по хрустальной люстре и трясся от хохота, наблюдая, как алмазным дождем разлетались ее длинные подвески. Давыдов вспыхнул.

- Зачем ты это делаешь, осел?

Циома бросил палку за окно, вытянулся, снял кивер и, задыхаясь от смеха, пролаял громовым басом:

- Да так, ваше высокоблагородие, щобы хранцу не прийшлося.

Давыдов поднял руку. Он хотел наградить патриота зуботычиной.

- Вот, вот, - язвительно сказал Раевский, - что же делать! Прошлое переходит в будущее, и мы ясно видим, как это совершается. А ежели, по неловкости своей, этот болван и вас заденет?

- Не заденет! - отвечал Давыдов, опуская руку. - А от твоей философии сильно воняет Игнатием Лойолой. Не люблю! Родине - все! Прав гусар! Бей, Циома! Кроши! Благословляю!

Раевский усмехнулся.

- Хоть и оба мы, дядюшка, к партизанству склонны, но воображение мое не до такой степени, как ваше, распалено...

- Ты партизан? - с изумлением спросил Давыдов.

- Конечно. Иного лишь несколько рода, чем вы. Вспомните историю мою с письмом Багратионова лакея. Другую - с графом Михаилом Семенычем Воронцовым, коего раздел я до костей при народе. Партизан настоящий! И, подобно вам, терплю гоненья...

- Экий ты, Александр! - задумчиво проговорил Давыдов. - И когда вы, такие, успели народиться? Ты да Чаадаев Петр... Оба - дети, но ты - желт, а он - лыс. Жаль мне вас, дети! Нет, партизанство ваше - не мое дело, а мое не ваше. Вам ходу нет и не будет. Граф Михаиле Воронцов рассчитается с тобой за издевку и через десять лет. А мне ход есть. Письмо князю Петру Ивановичу написал я. Олферьев обещал пособить в доставлении. Идем к Алеше!

В овине горела свеча под бумажным колпаком, и мутные отсветы ее колеблющегося пламени причудливыми тенями плясали на бревенчатых стенах. Багратион только что вернулся от Кутузова. Разговор с фельдмаршалом был долог и ровен, мягок и спокоен. Сколько вопросов было обсуждено без споров и решено согласно! Все это вперемежку с воспоминаниями, с тонкими и умными речами о Петербурге, о Наполеоне и его маршалах, о берлинских слизняках-политиках и мишурных австрийских генералах. Светлая голова у Михаилы Ларивоныча! Недаром говаривал о нем Суворов: "И Рибас{94} не обманет!" Однако в ночной беседе этой было и нечто такое, от чего сидел сейчас Багратион, крепко ухватившись за виски обеими руками и запутав длинные пальцы в крутых кудрях. Как ни тяжело было князю Петру подчиняться Барклаю, но было в этой тяжести и нечто легкое: уверенность в своей правоте, возможность раздражаться, спорить, шуметь и требовать от имени ста пятидесяти тысяч человек. Правда, потом это изменилось: нарушилась уверенность в своей правоте, оказались ненужными споры, притупилось раздражение и все заслонилось надеждой на скорый приезд Кутузова. Уже в Дорогобуже Багратион знал, что Барклай, отступая, не делал ошибки. Но не сомневался также и в том, что отступлению этому настал естественный конец. Не отдавать же Москвы без боя? Да какое же русское сердце может выдержать одну мысль эту? И Барклай не спорил. Все было готово для боя. Багратион успокоился и ждал. Приехал Кутузов. В Цареве-Займище и сам фельдмаршал, и Барклай, и все до одного генералы говорили о бое так, как будто неизбежность его сама собой разумелась. Лишь Беннигсен доказывал и требовал. И Кутузов был согласен. Кому, как не Багратиону, знать Кутузова? Князь Петр Иванович не тревожился. С тех пор прошла неделя. В чем? В отступлении. Через несколько часов армия снова снимется

с биваков и отойдет еще на двенадцать верст к Москве - к Бородину. Что же такое происходит?

Прежде Багратион возмущался тем, что признавал ошибочным в стратегии Барклая, самим Барклаем, сдачей Смоленска. Но то было столкновение взглядов, характеров и воль, смысл которого разъяснялся в спорах. А теперь? Страшно легко и просто подчиняться Кутузову. Не за что запнуться на гладком пути отношений. И спорить не о чем. Нельзя отдать Москву без боя - значит, нужен бой, и будет. Так! Бесспорно! Но за бесспорностью этой крылась в Кутузове непонятная задняя мысль. О спасении России он говорил и охотнее и с большим воодушевлением, чем о спасении Москвы. Почему? Россия стояла в лесах, высилась в горах, двигалась и жила в огромных своих реках. А Москва, полураздавленная, лежала почти в глазах врага. Почему же Россия, а не Москва?..

Багратион терзался в смущении и догадках. Он пробовал спрашивать Кутузова о его намерениях напрямик. Но Михайло Ларивоныч так удивлялся, что удивлением своим приводил князя Петра в конфуз. Пытался избоку, хитрецки разведать. Да что такое Багратионова хитрость перед кутузовской! А если снять с происходящего мягкую корочку слов и недомолвок, вылущится твердый, как камень, орех: отстранив от своих распоряжений и царя, и Барклая, и Багратиона, все подмяв под себя, Кутузов продолжал делать то, что делал до сих пор Барклай и чего даже он не стал бы теперь делать. Ничего нельзя понять, кроме того, что Москве грозит смертельная опасность. И бороться с этим нельзя, - не за что взяться... Сердце Багратиона болело и ныло в жестокой тревоге.

Утром Олферьев передал ему письмо подполковника Давыдова. Сегодня Петр Иванович докладывал Кутузову по этому письму. Давыдов писал:

"Князь! Пять лет я был адъютантом вашим, везде и всегда близ стремени вашего. Вы - единственный мой благодетель. Потому и пишу вам так, как если бы отцу писал. В ремесле нашем, князь, тот лишь выполняет свой долг, кто, не боясь переступить через черту его, не равняется духом, как плечом в шеренге с товарищами, на все напрашивается и ни от чего не отказывается. Долг требует порыва, бесстрашного рвения вперед, смелого действия и отважной мысли. Впрочем, кому я говорю это? Вам. Но вы таковы именно, а я лишь тщусь таким быть.

Душа моя истомилась от вседневных ретирад. Они уже давно захватили недра России. Обращаясь к себе собственно, скажу: если должно непременно погибнуть, то пусть умру под вольными знаменами родины, хотя бы и развевались он и за спиной

безбожного врага!

Неприятель идет одним путем, но путь этот по протяжению своему велик чрезвычайно. От Смоленска до Гжати тянутся французские транспорты с продовольствием. Меж тем широкая и раздольная Россия - на юг от этого пути. Все здесь удобно для изворотов небольших отрядов. При арьергарде - множество казаков. А нужно их столько лишь, сколько требуется для содержания аванпостов. Не лучше ли было бы остальных разделить на партии и пустить в середину обозов, следующих за Бонапартом? Ежели наткнутся наездники на крупные французские силы, позади них достаточно простора, чтобы избежать поражения. А ежели не случится того, они истребят немало источников, от коих армия французская питается и живет, - отобьют заряды, захватят провиант... Не так изобильна земля наша, чтобы одна придорожная часть ее могла бы прокормить двести тысяч французов. Но это не все. Появление партизан среди разрозненных поселян наших обратит войну во всенародную битву..."

Мысли Давыдова показались Багратиону достойными внимания. И он передал Кутузову содержание письма. Михайло Ларивоныч слушал и кивал головой. Но, как всегда, заинтересовало его в предложении Давыдова не то, что Багратион признавал за главное. Он как будто даже и не заметил этого главного: возможности посредством постоянных набегов на тылы расстроить движение французской армии, ослабить ее перед боем и тем облегчить победу. Кутузов думал не об этих неотложных задачах, а о чем-то совсем другом.

- Широка и раздольна Россия на юг от французского пути, - повторил он несколько раз мысль Давыдова. - Дельно, очень дельно! Как знать, может, в дальнейшем партизанство это и пользу принесет. А покамест, князь Петр пошлем-ка всамделе Давыдова твоего для пробы, в тыл к Бонапарту.

- Большую ли партию пошлем, ваша светлость? - спросил Багратион.

- Что ты... Что ты... Успех предприятия этого очень и очень сомнительным полагаю. Дай ему полсотни гусар да сотни полторы казаков. Да чтобы непременно сам с ними пошел.

И опять Багратион не понимал: чего опасаться? Зачем откладывать на будущее то, что теперь же должно пользой означиться?

Князь Петр поднял голову. "Хорошо! Коли так, нынче же отряжу Давыдова с партией и дело сам возьму под надзор..."

- Эй, Алеша! Отыщи Давыдова, Дениса... Немедля!

- Да он здесь, ваше сиятельство!

Услышав о согласии фельдмаршала. Давыдов засиял. Но пятьдесят гусар и полтораста казаков смутили его. А условие, чтобы сам шел с партией, показалось даже обидным.

- Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение другому. Вы знаете меня, - я ли на все не готов? Однако людей мало...

- Согласен, душа! Да что я могу? Не дает больше светлейший...

- Ежели так, пойду и с этими. Авось-либо открою путь отрядам покрупнее!..

- Этого, душа Денис, и я ждать буду. Скажу тебе между нами: непонятен светлейший мне! Что за торговля из-за двух-трех сотен человек, когда при удаче завтра же Бонапарт лишится очередного подвоза и сойдет на дохлый рацион? А ежели неудача суждена - пустое потерять сотню-другую. Война не для того, чтобы целоваться. Я бы с первого абцугу{95} три тысячи дал, ибо не люблю ощупью делать. Но... убедить светлейшего не смог!

Давыдов посмотрел на Багратиона с восхищением.

- Верьте, князь, партия моя цела будет. Вот секрет успеха: отважность в залетах, решительность в крутых случаях, неусыпность на привалах и ночлегах. За это я берусь, и - голову на плаху - так и пойдет!

- Дай руку, душа Денис! Чуешь, как жму крепко? А теперь обожди, я тебе инструкцию начерчу...

Багратион сел за стол и, склонив голову к правому плечу, принялся медленно водить пером по бумаге. Давыдов стоял за его спиной и, тоже склонив к плечу голову, читал неровные строки:

"Ахтырского гусарского полка подполковнику Давыдову.

С получением сего извольте получить сто пятьдесят казаков от генерал-майора Карпова и пятьдесят гусар Ахтырского гусарского полка. Предписываю вам употребить все меры к тому, чтобы беспокоить неприятеля со стороны нашего левого фланга и стараться забирать фуражиров его не с фланга только, а и с середины, и с тыла, расстраивать обозы, ломать переправы и отнимать все способы. Словом сказать, полагаю, что приобретя столь важную доверенность, почтитесь вы расторопностью и усердием оправдать ее. Впрочем, как и на словах вам мною приказано было, извольте лишь меня обо всем рапортовать, а более никого. Рапорты доставляйте при всяком удобном случае. О движениях ваших никому не должно ведать, - в самой непроницаемой тайности старайтесь держать. Что же касается до продовольствия команды вашей, - сами имейте о нем попечение.

Генерал от инфантерии кн. Багратион. 22 августа 1812 г. На позиции".

Подписав инструкцию, князь Петр Иванович порылся в бумагах, достал оттуда карту Смоленской губернии и протянул Давыдову.

- С богом, душа! - сказал он, крестя партизана. - И помни: крепко на тебя надеюсь я.

У генерала Васильчикова ужинали несколько генералов и полковников. Несмотря на позднюю ночь, в палатке было шумно и весело, когда туда ворвался Давыдов.

- Ларион Васильич! Неотложно! Вот предписание князя Петра Иваныча!

Васильчиков прочитал. Пунцовые щеки его округлились в насмешливой улыбке.

- Обошли-таки меня! А все утверждать буду: вздор задумали, батенька, вздор, вздор!

Васильчиков показал предписание генералам. Денщики бегали кругом стола, звеня посудой. За занавеской пыхтел толстый повар в белом колпаке и хлопали пробки. У генералов были красные лица и мутноватые глаза. Одни с молчаливым недоумением пожимали плечами, другие принимались острить.

- Слушайте, Давыдов, - сказал, мрачно улыбаясь, командир третьего корпуса Тучков, - брат мой Павел взят французами в плен под Валутиной горой, а сейчас, по слухам, в Кенигсберге. Очень прошу вас, кланяйтесь ему, не позабудьте!

- Ха-ха-ха! - загремело в палатке. - Напрасно затеяли вы это, Давыдов!

Денис Васильевич не слушал.

- Дайте мне Ворожейкина, генерал, - просил он Васильчикова, - а гусар и казаков я сам отберу!

- Сделайте милость, берите, отбирайте... Вам ведь Бонапарта в плен тащить надобно.

- Кабы не обстоятельства, не был бы Бонапарт ни силачом, ни исполином на весь мир. А был бы он просто исправным офицером, хотя и весьма неуживчивым. Вот как Давыдов... Уж не метит ли, господа, и Давыдов в Бонапарты?

Денис Васильевич выбежал из палатки под веселый генеральский смех.

Рано утром армии двинулись к Бородину. Переход предстоял небольшой, но тяжелый. Солдаты шли, опустив головы. Близость Москвы заставляла их сердца биться опасливо и тревожно. Французы наседали на арьергард с каждым днем, с каждым часом все отчаяннее и грознее.

Уже третьи сутки Коновницын не выходил из боя, и канонада позади не прекращалась ни на минуту. Раненые из арьергарда толпами брели в хвосте армий. Медленно тащились лазаретные

фуры. Руки и ноги раненых, выпав наружу, бились о края телег или об колеса. Эта картина угнетала, пугала предчувствиями бедствий. Войска теряли дух.

Партия Давыдова была готова, но до Бородина следовала при войсках. Денис Васильевич, от которого ни на шаг не отставали Ворожейкин и Циома, нагнал Олферьева, чтобы проститься. Они уже и обнялись и поцеловались, да, заговорившись, никак не могли расстаться. Их кони, не чуя поводов, незаметно отошли в сторону от дороги. Приятели тянулись кустами и кочками по топкому болотцу, не глядя перед собой. Вдруг лошадь Давыдова вспрянула и скакнула. Из-под передних ног ее поднялся большой серый русак. Заложив длинные уши, он метнулся было вправо, но попал под копыта олферьевского коня и, потеряв от страха соображение, понесся прямо к проходившей по дороге колонне войск: но здесь, очутившись между лошадьми, окончательно обеспамятел. Солдаты загикали. Многие кинулись ловить гостя. Русак прыгал туда-сюда и никак не мог прорваться. Зашумела рота, другая, полк, дивизия. Это было странное, небывалое зрелище заячьего гона на марше истомленных войск. Вдруг из-за перелеска показался белый мерин фельдмаршала. За Кутузовым ехала большая и блестящая свита. Михаил Ларивоныч остановил коня и, улыбаясь, смотрел на солдатскую забаву. Русак был ловок и не хотел сдаваться. Неожиданный вольт обманул его преследователей. Он выскочил из-под сотни протянутых к нему со всех сторон рук и пропал в поле.

- Ах, раздуй те горой! - кричали солдаты. - Кавалерия! У-лю-лю!..

Кутузов уже не улыбался. Он хохотал, колыхаясь рыхлым, толстым телом на плоской спине своего мекленбуржца и обеими руками держась за бока. Смех его сперва дружно отозвался в ближайших частях, оттуда перекинулся в соседние, а затем и в дальние. "Эх, из раевского корпуса хваты распотешили отца!" Эхо мчалось, как электрическая искра. И вскоре захохотала вся армия. Смеялись одновременно тысячи людей - те самые люди, которые были надеждой России. Это был вольный, смелый, безоглядочно веселый смех. В его оглушительных раскатах потонули отзвуки арьергардного боя, и громкое эхо его, забежав вперед, отозвалось в Бородине. Давыдов взглянул на Олферьева. Корнет был бледен. Счастливая улыбка дрожала на его губах, слезы на ресницах.

- Денис! - прошептал он. - Если бы Наполеон видел и слышал это, он понял бы, что погиб!

Отскакав со своей партией верст двадцать пять к югу от Бородина и пробираясь глухой лесной засекой к реке, Давыдов спросил Циому:

- Нынче утром, когда рыскал по войскам заяц, ты громче всех рявкал. Боялся я, что разорвет тебя от хохота. Чему, братец, смеялся ты?

Циома опять прыснул.

- Фитьмаршалк! - отвечал он.

- Фельдмаршал смеялся... А ты что?

- Що се такой за чоловик, ваше высокоблагородие! (Добре, що у него одно око. Як бы сему чоловику да два "ока - так ховай боже!

"Алеша прав, - подумал Давыдов, - погиб Наполеон!" И, приподнявшись на стременах, потрепал голиафа-гусара, как ребенка, по щеке.

Глава тридцать шестая

Ещедо полудня армии подошли к Бородину и начали втягиваться на позицию. Здесь Кутузов решился дать бой. У него были такие соображения. По численности его армия уступала французской, но по духу нетерпения, с которым ждала боя за Москву, была сильнее. Несбыточное дело - сдать столицу, не испытав оружия. Французы кичились тем, что преследовали русских, - надо было научить их уважению к русскому оружию. Надо было и самому фельдмаршалу завоевать доверие армии. Многое уже было сделано, но дальнейшее уклонение от боя могло принести беду. Бой был необходим. Наголову разбить Наполеона и отбросить его от Москвы Кутузов почти не надеялся. Да если бы, сверх всяких расчетов, это и случилось, цена такой победы была бы чрезмерно высока.

Даже при равной с обеих сторон потере, даже разбитый, неприятель становился вдвое сильнее русской армии. Потерпев неудачу, Наполеон отступил бы, присоединив к себе следовавшие сзади и стоявшие на Двине войска, а затем мог бы очень скоро вновь атаковать Кутузова с тройными силами. Разбив Наполеона и потеряв равное с ним количество людей, русская армия становилась вдвое слабее. В таком положении она должна была бы отступить и сдать Москву. Следовательно, победа не могла доставить Кутузову больших выгод. Но фельдмаршал не сомневался также и в том, что его армия отнюдь не может быть наголову разбита и что отпор, который встретят французы у Бородина, будет беспощаден и жесток. Этого, собственно, он и желал и с этой целью именно решил дать бой, предвидя большую потерю людей и зная заранее, что ему предстоит сдать Москву. Главные надежды свои он возлагал на помощь народного ополчения. Когда Кутузов и Багратион говорили о неизбежности победы над французами, они оба были уверены в этой победе. Но под словом "победа" понимали разные вещи: князь Петр

Иванович - прямой и полный разгром французов на поле боя, а Михаил Ларионович - такой отпор французскому натиску, в результате которого даже овладение Москвой не сможет возместить понесенного врагом урона на поле боя. Багратион мечтал сразу уничтожить "великую армию". Кутузов же рассчитывал лишь непоправимо подорвать ее наступательную мощь, откладывая уничтожение на зиму. Они не спорили, так как Кутузов не желал раскрывать свои планы, а Багратион хотел и чувствовал недосказанность, но не мог разгадать того, что за ней крылось.

Главная квартира Первой армии находилась в селе Горки. Отсюда была отчетливо видна вся бородинская позиция: холмы и курганы, слившиеся вправо от Горок с крутым и обрывистым берегом извилистой речки Ко-лочи; поляны и кустарники, тянувшиеся влево от оврага, и леса за деревней Семеновской. Стоило взглянуть на всю эту местность, чтобы сразу заметить, как неприступен закрытый Колочей правый фланг и как открыт, а потому и слаб, левый. В середине позиции поднимался довольно высокий курган, его уже укрепляли насыпной батареей и земляным валом. Другой курган выступал далеко впереди левого фланга, у деревни Шевардино; эту деревню срывали, а на кургане строили редут. Село Бородино, подобно Шевардину, тоже было впереди позиции и соединялось с ней мостом через мутно поблескивавшую Колочу. За Бородином, на горизонте, сверкал круглый купол высокой колокольни Колоцкого монастыря.

На гребнях холмов и курганов горела сталь штыков и медь орудий, гудели тысячи голосов, разносилось конское ржание. Полки выходили на линию. Пушки въезжали в интервалы между полками. Армия строилась в три линии - егерскую и две пехотные, но за ними стояли еще резервные части и кавалерия. Поэтому фронт состоял из шести или семи линий, занимавших в глубину не менее версты. Прорвать его было не легко.

В полдень двадцать третьего августа, сопровождаемый Барклаем, Толем и свитой, Кутузов выехал из села Горки для осмотра позиции.

Левый фланг был занят Второй армией Багратиона. В деревне Семеновской расположилась главная квартира князя Петра Ивановича. Он встретил фельдмаршала у курганной батареи, с которой начинался его фланг. Кутузов потянулся к нему с седла, как ребенок тянется на руки к взрослому, обнял, прижал к себе и расцеловал.

- Вот и пришли, князь мой любезный, а? Пришли; ведь?

В вопросе этом заключался ответ на все сомнения, Багратиона. Князь радостно улыбнулся.

- Пришли, ваша светлость, на стоянку... Так просто с нее уж никуда не уйдем! Кутузов кивал головой.

- Куда идти?.. Костьми ляжем тут... Идти некуда.

Он повторял эти слова, а сам думал: "Мало сказали князь Петр, но сказал все, чем полна душа каждого русского воина из собравшихся здесь многих тысяч. Дорвались! Вот чем душа их сейчас живится. Умеет князь Петр один за всех выговорить крепко. Но... главного постичь не сумел!" Последняя мысль пришла Кутузову в голову потому, что Багратион в это время быстро показывал рукой на возвышенности правого фланга позиции, потом на изборожденные оврагами равнины левого фланга и взволнованно говорил:

- Ваша светлость, благоволите, однако, сличить благополучие соседей моих с моей бедностью! Сама природа прочными и недоступными к овладению соорудила тамошние места. У меня же ни горки, ни горбика - чисто поле. Трудно биться здесь! Меж тем колдовать не надо: ринется Бонапарт против левого фланга. Вот ключ к позиции моей валяется, как не схватить?

Багратион показал на широкую полосу туго укатанной Старой Смоленской дороги, которая огибала с края левое крыло его фланга и вела через деревню Утицу на Можайск.

- Выскочат французы на Утицу - мне конец, ваша светлость! Оттоль лесами к Семеновской на ближний пушечный выстрел подать - пустое.

Все это Кутузов отлично видел и знал. Придумано было у него и то, чем можно было бы предохранить левый фланг от беды, которую так ясно и верно предвидел Багратион. Но мало ли вокруг бездельников-болтунов и злодеев? Кутузов не любил громко говорить о своих планах. А этот план в особенности требовал тишины. Однако Багратион начинал горячиться.

- Ваша светлость повелели отклонить левое крыло мое от Шевардина за овраг. Ныне он позади, а тогда впереди нас очутится. Осмеливаюсь вашей светлости представить: мерой этой двойной достигается ущерб. Во-первых, центральная батарея, которую корпус генерала Раевского защищать будет, на линии позиционной выпятится углом и оттого подвержена станет продольному огню артиллерии и справа и слева. Во-вторых, Шевардинский редут, на который я также войска свои ставлю, вовсе для обороны становится бесполезен, больше чем на пушечный выстрел от него отойдем мы...

И опять Кутузов все это знал. И уже подумал, что следует противопоставить этим неудобствам и какие, гораздо более важные, выгоды от них произойдут, - рассчитал и взвесил. Вот, например, Шевардинский редут. Багратион полагает, что в связи

с отходом левого крыла он становится ненужным и что укреплять и оборонять его излишне. А ведь только с Шевардинского редута и возможно поддержать отступление арьергарда, когда он начнет втягиваться на позицию. Коновницын дерется как лев, но мужеству и силам его громадность неприятельских полчищ поставит предел. Того и смотри, пойдет он назад полным маршем, - тогда-то и понадобится Шевардинский редут. Следовательно, не прав князь Петр. А чтобы не горячился он, надо его успокоить.

- Князь мой любезный, - сказал Кутузов, - верно ты все о фланге своем говоришь. Согласен с тобой, как бы сам с собой. Карл? Где ты, Карл? Прими приказ мой. Оконечность левого Князева крыла редутами укрепить - для того людей с инструментом загодя дослать. Впереди деревеньки этой - Семеновка, что ль? - до вечера нынешнего флеши возвесть. Деревеньку укрепить не поспеем, - снять ее. Ах, князь Петр! Софизмы теоретические расширились в ремесле нашем, подобно как шарлатанство в медицине. Мы же сделаем просто. Лес за крылом твоим перегородим засеками и тем непредвиденные атаки и опасность устраним. И резервы к тебе придвинем. Слышь, Карл? Переведи, голубчик, к князю поближе пятый гвардейский корпус, гренадерскую принца Карла дивизию да третью пехотную...

Кутузов говорил, не задумываясь и не выбирая выражений, - как видно, все это не сейчас пришло ему на мысль. Толь подхватывал распоряжения и с поразительной расторопностью передавал их квартирмейстерским офицерам.

- Поняли?

- Так точно, полковник!

- Перескажите.

Только что прикомандированный к квартирмейстерской части Александр Раевский, Полчанинов и другие офицеры повторяли приказания и, повернув коней, стремглав мчались по позиции. Манера Толя требовать повторения понравилась Кутузову, - это был верный способ избежать ошибок и путаницы. Он подозвал к себе полковника и сделал знак свите отъехать.

- Карлуша! Левое крыло войск Князевых, отодвинув за лощину, сблизим мы с лесом, в коем сейчас засеки рубить начнут. Займем лес стрелками. Но не в том главное. А в том, что надобно третий пехотный корпус Тучкова вывести на левое крыло и поставить позади него, за лесом, в засаду. Когда французы пустят против князя Петра последние резервы, прикажем Тучкову скрытое войско свое двинуть во фланг им и в тыл. Тем самым от опасности князь Петр спасен будет, да и все сражение сразу вид

для нас выгоднейший примет. Понял ты, Карл?

- Так точно, ваша светлость! - отвечал Толь.

По свойственной ему сметливости, он мгновенно оценил всю важность кутузовского плана: "Da ist der Hund begraben{96}! - подумал он. - Этим и судьба моя решится..." И, сняв шляпу, низко склонил голову перед фельдмаршалом.

- Понял, стало быть? - улыбаясь, еще раз спросил Кутузов. - Ну, так перескажи...

Толь вздрогнул. Что это? Слава богу, он не прапорщик!

- Да не мне перескажи и не кому еще, а князю Петру. Дело это полной дискретности требует до самого своего свершения. Ты, да я, да князь Петр. Наипаче же беречься надобно, чтобы не уведомился о нем господин начальник главного штаба моего, барон Беннигсен. На носу заруби! Но князю Петру перескажи, - от себя якобы, из бескорыстной преданности. Может, и простит тебя, яко сотрудника в наиважнейшем деле, за дорогобужскую твою грубость. Повинную голову меч не сечет!

Глава тридцать седьмая

Арьергард Коновницына держался до последней крайности. Всю ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое августа и утром двадцать четвертого грохотали за Колоцким монастырем пушечные разговоры. И только двадцать четвертого, в обед, арьергардная кавалерия генерала Сиверса вырвалась из этого ада к бородинской позиции, неся неприятеля на плечах от самой Ельни. Отход Сиверса был поспешнее, чем требовалось. Но устоять против напора навалившейся на него со всех сторон чудовищной громады французских войск он не мог. Почти весь этот день Кутузов и Багратион простояли на левом фланге под сильнейшим огнем, наблюдая за ходом отступления. Ядра с визгом пролетали над их головами, кони шарахались, храпя. Князь Петр Иванович не спускал глаз с поля, на котором происходил бой. Поспешность, с которой Сивере вел свои драгунские полки, его бесила. Ведь на левом фланге еще не кончены земляные работы, не срыто Семеновское, не возведены еще перед ним столь необходимые флеши, а сражение уже грозит перекинуться сюда и захватить именно левый фланг. Сквозь дым, клубившийся над полем, можно было различить все маневры Сиверса. Вот он вводит свои войска в сферу огня Шевардинского редута. Через десять-пятнадцать минут он выведет их из этой сферы, и тогда войдут в нее французы.

- Алеша! - закричал Багратион. - Скачи, душа, на редут к Горчакову! Гляди, чтоб не проспал он! Через десять минут французы будут под реданом. Все пушки на картечь! Хлестать в лицо!

Олферьев сорвался с места, хвост его коня растаял в столбе пыли.

- Ах, князь Петр, молодец! - похвалил Багратиона Кутузов. - Дельно, мой генерал! А откуда стал бы ты хлестать французов в лицо, не будь у нас в обороне Шевардинского редута? Вот тебе и не нужен стал редут!.. Но дельно, очень дельно распорядился ты!

Случилось то, что не раз случалось и раньше - в восемьсот пятом году. Вдохновение прекрасной силы слетало на Багратиона в такой момент, когда всякий другой генерал лишь растерялся бы от неожиданности. Чем труднее и безвыходнее казалось положение, тем светлее и жарче были вспышки этого могучего огня в князе Петре. Приказанием, которое Олферьев должен был передать командовавшему на редуте князю Горчакову, сразу выводился из гибельной опасности Сивере, и бой задерживался далеко впереди левого фланга. Следовательно, и фортификационные работы на нем могли продолжаться.

Французы вышли к Шевардину. Дробные перекаты ружейной трескотни ползли и ширились. Тучи черного дыма окутывали редут. Вдруг земля дрогнула, тучи вскинулись кверху, огненное кольцо опоясало шевардинские укрепления. Грянул залп, за ним другой, третий... Французы кинулись в атаку на редут. Горчаков встречал их картечью.

- Славно! - воскликнул Багратион.

- А попозже, когда у тебя на фланге возня кончится, - сказал ему Кутузов, повертывая коня и собираясь уезжать, - флеши готовы будут и войска за овраг отойдут, - тогда, князь Петр, отзови из Шевардина Горчакова. Тогда уж и впрямь холмик сей нам больше не нужен будет...

Полторы тысячи верст непрерывного отступления давали себя знать. Бой у Шевардина был жесток и упорен. Холод ночи уже лег на землю. Небо то покрывалось облаками, то очищалось от них. Багратион несколько раз посылал на редут адъютантов с приказаниями Горчакову выводить войска. Но битва не затихала. Вторая кирасирская дивизия в постоянных контратаках понесла значительный урон. Можно было бы обойтись без этой горячности. И то, что канонада продолжала реветь, а мрак ночи то и дело озарялся вспышками залповых огней, начинало волновать Багратиона. Он послал Горчакову еще одну записку: "Князь, выходи. Велю!" И два-три энергичных слова прибавил для устной передачи. Это помогло. Шевардинские пушки уняли свой грозный рев. И на французской стороне начало успокаиваться. Запылали деревни, находившиеся посреди неприятельских линий, вспыхнули тысячи лагерных костров. В Бородине догорал господский дом. Через все бородинское поле, так далеко, как только мог различить глаз, протянулась сплошная полоса пламени. На левом фланге войска составляли ружья в козлы, разводили огни и начинали варить кашицу. Багратион пошел ужинать.

Заключительные залпы шевардинского боя еще громыхали изредка между редутами и флешами. В черной крестьянской избе деревни Семеновской сидели за ужином Багратион и Сен-При. Походный стол князя Петра Ивановича всегда отличался изобилием, мастерством приготовления и сытностью блюд. Обычно гостеприимный хозяин бывал за столом весел, любезно-настойчив в потчевании, волен и дружелюбно прост в обращении. Сходили на него в это время пленительная доброта и самая приветливая словоохотливость. В рассказах о бесчисленных походах своих на Кавказе, в Польше, Германии и Турции бывал он положительно неистощим. И даже такие гости, к которым не чувствовал он ни влечения, ни симпатии, не могли пожаловаться

на недостаток обходительности со стороны Багратиона, когда делили с ним обед или ужин. Поэтому Хотя Сен-При и был неприятен князю Петру, но "фляки по-господарски" и баранья нога в масле решительно устраняли возможность раздора между собеседниками.

- Люблю я, граф, драться, - не без некоторой колкости, однако, говорил Багратион, - с соотечественниками вашими, французами! Побьешь, так есть чему и порадоваться. Как свет стоит, никто так не дрался, как русские и французы! Раз Суворов слово мне молвил - ввек не забуду: "Легкие победы не льстят сердца русского!" А французы дешево побед не продают...

- Случалось и мне в рядах новых моих соотечественников с французским войском боевые иметь встречи, - отвечал Сен-При. - Насколько судить могу, оно зажигательной ракете подобно: если не зажжет с полета - сама лопнет в воздухе. Но многое у французов замечательно и для подражания может служить...

- В маневре сила их. У французов поучиться не прочь я. Но зато и своих учителей не забыл. Царь Петр, Суворов, фельдмаршал наш - вот школа русская. Вся на маневре: где вперед, где назад, - а везде победа! У Суворова в науке состоя, через Альпы отступал я. И под Кутузовым будучи, в наступление не раз хаживал. Великое дело - маневр! Полководец задумал, солдат понял - все готово: слава победителям! А солдат! Ах, что за солдат у нас! Подобного в свете нет! Да поди и сами вы, граф, о том известны.

Дверь избы распахнулась, и в горницу быстро вошли Горчаков, граф Михаиле Воронцов и Неверовский - три генерала, оборонявшие Шевардино. Все они были чумазы от пороха и тяжело дышали. Шинель Горчакова была прожжена в трех местах, от воронцовской шинели оторваны обе полы. Генералы были осыпаны пылью и землей.

- Здравствуйте, други! - радостно воскликнул Багратион. - Показали же вы французам феферу! Убей бог, хорошо! Не томи душу, князь Андрей, рассказывай! За стол, за стол! Приборы сюда! Живо! Рассказывай, князь!

- Ваше сиятельство гневались, что не мог я из Шевардина убраться по первому приказу вашему, - заговорил, отдуваясь и с удовольствием принюхиваясь к запаху жареной баранины, племянник Суворова, - а и никто бы на месте моем не убрался! Спросите, сделайте милость, у графа или Неверовского... Не сговаривались, а то же скажут...

Он сбросил шинель и, слегка засучив рукава, схватил нож и вилку. В сонных глазах его засверкали плотоядные огоньки.

- От голодухи в животе тарантасы катаются... Ну как уйти

было? Невозможно. Близ четырех часов почали французы на нас лезть. От пяти до семи - пушками разговаривали. А потом - атака за атакой. Четыре раза батарея хозяев меняла. Три орудия они у нас цопнули, а мы у них шесть отхватили. Уж я и сам видел: пора идти, не к чему спектакль доигрывать, - да в ногах будто свинец засел. И солдаты ни с места, - хоть по переносью бей! Еле выдрался...

- Весь корпус Понятовского, вся кавалерия Мюрата да три дивизии Даву наступали, ваше сиятельство, - сказал Неверовский. - Я штыками три раза выгонял шестьдесят первый линейный их полк...

- Не знаю, поблагодарит ли нас кто, - с холодной усмешкой заметил Воронцов, - но французы благодарны не будут. Князь Андрей Иваныч уже и редут сдал, а мои гренадеры, не стерпев, еще раз кинулись на дивизию Морана... Ах, какая великолепная была свалка!

- А мой фокус, господа? - захохотал Горчаков, вгрызаясь в баранью лопатку. - Компан идет колонной в атаку. Я велю кирасирам встретить. Но, чтобы собраться, надо им минут пять. Гляжу: Мюрат с латниками целит между редутом и деревней. Вот тебе и пять минут!.. Как раз прорвет. Что ж, думаю, делать? Не соображу никак... а моменты бесценнейшие летят! И вдруг нашелся! Хлоп себя по лбу, - ах, баранина! То есть телятина! Ну, да все равно! Выхватил из резерва батальон и повел, - ни выстрелов, ни барабанов, только "ура" громчайшее... А уж темно, - французам невдомек, что на них с "ура" не корпус целый, а всего лишь батальонец лезет. Мюрат забеспокоился, остудился... А тут уж и кирасиры налетели, и четыре пушки - в руках. Что? По-суворовски!..

Он поднял голову и гордо взглянул на генералов, смачно двигая толстыми маслеными губами.

- Покойный дядюшка за военные хитрости, бывало, весьма фельдмаршала нашего похвалил. Я мальчишка был, а помню: "Хитер, хитер! Умен, умен! Его никто не обманет!" А нынче и я шар пустил...

- Не заносись, князь Андрей! - остановил Багратион Горчакова. - Жди, покуда другие вознесут! А что так Суворов про Михаилу Ларивоныча говаривал верно. Только не за такие хитрости похвалял он его, а за гораздо умнейшие... Вся оборона Шевардина - подобного тактического смысла хитрый военный прием...

Произнося эти резкие слова, Багратион невольно вспомнил и вчерашнее сообщение Толя о замышленной Кутузовым засаде позади Утицкого леса. Это тоже "тактического смысла хитрый

военный прием". Да еще и несравнимый по ожидаемым следствиям ни с каким другим. Но... об этом молчок!

- Светлейший наш - мастер врага надувать, - сказал вдруг Сен-При. Решил он третий корпус Тучкова в засаде позади нас поместить. Что-то выйдет? А дело успех обещает...

Он не договорил того, что собирался, - не успел. Глаза Багратиона грозно сверкнули. Что это? В секрете - Кутузов, князь Петр и Толь. Как проник Сен-При? Ах, проклятый шпион! Старые подозрения вспыхнули, как солома на огне. Князь ухватил угол скатерти, смял его в кулаке и так дернул, что посуда на столе звякнула и бараний соус пролился.

- Кто осведомил ваше сиятельство о плане фельдмаршала? - спросил он сдавленным, не своим голосом.

Сен-При смутился. Эти мгновенно находившие на Багратиона судороги гнева были ему известны. И он? знал, что вызываются они обычно собственной его, Сен-При, неосторожностью. Но в чем заключалась она сейчас - этого он не знал. Граф покраснел и развел руками, беспомощно оглядываясь. Воронцов ободрительно улыбнулся.

- Помилуйте, ваше сиятельство, - сказал он Багратиону, - да об этом все знают... И я тоже...

- И я, и я, - проговорили Горчаков и Неверовский. - Все прапорщики квартирмейстерские знают...

- Измена! - крикнул князь Петр.

- Ежели это измена, то одного из главных измен-пиков я могу наименовать, - продолжал Воронцов, - это прапорщик Александр Раевский. От него слух ко мне дошел... Он только что в квартирмейстерскую часть переведен, а лишнее болтать ему не в новинку.

Сказав это, он подумал: "Расчелся-таки я с этим дерзким мальчишкой!" и улыбнулся так холодно и злобно, что красивое лицо его на миг стало страшным.

- Господа генералитет! - раздался с порога избы голос князя Кантакузена.

Полковник давно вошел и стоял, незамеченный, с интересом прислушиваясь к бурному разговору.

- Господа генералитет! Если малым чином рот мой не запечатан, осмелюсь нечто сказать. Что за измена, князь Петр Иваныч? Господь с вами, ваше сиятельство! Намедни пришел ко мне дивизионный наш квартирмейстер, прапорщик Полчанинов, и, в слезах от радостной надежды, сообщил. Всем известно - всем решительно. Иные фельдфебеля от тайны этой не в стороне. А кто впрямь в стороне, так то господин начальник главного штаба, барон Беннигсен...

Князь Григорий Матвеевич так добродушно засмеялся, что невозможно было на смех его не отозваться. Сен-При пожал руку Воронцову. Багратион медленно проговорил:

- Бог весть, как свершилось это. А кто в каком участии состоит, скоро на смертном суде божьем объявится. Прапорщикам квартирмейстерским на роток не накинешь платок. А Толю от ранца, ей-ей, не отвертеться...

Глава тридцать восьмая

И на следующий день после шевардинского боя, - то есть двадцать пятого августа, - фортификационные работы на левом фланге не прекращались. К вечеру уже не существовало Семеновского: на месте разрушенной деревни стояла двадцатичетырехорудийная батарея. Три маленьких шанца перед деревней превратились в большие флеши, а Утицкий лес разгородился засеками на части. Земляные работы производились также и в том пункте позиции, где левый фланг соприкасался с ее центром. На кургане, выступавшем саженей на двести пятьдесят перед фронтом, между правым крылом седьмого корпуса и левым крылом шестого, строилась "центральная" батарея. Так как оборонять эту батарею должен был седьмой корпус генерала Раевского, то и называть ее стали "батареей Раевского". Множество бородатых людей в смурых полукафтаньях и серых шапках с медными крестами усердно таскали здесь в мешках землю, обносили курган низким валом, готовили площадки для установки пятидесяти орудий. Это было московское ополчение. Начинало смеркаться, а работы на батарее Раевского еще не были кончены. Становилось ясно, что их так и не удастся довести до конца. Надо было еще углубить ров, огладить спуски, уровнять вал, одеть амбразуры турами и фашинами. А между тем артиллерийские роты одна за другой уже въезжали на! батарею и занимали места. У боковой амбразуры стоял молодой человек невысокого роста в офицерском мундире московского ополчения. Желтое, будто у турка, лицо его с широким, угловатым, почти квадратным лбом и выпуклыми, кофейного цвета, глазами было безмятежно-задумчиво. Пальцы его медленно перебирали страницы кожаной тетради, полные губы что-то беззвучно шептали. Он смотрел на то, что делалось кругом, - на кипучую возню бородатых ополченцев и звезды пушек, но едва ли видел что-нибудь. Так не заметил он и быстро подошедшего к нему Травина.

- Здравствуй, милый Жуковский мой! - воскликнул поручик. - Странен ты мне в полувоенном своем наряде. Ввек не привыкну. Однако что вершит судьба с нами: не встречались десять лет, с Московского благородного пансиона, а теперь сходимся по два

раза на день. Что ты здесь делаешь? Ратники твои трудятся в поте лица, а ты? Взял бы лопату да...

Жуковский очнулся. Лицо его осветилось ласковой улыбкой.

- Где мне с лопатой? Мое ли то дело? Скажу тебе, Травин, по секрету: на днях возьмут меня в дежурство главной квартиры для письменных занятий при фельдмаршале. Вот мое дело! А сейчас стоял я тут, и слагалось в мечтах моих нечто поэтическое. Хотел бы так назвать: "Певец во стане русских воинов". И о светлейшем готова уж строфа. Слушай.

Жуковский поднял к холодному, темнеющему небу спокойные, чистые глаза и, поводя кругом правой рукой широко и вместе с тем бархатным голосом: сдержанно, прочитал звучным:

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами...

- Хорошо! - одобрил Травин. - Потому главным образом хорошо, что верно! Кому же еще, певец, плетешь ты венцы?

- О Раевском готово... Вот сейчас, как тебе подойти, стоя здесь, на этой его батарее, невольно представил я в мыслях славного воителя, ведущего в бой под Салтановкой двух своих сыновей:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

И о Платове:

Хвала, наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.

- Адрес-календарь русской военной славы, - засмеялся Травин. - Отлично! Но ты возлагаешь венки, а родина молчит.

Жуковский выпрямился и покачал головой.

- Как можно? Ей - первый голос. Слушай:

Вожди славян, хвала и честь! Свершайте истребленье. Отчизна к вам взывает: месть! Вселенная: спасенье!

- И это прекрасно, - тихо сказал Травин, - ибо сердцу русскому много говорит. Однако сердце русское, для коего поешь ты, - прежде всего солдатское сердце. Неужто забыл ты главного трудолюбца страды военной солдата?

- Двух недель нет, как надел я мундир, - смущенно ответил поэт, - не знаю я солдата...

- Не знаешь... Да и не всякому военному сподручно знать его.

А какое удивительное существо солдат русский! Кто видел его только на параде, тот понятия о нем не имеет. Кто судит о нем по тому, как тянется он перед офицером, тот не узнает его, хоть бы и век прослужил рядом. Нет! А ты попробуй, брат Жуковский, поваляться вместе с ним на одной доске в карауле, просидеть десятки ночей в секрете под пулями, пробегись в атаку под картечью, протрясись на лазаретной линейке... Вот тогда, может быть, и узнаешь ты, что такое русский солдат! Пойдем, я покажу тебе его...

Жуковский послушно двинулся за Травиным туда, где стояли пушки поручика. Прислуга суетилась возле орудий: ослабляли в дулах заряды, чистили затравки, отправляли с батареи запасные лафеты и дроги. Угодников показывал солдатам, как действовать картечью без диоптров при наступлении конницы. Он нагнулся, крякнул и, покраснев от натуги, поднял правило.

- А для скорости задний смотри и по самому орудию правь!

И он начал перебрасывать лафет направо и налево.

- Вот так! Вот так!

- Угодников! - закричал Травин. - Да ведь не всяк силен, как ты! Чтобы лафет швырнуть, лесовик ты этакий, мочь нужна чрезвычайная!..

- Никак нет, ваше благородие, - улыбаясь и быстро дыша от усилия, отвечал Угодников, - лишь мнится, будто тяжело. А в деле, сгоряча, любой осилит...

- Так ли, братцы?

- Осилим, ваше благородие! - хором подтвердили канониры.

Травин с гордостью поглядел на Жуковского. В это время два всадника в генеральских мундирах вскакали на батарею. Рыжая кобыла Багратиона и белый араб Кутайсова фыркали, скалили зубы и, бешено водя блестящими глазами, играли на лансадах. Генералы спрыгнули наземь. Ординарцы с привычной ловкостью расстелили на черной земле цветистый персидский ковер. И не успели гости сесть, как уже со всех сторон побежали к ковру солдаты и офицеры, на ходу снимая кивера и фуражки.

- Я еще не обедал сегодня, - сказал Кутайсов. - Видать, прямо к Ермолову ужинать попаду...

- А нам везде стол и дом, - засмеялся Багратион. - Други, чаю!

Офицерские денщики заметались. Вмиг появился большой обгорелый безносый чайник и задымились оловянные стаканы. Артиллеристы тесным кольцом окружили ковер.

- Други! - говорил Багратион. - Век живи - век учись. Много мы с графом; начальником артиллерии нашей, судили-рядили. И надумали нечто. Потерять орудие у нас за смертный грех для батарейного командира идет. А справедливо ли? Ежели хоть и

потеряно орудие, да не задаром?

Багратион повел кругом глазами и улыбнулся. Множество офицерских физиономий глядело на него, застыв в немом изумлении. Действительно, до сих пор все артиллеристы русской армии считали, что нет позора тягостнее и беды неизбывнее, чем потеря орудия. И не нашлось бы, вероятно, ни одного командира батареи, который за сотню саженей от наступавшей конницы не взял бы пушек на передки и не убрался бы поскорее с позиции для спасения орудий. Что же такое говорил теперь Багратион?

- Вот идет на вас в атаку конница... птицей на пушки мчится. Убираться? Упаси бог! Сколь ни коротко время, что осталось ей доскакать, а можете вы успеть два, а то и три раза выстрелить. И будут эти картечные залпы таковы по губительству, что против них десятки обычных - тьфу!..

Изумление слушателей увеличилось. Кутайсов тряхнул головой.

- Как знать, что станется с каждым из нас завтра, друзья! А последний завет мой примите: покамест не сел враг на пушки, с позиций - ни шагу! На самом ближнем выстреле картечном - стой! Артиллерия должна собой жертвовать. Потерять орудие скверно, но коли тем позиция сохранена - грех искуплен, и нипочем!

Травин отлично понимал, как много важного, решающего смысла в том, о чем с такой настойчивостью толковали генералы. Однако не меньше смысла было и в слепой привязанности солдат к пушкам. Поручик чувствовал необходимость ухватиться за что-то главное, недосказанное. Где оно? В чем? Отчаянное лицо канонира Угодникова мелькнуло у него перед глазами. Он оправил на себе шарф и выступил вперед.

- Ваше сиятельство! Приказ не для размышлений отдается. Исполняется же по разуму, - хорошо или худо. Проще быть не может: насядут французы передки и ящики прочь, орудий не свозить; картечью в упор бить. При самой лишь крайности людям уходить, а орудия и тогда оставлять на месте...

- Так, душа, верно! - подтвердил Багратион. Травин показал своей беспалой рукой на Угодникова.

- Вот лучший канонир роты моей, ваше сиятельство. Он плачет.

Действительно, крупные градины слез медленно сползали в густые черные бакены по бледным щекам солдата.

- А на смерть с улыбкой ходит! Стало быть, пушка ему жизни ценней. Мы будем оставлять орудия. Однако надобно же, ваши сиятельства, чтобы пехота отбивала их! Отдать - трудней, чем отбить!

Багратион вскочил, быстро подошел к Травину и обнял его.

- Душа-поручик! Ухарь и смел ты - генералам советы подавать. Впрочем, и генералы российские не без смелости за пользу спасибо сказать. Где увидит пехота, что артиллерия, пушки бросив, уходит, тут и в дело встрянет. Едем, граф Александр Иваныч, к Раевскому, - еще подтвердить ему все то надобно, дабы солдат, зная дело свое, спокоен был. А Ермолов ужин свой, видать, без тебя съест...

Жуковский шел вдоль позиции, направляясь к левому флангу, за оконечностью которого, в двух верстах от гренадерской дивизии принца Карла Мекленбургского, стояло московское ополчение. Поэт был рад случаю, который показал ему Багратиона въявь и близко. "Певцу во стане русских воинов" не хватало посвященной князю Петру Ивановичу строфы. Но, как ни старался Жуковский переложить в звучные, торжественно-сильные слова свое впечатление, ему это не удавалось. Насколько легко складывались в "Певце" величественные и живые образы Кутузова, Раевского, Платова, Коновницына, настолько труден оказывался Багратион. "Не потому ли так неуловим он, - с досадливой грустью раздумывал Жуковский, - что скрыт в малом теле его громадный солдатский дух? А солдата русского не знаю я...

И дабы узнать его, Травин говорит, многое, многое надобно..." Поэт спотыкался на ямах и рытвинах, блуждая по кустарникам, обходя овраги и логи, и не замечал того, что делалось вокруг. Между тем русская армия готовилась к бою. Пехота чистила ружья, заменяла в них старые кремни новыми. Кавалеристы осматривали подпруги, точили сабли. В артиллерии укреплялись постромки, смазывались колеса, травились запалы, принимались снаряды. Везде было хлопотно, но не шумно. Быстрота и точность действий не требовали слов. Все совершалось как бы само собой. Наконец Жуковский добрел до того места, где посреди тонкой березовой заросли расположился гренадерский лагерь. Отсюда было рукой подать и до ополченского. Но в это время поэта обогнали дрожки с высоким и тощим седым генералом в огромной шляпе с разноцветным плюмажем. У первого ведета{97} генерал приказал своему кучеру остановить коней и подозвать солдата.

- Чье охранение? - спросил он громко и отчетливо, но не чисто выговаривая русские слова.

Из кустов выскочил офицер и, тотчас узнав начальника главного штаба барона Беннигсена, вытянулся и доложил:

- Второй гренадерской дивизии, ваше высокопревосходительство!

Гремя саблей и шпорами, Беннигсен медленно сошел с

дрожек. Несколько минут он внимательно оглядывал местность, и хотя ничего не говорил, но узкие губы его приметно шевелились. Что-то не нравилось ему в том, что он видел, так сильно не нравилось, что он раза два-три возмущенно пожал плечами.

- Чья бригада?

- Полковника князя Кантакузена.

- Пошлите, господин офицер, за полковником.

Вскоре в кустах обозначилась чернявая плотная фигура князя Григория Матвеевича, спешившего вразвалочку и не очень торопко на зов генерала.

- Кто поставил вас тут, полковник? Квартирмейстерский офицер по приказанию генерал-квартирмейстера, ваше высокопревосходительство!

- Зачем делает полковник Толь такие глупости! - сердито воскликнул Беннигсен и, взяв Кантакузена под локоть, начал поворачивать его туда и сюда. - Зачем вы не возражаете, когда видите, что с вами делают глупости? Ваша бригада поставлена на жертву! Разве не ясно? Вы - левое крыло войск князя Багратиона. Но посмотрите: пространство между вами и третьим корпусом генерала Тучкова столь обширно, что неприятель завтра непременно бросится в него. Он начнет с этого... Недоумение Беннигсена было понятно Кантакузену. Начальник главного штаба не знал кутузовского плана-засады. Секрет фельдмаршала держался крепко. Оттого и разговор этот складывался так потешно.

- Я не могу знать, ваше высокопревосходительство, как начнет завтра француз, - отвечал Кантакузен, с трудом пряча в бакенбардах улыбку, - а долг мой - исполнять повеления.

"Как глуп этот полковник!" - подумал Беннигсен.

- Ваш долг, ваш долг! - повторил он. - Ваш долг еще и в том, чтобы спасти свою часть от неминуемого истребления. А для этого надо кое о чем догадываться и соображать.

Князь Григорий Матвеевич вспыхнул.

- Соображать много легче, чем, по-видимому, кажется вашему высокопревосходительству...

И Беннигсен вздрогнул. Глаза его сверкнули.

- Молчать, полковник! - сказал он и быстро облизнул губы. - Я знаю людей, которые пробивают стены головами. А вы сами подставляете под падающую на вас стену свой жалкий череп. Я не встречал еще таких отважных... глупцов!

Он вскочил на дрожки, и сухие коленки его выставились кверху двумя острыми углами...

Странная неприязнь со стороны войск преследовала Беннигсена от появления его в армии до сегодняшнего дня.

Солдаты почти не отвечали на его приветствия, офицеры глядели угрюмо и недоброжелательно. Откуда это бралось? Почему не было ничего подобного, когда подъезжал к войскам улыбающийся Кутузов? Понятно, что солдаты и офицеры не любили Барклая. Понятно, что они восторгались Багратионом. Но совершенно непонятно ни это слепое обожание дряхлого хитреца фельдмаршала, ни открытое отвращение к Беннигсену. Атмосфера глухой предвзятости, которую явственно ощущал вокруг себя барон, больно его раздражала. Не он ли водил русские армии к победам над Бонапартом? Пултуск и Прейсиш-Эйлау - это не Аустерлиц. Многие в Европе находят, что есть лишь два полководца, в полной мере владеющих искусством войны: Наполеон и он. Следовательно, дело не может заключаться в недоверии к его полководческому имени. А в чем же оно заключается, это несчастное дело? Только в интриге Кутузова. Но всякому действию должно быть равно противодействие, - на этом физическом принципе строится жизнь материи. Почему дух и мораль надо исключать из общего правила? Вовсе не надо. Против интриги - интрига. "Напишу государю, - думал Беннигсен, - не буду ни лгать, ни клеветать. Зачем? Достаточно рассказать о размещении войск на левом фланге, чтобы старческий маразм светлейшего всплыл на поверхности этих решительных дней, как пустая бутылка на воде. И о том, как деятельно и умело я исправлю эти непростительные ошибки..."

Генерал Тучков встретил начальника главного штаба посреди своего лагеря с мрачным и недовольным видом.

- Мой генерал, - сказал ему Беннигсен, - потрудитесь сейчас же выдвинуть ваши войска из-за леса как можно ближе к оконечности левого фланга.

- Однако для чего это надо, ваше высокопревосходительство? - отвечал командир третьего корпуса. - Мне и здесь хорошо.

Опять то же самое: все, столь естественные в положении Беннигсена, попытки вмешаться в стихийный ход вещей, направить его в русло смысла и разума натыкаются на слепой и упрямый отпор. Но на сей раз это не удастся.

- Если я говорю, генерал, что вам надо передвинуть свои войска, я знаю, почему я так говорю. Мне не хочется напоминать вам, что мои приказания для вас обязательны.

Тучков переступил с ноги на ногу. По грубому лицу его скользнула гримаса, похожая на сдавленный зевок.

- Вашему высокопревосходительству известно, что я не первый день состою на императорской российской службе. Учить

меня поздно даже вашему высокопревосходительству. Я не вижу надобности в передвижении - один лишь вред. Вам угодно, чтобы я вышел на отклон горы, отделяющий лес от левого фланга. Но ведь не трудно видеть, барон, что, обнаружившись таким образом, я буду поражаем нещадно...

И снова в возражениях генерала Беннигсен почуял недомолвку. Тучков, конечно, меньше всего боялся артиллерийского огня французских батарей. Но чего же опасался он? Беннигсена охватил гнев. Это бывало с ним очень редко, зато, - как обычно случается с людьми выдержанными, по внешности холодными и-спокойными, - чем реже находили на него припадки гнева, тем сильнее потрясали они все его существо. В эти страшные минуты у Беннигсена отнимались колени, горло сжималось железным кольцом, глаза ослеплялись невидимым блеском ярости, - он переставал дышать и понимать что-нибудь, кроме своей злобы. В войну 1807 года было даже так, что, придя в состояние бешенства, он лишился чувств, - упал в обморок, как жантильнейшая из девиц. И теперь он был близок к тому же. Беннигсен хотел топнуть ногой - земля расступилась. Хотел крикнуть - вырвался хрип.

- Немедля выводи корпус... Я...

Тучков отдал честь, повернулся и сказал своему квартирмейстеру:

- Выводи, братец, дивизии к левому флангу. А я ни за что больше не отвечаю!

Глава тридцать девятая

Известно: где тесно, там солдату и место. У костра фельдфебеля Брезгуна постепенно собралась почти вся карабинерная рота. Гренадеры подходили один за другим и, покуривая трубочки с травой-тютюном, неторопливо ввязывались в разговор.

- Дума за горами, а смерть за плечами, - вздохнул кто-то.

- Ты это, Кукушкин, оставь! - строго приказал Иван Иваныч. - В канун боя оставь это!

- Да ведь жутко, Иван Иваныч! - отозвался Кукушкин.

- Жутко! Ну и что ж, коли жутко? И в секрете иной час жутко бывает! А сумеешь себя разважить - и ничего. Что же такое, что жутко?

- Не помрем, так увидим, - с небывалой серьезностью проговорил Трегуляев. - Вон сколько собралось нас тут! И кого нет! Ты, Кукушкин, тверской, что ли? Стало - ряпушник. Чучков - арзамасский, из лукоедов. Мышатников - с Амценска, цыгане семь верст объезжали. Калганов - сибиряк, соленые уши. Тужиков - огородник ростовский, ездил черт в Ростов, да набегался от

крестов. Круглянкин всем хорош бы, дадуляк! Вишь, сколько нас, всяких-разных, много! А настоящий-то страх у всех один.

Трегуляев встал, прошелся кругом огня и хотел было продолжать свои рассуждения дальше, но ему не дал Старынчук. Рекрут тоже встал, раскрыл рот, глотнул воздух, как рыба, высунувшая голову из воды, взмахнул руками, опять раскрыл рот и сказал:

- Ат, почекай, пан Максимыч, воробьем чиликать! Не рушь гнязда! Моя казка без сорому: не бийся, товарыство, хранца, ни смертного року!

Если бы Старынчук заржал конем или закричал выпью, карабинеры удивились бы меньше. Уж очень привыкли они к его молчаливости. Все удивились, а Трегуляев, кроме того, и рассердился:

- Ах ты бабий корень! Еще и каши нет, а он хлебало настежь. Да ты сперва дослушал бы, чем меня с речи сшибать. У всех у нас настоящий страх один: оглянешься на Москву, так и на черта полезешь. Вот какой наш страх! Солдатский, честный, без зазора и стыда! Не в похвалу говорю, а от правды, как есть. Этак воробьи не чиликают... как я сказал...

Трегуляев был взволнован. Брезгун поднял голову.

- Хорошо ты сказал, Максимыч. Да и Влас недурно молвил! Свят день ждет нас - битва святая. В разум возьмите: через поле бородинское две реки текут, а к ним два ручья тянутся. Небось о прозваньях не сведали? Колоча да Война, Огник да Стонец... Понимать это надобно: штык и огонь стоном пройдут по военному этому полю. Это - раз! А второе - Михайлов-то сколько со" шлось!

- Каких Михайлов, Иван Иваныч?

- А вот, гни на пальцах: Михаиле Ларивоныч Кутузов, Михаиле Богданыч Барклай, Михайло Андреич Милорадович, Михайло Семеныч Воронцов... И у французов - Ней. Его ведь Мишелем звать, а по-русски опять же - Михайло.

Фельдфебель снял кивер и перекрестился.

- В главе же семнадцатой книги пророчеств Исаевых прямо честь можно: "В те дни восстанет князь Михаил и ополчится за люди своя". Ну-тка? Каки-таки дни? Какой-такой князь Михаил? Завтра светлейший князь восстанет за Русь! И мы - ополчение его...

Голос Брезгуна дрожал.

- Была Полтава... Рымник был... В памяти держит их Россия. А и двести лет минет - не забудет она про Бородино... Каждый пойми, как ему завтра быть!

У костра стало тихо-тихо. Мимо промчались вскачь дрожки с

Беннигсеном. Кто-то спросил фельдфебеля:

- А на кой ляд, Иван Иваныч, к делу нашему немец этот прилип?

Брезгун покрутил головой, как делают люди, когда им бывает тошно.

- Хват-от! Давно знакомы. В седьмом годе, в Пруссии, команду над нами имел. В грязи топил, холодом-голодом ел. А сам, бывало, в колясочке на подушках размечется да по корпусам катает. Кто раз видел - ввек из сердца не уронит. Тьфу, пропасть его возьми, прости господи!.. На всю жизнь остобесил!

Иван Иваныч плюнул с таким остервенением, что невозможно было и ждать от него подобного противного чинопочитанию поступка.

- А ведь толковали в седьмом годе, Иван Иваныч, - сказал какой-то старый гренадер, - будто и сам он о себе мало думал. Будто ел, что подавали...

- Ел... ел... - возмущенно повторил Брезгун. - Его было дело, что ему есть. О себе-то, пожалуй, хоть и не думай, - на то добрая твоя воля, - а о людях заботься. Ну да, слава создателю, держат теперь немца этого сбоку. С Кутузовым да Багратионом - дело иное. Не равен завтра спор русский. А с ними и он равен окажется!..

Наступила ночь - темная-темная. Сквозь щели дощатых ставен в избе Багратиона тускло мерцал огонек догоравшей свечи. Ординарцы, конвойные и вестовые казаки давно уже завалились на отдых. Дружный храп их слышался в сенях и по чуланам, на сеновале и в коноплянике. Казалось, что и внутри избы царствовал сон. Но это только казалось. Князь Петр Иванович лежал на походной койке, в сюртуке, под шинелью, и, подперев кулаком взлохматившуюся голову, думал. В полумраке лицо его выглядело особенно бледным. Уже в течение многих суток ощущение тяжкой усталости не покидало его ни на минуту. Целые дни скакал он по позиции то с Ермоловым, то с Кутайсовым, а то и один. Объезжал батареи и полки, забирался и за Утицкий лес, к Тучкову, - жаль, что сегодня не поспел! Следил за Сен-При, советовался с Платовым, Раевским, Коновницыным. Дни мелькали с такой быстротой, словно их гнало вперед ураганом. Но затем приходила ночь. Эти глухие часы жизни не приносили князю Петру ни отдыха, ни сна. Он не мог бы даже и вспомнить, когда в последний раз спал по-настоящему, крепко и бесчувственно, как положено спать усталому человеку. Ночи его наполнялись какой-то тонкой и прозрачной, томительно-беспокойной смесью бодрствования и дремоты. Так было и сейчас.

Рваные клочки мыслей, как облака под ветром, обгоняли друг друга в голове Багратиона. То слышался ему твердо-ласковый и уверенно-вкрадчивый голос Ермолова, то горячие возгласы Кутайсова звоном катились по избе, а то вспыхивал пронзительно-ярким светом единственный глаз фельдмаршала, и синеватые губы, улыбаясь, казнили Беннигсена за лицемерие и ябедничество. Барон ежедневно пишет царю и в письмах этих брызжет на Кутузова змеиным ядом клеветы. А Михайло Ларивоныч не получает от царя ничего, кроме сухо-официальных рескриптов: "В протчем пребываю к вашей светлости благосклонный Александр..." И вдруг император прислал Кутузову очередной донос Беннигсена. Это стоит сотни рескриптов! "Не вы ли сочинитель сей подлости, ваше высокопревосходительство? Попались? Вон!.." Ах, кабы и впрямь случилось нечто подобное!

Ермолов хитер, прячется за книги... Вот он развернул толстый фолиант Цезаревых "Комментарий" и читает по-латыни, но так, что и Багратион отлично понимает: "Двадцать шестое августа - памятный в русской истории день! В 1395 году Тамерлан стоял на берегах реки Сосны, у Ельца, и Русь дрожала. Но именно двадцать шестого августа этот грозный покоритель Индии, Персии, Сирии и Малой Азии внезапно повернул свои полчища и, "никем гонимый", бежал. С тех пор никогда уже не возвращался он в русскую землю. Того же числа августа 1612 года вышли поляки из разоренной Москвы..." Хм! Завтра двадцать шестое. Хитер Ермолов, а Багратион не учен. Но век живи - век учись. "Тезка! Да при чем же тут "Комментарии" Цезаря?" - "А это совершенно все равно, - весело смеется Алексей Петрович, - важно другое: завтра победа непременно поймается и уже не выкрутится, как бы ни вертелась!.."

И Кутайсов тоже смеется. На какой-то огромной мельнице должны пойти в ход жернова. Как только они движутся, от этого маленького красивого генерала не останется ровно ничего, он знает об этом. Да и как не знать, коли застрял между жерновами? Но это его ничуть не смущает. Он кричит с величайшим жаром:

"Advienne que pourra{98}! Ура" Ага! Его расчет - то, что в Можайске городничим отставной корнет конной гвардии князь Андрей Голицын. Эх, как глуп племянник! Точно шленский баран! Давно надо было взять оболтуса из гвардии - оторвать от карт и кутежей. В его годы Багратион пил кизлярское да красное - донские выморозки. А это что? Старики Голицыны померли. Симы разыграны с молотка в лотерею. И "принц Макарелли" вывертывает карманы у несчастных можайских мещан...

Что-то оглушительно треснуло возле Багратиона.

Неужели жернова повернулись-таки и Можайск не помог Кутайсову? Князь Петр Иванович быстро протер глаза и сел на постели. Трещала свеча, оплывшая жирным нагаром. Красный огонек умирал, бросаясь из стороны в сторону и выкидывая кверху струйки копоти. В горнице было чадно. "Мещане... Можайск... А что я приказывал насчет Можайска?" Багратион вздрогнул и вскочил с койки. Шинель упала на пол. Свеча потухла.

- Эй, други! - громко крикнул князь Петр. - Олферьева ко мне! Живо!

Штаб седьмого корпуса помещался в сарае. В эту ночь никто из штабных офицеров не спал. Все дежурство, вся квартирмейстерская часть собрались в сарае. Но он был так велик, что, несмотря на это, в нем не было тесно. Адъютанты, примостившись на кадках и ящиках, строчили рапорты. Кое-где по углам завязывался штосс. Кто-то понтировал с такой безотменной удачей, что наконец сам не выдержал. Собрал деньги и швырнул карты.

- Довольно, господа! Дурной знак! Вряд ли буду я завтра столь же счастлив!

Посредине сарая, на доске, покрытой одеялом, Раевский, Паскевич и три артиллерийских полковника играли в бостон. Паскевич задел обшлагом кожаный стаканчик, полный костей, которые бросались в крепе при сдаче карт. Стаканчик упал наземь, и кости рассыпались. Мелко-красивое лицо Ивана Федоровича болезненно сморщилось, - он был суеверен. Один из артиллерийских полковников, завидовавший быстрой карьере молодого генерала, сказал:

- Скверная ауспиция{99}, ваше превосходительство! Да что поделаешь! У меня вся бригада надела белые рубахи... Люди к смерти готовятся.

Раевский распахнул жилет, - под ним была чистая белая рубаха.

- Не в том суть! Надо, чтобы сердце было чисто и душа бела.

Паскевич нагнулся, подбирая с земли рассыпавшиеся кости. Лицо его спряталось под доской. И голос прозвучал глухо, с натугой:

- Кстати, вспомнилось мне, Николай Николаич... Очень виноват я по забывчивости перед одним офицером. Еще за Салтановку, а потом за Смоленск хотел в представление к чину включить - и каждый раз из памяти вон! И храбр, и находчив, и два пальца потерял...

- Как звать? - спросил Раевский.

- Временно командующий номера двадцать шестого

артиллерийской роты поручик Травин. В штабс-капитаны... И канонира одного из роты той - в фейерверкеры...

- Представляйте, Иван Федорыч. Коли живы останемся...

Дверь отчаянно взвизгнула, и в сарай вбежал Олферьев.

- Ваше превосходительство. Главнокомандующий Второй армии ввечеру приказал отправить в Можайск обоз главной квартиры, а из корпусов всех больных и невоенных людей. Письменное же повеление о том дать вам запамятовал. И весьма встревожен...

- Напрасно, - сказал Раевский, - в седьмом корпусе ни одного больного и невоенного нет. Всех уже отправил я. Неужто опять не спит князь?..

Шалаш был так низок, что лежать или сидеть в нем на соломе друг подле друга было еще можно, но встать на ноги или выпрямиться - никак нельзя. В этом темном и тесном углу сошлись на ночлег шесть офицеров. Почти все они были молоды, сильны и смелы. Спать им не хотелось, и они разговаривали.

- Жаль, Полчанинов, - сказал один из них, - что не можете вы за темнотой прочитать нам сегодняшнюю страницу из журнала вашего...

- Да там всего лишь одна маленькая пиеска в стихах, - отвечал Полчанинов. - Коли хотите, прочту наизусть. Я ее помню...

Ужели не побью я русских никогда? - Да. Но и меня побить им также невозможно! - Можно. Кто ж наконец сразит французов? - Кутузов. А Францию что ждет, как мой падет кумир? - Мир.

- Ах, славно! - закричали восхищенные офицеры. - Вот это стихи! Отчего бы, Полчанинов, не отправить вам их в академию? Или государю-императору посвятить? А то - напечатать на свой счет и распускать в публике? Счастливец вы, что можете этакое сочинять!

Однако лежавший рядом с Полчаниновым Александр Раевский прошептал ему на ухо:

- Не слушайте. Дурно!

Прапорщик пожалел, что вылез со стихами. "Слава богу, - подумал он, что темно. Я, кажется, покраснел. Но как странно! Одним нравится мое "Эхо", другие бранят его. А Травин давеча обозвал безделкой. Экая досада, что нет среди моих знакомцев ни одного настоящего поэта!" Вдруг из самого темного угла шалаша раздался бархатистый и ровный голос. Владелец его был никому не известен.

- Человек - такая брюзга, что во всем сыщет недостатки. Ему ежели мед, так уж и с ложкой. Ваши стихи, господин Полчанинов,

тем хороши, что вровень с высокими чувствами любви к отечеству идут. А за брюзгливость простите, коли скажу: перо ваше еще недостаточно искусно. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas{100}, - говорили римляне. Узы давней дружбы соединяют меня с известным российским сочинителем и журнальным издателем господином Карамзиным. Ныне укрылся он от галльской напасти в эмиграции: на волжских берегах нашел себе в Нижнем Новгороде утлый приют. Но минется напасть, и стоит тогда пожелать вам, как "Эхо" будет мною доставлено господину Карамзину для напечатания, и ручаюсь, - прямо попадет под станок...

Полчанинов оцепенел от смущения. Офицеры скромно молчали. Неизвестный голос добавил:

- Незван и непрошен очутился я, господа, в вашем обществе. Рекомендуюсь: поручик московского ополчения, Мамоновского полка, Василий Жуковский. Ночь застигла меня по дороге к месту, я и попал под гостеприимное ваше крыло.

Фамилия незнакомца отозвалась в сердце Полчанинова радостной надеждой. Какой Жуковский? Не поэт ли? Не славный ли переводчик Грея и Бюргера? Задыхаясь от волнения и от усилий скрыть его, он сказал:

- Фамилия ваша очень известна по переводу Греевой элегии. Еще в корпусе наслаждался я очаровательной картиной "Сельского кладбища". Неужели...

- Вы не ошиблись, - тихо проговорил Жуковский, - я переводчик Грея.

Не все товарищи Полчанинова слышали о Жуковском и "Сельском кладбище", но все поняли, что ночь завела к ним в соседство литературную знаменитость. Это ошеломило их, и дружная до того беседа оборвалась. Заметив это, Жуковский воскликнул с простым и искренним одушевлением:

- Ах, господа! Завтра решится кровавая задача. Нас здесь шестеро. Не может же так быть, чтобы все мы, сколько ни есть в шалаше, вышли из дела целы и невредимы. Ведь кому-нибудь из нас да надо же быть убитым или раненым...

- Слыхал я от батюшки, - проговорил, потягиваясь, Александр Раевский, что в больших сражениях обычно из десяти убивают одного, а ранят двух. Нас здесь шестеро. Следственно, убит будет либо один, либо ни одного, а ранен кто-нибудь - непременно...

"Неужели я - именно тот десятый, который должен быть убит завтра? - с ужасом подумал Полчанинов. - Умереть? Это не просто перестать пить и есть, это перестать видеть, слышать, думать, писать журнал, никогда не напечатать "Эхо", потерять Жуковского, не встретить Карамзина..."

- И вот я говорю заранее, - продолжал Раевский, - меня могут ранить, но не убьют ни в коем случае.

- Почему? - жадно спросило несколько голосов. - Я не хочу, чтобы меня убили. Потому и не убьют. Так и под Салтановкой было.

Полчанинов приподнялся на локте. Прямо перед ним, сквозь дырку в стене шалаша, виднелся кусок темного, усыпанного яркими звездами неба. "Сейчас сосчитаю, сколько звезд светит в дырку, - подумал он. - Если нечет убьют..." Он пересчитал: девять. С отчаянием пересчитал еще раз: те же девять. В груди прапорщика стало жарко и душно. Сердце его забилось часто-часто. Он показал рукой на дыру в стене шалаша.

- Видите, господа, вон там, на небе, большую звезду?

- Это Сириус, - сказал Жуковский, - цыганская звезда.

- Если меня убьют завтра - я хотел бы жить там после смерти!

Молчавший до сих пор штабс-капитан из сдаточных рассердился.

- Что за пустяки! Этак за вами, прапорщик, тысячи народа на эту цыганскую звезду потянутся. Пожалуй, и места не хватит. Да и что за разговор? Убьют, не . убьют... Темна вода в облацех...

Он грузно повернулся со спины на бок.

- Полно рассуждать. Спите лучше, господа! На все его святая воля...

И штабс-капитан захрапел. Вскоре и еще два офицера принялись ему вторить.

- Вы заговорили, Полчанинов, о бессмертии, - сказал Александр Раевский, - я тоже ничего не имею против бессмертия. Но меня смущают две вещи. Во-первых, чтобы стать бессмертным, надо сначала умереть, а это как-то противно. Во-вторых, вечно жить в раю и слушать одну и ту же небесную музыку может надоесть.

Он засмеялся. Но ни Жуковский, ни Полчанинов не отозвались на его смех. Тогда и он проговорил с неожиданной серьезностью:

- Ничто не пропадает в мире. Умер человек, но продолжает питать собой землю и воздух. А бессмертный дух его вливается в общий разум вещей.

- Это страшно, что вы сказали, - промолвил Жуковский. - Разум, мысль и душа наши много терпят на земле. Неужто же, натерпевшись здесь, надобно им еще и там страдать? Знать, как несчастно человечество, и не иметь возможности помочь ему - мучительно. Я за полное забвение, за пустоту!

- Пустоте тоже должен быть предел, - с тоской сказал Полчанинов.

- Откуда вы это взяли? - удивился Раевский. - Пустота - часть мира, а мир беспределен. Я тоже его часть и, следственно, тоже беспределен. Я не шутил, говоря, что меня не убьют, так как я не хочу этого. Не хочу - и все! Ведь я беспределен... Значит - не убьют!

"Он умнее меня, - подумал Полчанинов, - но Травин - лучше. Для Травина мир - отечество, Россия. Другого он не хочет и не знает. Если так..." Все странное и нелепое в том, что сейчас говорилось, исчезло. А то, что осталось, было так ясно, что Полчанинов, поднятый с соломы могучим порывом светлого чувства, крикнул:

- Мое бессмертие в том, чтобы вечно жила Россия! И для того, чтобы жила она, я готов... я хочу умереть завтра!

Еще и не начинало светать, а над Колочен уже стлался утренний туман. Постепенно сгущаясь, он подымался все выше и выше и, наконец, сделался таким густым, что вовсе закрыл собой холмистый берег реки. Вскоре не стало видно и неба. Над бородинским полем развернулось царство тумана, клубившегося под низким, светлосерым, почти белым небом. Никто не сказал бы, ясен или хмур будет наступавший день. И так продолжалось долго, до тех пор, пока где-то сбоку не засветилось и не заиграло теплым сиянием яркое пятно. Туман побежал прочь от этого места, и голубые просини отчетливо обозначились в вышине. Розовый блеск вставал над горизонтом. Вдруг брызнули лучи солнца, и сотни радуг, скрещиваясь, перекинулись через поле, над которым колебалось опаловое море сверкающей росы. Было удивительно тихо. Только в Колоче нет-нет да и всплескивалось что-то. Еле слышно чивкая, кулички выскакивали из тростников на прибрежный песок. Кротким, веселым и радостным утром начинался день двадцать шестого августа тысяча восемьсот двенадцатого года.

Солнце продолжало величественно подниматься, гоня прочь последние тени ночи. Сотни барабанов гулко отбили зорю. И снова все стихло. Такое молчание обычно предшествует в природе бурям. Перед большой опасностью оно иногда охватывает и человеческую толпу. Ведь за великими ожиданиями чаще всего следуют для людей неожиданности. Но сейчас смысл этого грозного молчания был понятен: войска ждали боя. И оттого, что утро было такое чистое и светлое, бой казался им особенно желанным и нужным...

Шести часов еще не было, когда со стороны Шевардинского редута грянул одинокий пушечный выстрел. Воздух вздрогнул. Грохот пронесся по полю, раскатываясь в разных концах его тягучими отголосками, и наконец растаял в глубокой утренней

тишине. Прошло несколько минут. Грянул еще выстрел, еще и еще. Поползла ружейная трескотня. И вдруг земля застонала и затряслась от грома орудийных залпов. Свирепый рев канонады наполнил собой долину. Среди ее мирных холмов взвились клубы пламени и дыма. И в то же самое мгновение свист ядер прорезал все видимое человеческому глазу пространство в тысяче направлений.

Французы обстреливали левый фланг русской позиции со своих шевардинских батарей. Больше сотни орудий, главным образом двенадцатифунтовых, било по войскам Багратиона.

- Становись!

Ряды смыкались и размыкались, как на ученье. Сверкали сабли и штыки, горели орудийные дула; и все это перевивалось гигантской радугой, лежавшей на земле. Гром канонады уже не сливался в однообразный гул.

Изредка привычное ухо князя Петра Ивановича улавливало далекие отзвуки перекатного ружейного огня. Назревала атака. К ее встрече на левом фланге все было готово. Стоя на эскарпе средней флеши, Багратион жадно следил за движением французских линий. Свет и радость сияли на его лице. От полночной немочи не осталось и следа. Нет, спокойствие не там, где постель и крыша.

- Пошли! Идут!

Но куда! Князь Петр Иванович бросил подзорную трубку, - она только мешала. Чтобы лучше видеть, он вскочил на коня и привстал на стременах. Французы шли не к левому флангу, - они атаковали центр позиции и уже врывались в село Бородино. У моста яростно трещала ружейная пальба. Дым и пыль заслоняли картину, но можно было разглядеть, как гвардейские егеря отступали за мост, как снималась оборонявшая мост батарея... В десять минут разыгралось все. Э нет, не все! Стрелки первого егерского бегут в контратаку. Бой откатывается в улицы села, а из улиц - в поле. "Ага! догадался князь Петр, - фальшивый ход! Вот теперь-то и двинутся они на меня..."

Боевое поле потонуло в синей пучине дыма. У самой земли, мокрой от росы и потому притягивавшей к себе волны порохового тумана, эта завеса была особенно густа и непроницаема. Солнце уже не блистало. Оно превратилось в красный шар без лучей и фонарем повисло над битвой. Стопушечный оркестр то затихал, то снова гремел с ужасающей силой. Эта музыка артиллерийского боя была нестройна и дика. Но нет-нет да и прорывались в ней поразительные по неожиданности своей гармонические переливы. Что-то чудное, поэтическое слышалось в этом чудовищном нагромождении грохота. Было ровно шесть, с половиной часов

утра, когда гренадерская дивизия графа Воронцова была атакована во флешах войсками маршала Даву. Волна за волной перехлестывала через мелкий кустарник, - это шли линейные французские полки. Гренадеры Воронцова ударяли в штыки, опрокидывали наступающую колонну и возвращались назад, прикрываясь цепью стрелков. Воронцов сам водил их в эти кровавые схватки и возвращался с ними на место, не выпуская шпаги из руки и не переставая улыбаться холодно и строго. Но передышки были коротки.

Снова прибивала волна атаки, цепь стрелков разрывалась, чтобы дать простор для встречи колонн, и гренадеры, с Воронцовым впереди, бежали со штыками наперевес, кололи, ломали, душили, падали сотнями и, опрокинув линейцев, отходили назад. Атакой командовал сам Даву. Воронцову бросились в глаза его круглые щеки и яростно выпученные глаза, когда при втором или третьем натиске французам удалось было вскочить в левую флешь. Но это был только момент. Штыки сверкнули. Лошадь Даву грянулась оземь, маршала вынесли из свалки на плаще. Французы откатились. Потом замелькали другие генералы Компан, Дессе, Рапп. Они сменяли друг друга, обливаясь кровью. Наконец унесли Раппа, высокого и черного, нещадно ругавшего свою двадцать вторую рану. Воронцов оглянулся. Боже, как мало оставалось у него гренадер! Сердце его сжалось. Он был изумлен, даже испуган, если бы ему сказали, что и в эту страшную минуту он все-таки улыбался.

Атака Даву была отбита. Его дивизии только что отошли. Но к ним уже присоединялись свежие войска Нея. Несколько правей, у Шевардина, показался вестфальский корпус Жюно. В семь с половиной часов французы снова двинулись на флеши: Ней - в лоб, а Жюно - в обход Утицкого леса. Бешено шпоря коня, Багратион вынесся на высокий гребень оврага. Отсюда был отлично виден неторопливый марш вестфальцев. "Быки" подавали свой тыл прямо туда, где Кутузовым был поставлен в засаде третий корпус Тучкова, Князь Петр Иванович не сомневался: Тучков ждет гостей, готовясь к атаке вестфальского тыла. Он сорвал с себя шляпу и, размахивая ею в воздухе, радостно прокричал:

- Иди же, душа-герцог! Ступай...

Но на флешах было плохо. Ней вел атаку. Он скакал перед колоннами, длинный и худой. Маршальская епанча развевалась за его плечами. Некрасивое, с толстой верхней губой, но сильное и смелое лицо пылало.

- En avant{101}!

- Vive lempereur!{102} - отвечали солдаты и мчались за Неем.

Солнце горело так ярко, что блеск неприятельских ружей слепил глаза защитникам флешей. Между тем огромные французские колонны катились на них, как морской прибой. Свинцовый вихрь вырвался из волн атаки и ударил по флешам. Ряды воронцовских гренадер сразу поредели. Солдаты дрогнули и, сбиваясь тесными кучками, пошли в отход. Штыки больше не работали. Над левой флешью затрепыхалось красное знамя пятьдесят седьмого линейного полка, и тускло заблестел над высокой фигурой маршала Нея позолоченный орел.

Воронцов крикнул остаткам какого-то батальона, еще державшего строй, равнение и порядок:

- За мной! В штыки! Смотрите, братцы, как умирают генералы!

Он непременно хотел вернуть левую флешь, хотя бы... Удар в бедро опрокинул его наземь. Батальон топтался на месте. Французы уже втащили на редут пушки, и картечь укладывала кругом Воронцова целые взводы. Граф хотел взмахнуть шпагой, но клинок лязгнул под картечной пулей, и половины его как не бывало. Однако рука Воронцова не выпустила куска изуродованной стали даже и тогда, когда солдаты усадили его самого на скрещенные ложа четырех ружей и бегом потащили с флешей. Даже и потом, минут через десять, очутившись перед Багратионом, он все еще сжимал этот обломок в опущенной книзу руке. Шляпы на Воронцове не было. Бледное лицо его было обрызгано кровью. Но... он улыбался...

- Куда угораздило тебя, душа-граф? - спросил Багратион.

- В ляжку, ваше сиятельство.

- А дивизия твоя?

Воронцов показал сломанной шпагой на землю.

- Как некогда граф Фуэнтес при Рокруа, отвечу: она - здесь!

Впечатления теснились, давили друг друга, и от этого пропадало чувство времени - часы казались минута" ми. С тех пор как открылся артиллерийский бой, прошло уже немало времени, а Олферьеву чудилось, будто дело все еще в самом начале. Ядра дождем сыпались на Семеновскую. Деревья валились. Избы вдруг исчезали, как декорации на театральной сцене. Воздух был полон оглушительного воя. Земля дрожала. Людей и лошадей коверкало, разбрасывало. От лафетов и зарядных ящиков летела щепа. Однако Олферьев заметил, что треска при этих разрывах слышно не было. Словно невидимая рука захватывала живые и мертвые предметы, ломала и швыряла их.

Когда Багратион подозвал к себе Олферьева и Голицына - "Макарелли", было особенно жарко. Лошадь князя Петра Ивановича мялась и пятилась от грома выстрелов, и он бил ее

рукояткой плети по голове.

- Ваше сиятельство! - говорил ему Сен-При. - Из четырех тысяч гренадер графа Воронцова осталось триста. Из восемнадцати штаб-офицеров - трое...

- Оставьте меня! - крикнул Багратион. - Глупости! В бою не говорят о потерях!

Тем не менее он уже решился на то, чего ему очень не хотелось, но без чего обойтись было нельзя: он посылал Голицына к Раевскому за двумя-тремя батальонами пехоты и пушками, а Олферьева - к Тучкову с требованием выходить из засады в тыл Жюно и отрядить на левый фланг третью дивизию Коновницына.

- Как ветер, други! Слышите? За промедление - пуля!

Заметив, что уздечка дрожит в руке племянника, князь поднял нагайку.

- Шпоры! Шпоры, сударь!

Олферьев и "принц Макарелли" помчались в разные стороны.

Картина, которая открылась перед Олферьевым, когда он выехал из Семеновской, была одновременно и великолепна и страшна. Колонны войск быстро и стройно двигались по полю. Артиллерийские роты с грохотом неслись с позиции на позицию. Адъютанты скакали по разным направлениям. Встречаясь с Олферьевым, некоторые из них кричали:

- Ну и денек! Еще раз отдашь приказание, а там, гляди, и не воротишься!

Земля была изрыта ядрами в сплошной буерак. Порой все это задергивалось синей завесой, порой завеса разрывалась на куски. И тогда яркое солнце обливало поле сражения веселым блеском, а картина становилась еще грознее. Повсюду лежали человеческие трупы. Они лежали кучками, похожими на дровяной развал. "Храбрецы - навзничь, трусы - ничком, - подумал Олферьев. - Впрочем, так ли?" Разметав гривы по ветру, раненые лошади прыгали, стараясь уйти из страшного места. Чудовищная сила взгромоздила кругом груды искалеченных орудийных тел и жалких железных скелетов, бывших еще недавно зарядными ящиками. Все это мелькало нестройно, беспорядочно перед глазами Олферьева, то еле проглядывая сквозь туманную завесу боя, то вырастая у него на пути.

Из леса, за которым должен был стоять третий корпус генерала Тучкова, вырывались огромные столбы огня и дыма. Эти вспышки сопровождались громовыми ударами. Олферьев с изумлением увидел перед лесом глубокие ряды не то вестфальской, не то польской пехоты. Яркие отблески солнца играли на оружии и красивой амуниции солдат. Они шли в атаку на отклон лесной горы тремя просеками. "Кого же они атакуют?

Тучкова? Почему он здесь? Когда он вышел из своей засады и зачем?" Вопросы возникали один за другим, и каждый оказывался страшнее предыдущего. У Олферьева захолонуло сердце. Он перевел коня на крупную рысь и пустился в объезд атаки, нарочно не прикрываясь, хотя и знал, что его непременно обстреляют. "Вот он, мой поединок с Клингфером!.."

Пехота Тучкова стояла на отклоне лесной горы под жестоким огнем, но совершенно неподвижно. Когда ядро ударяло в ее строй и вырывало из него одного-двух солдат, а то и целую шеренгу, - ряды молча смыкались. В этом не было ни хвастовства, ни робости. Сам Тучков со штабом находился на большой поляне, с которой начиналась средняя просека. Здесь он прохаживался взад и вперед посреди то и дело падавших гранат, разрывы которых Олферьев увидел еще издали. Руки генерала были заложены за спину, угрюмое лицо выражало досаду и злость. Он знал, что именно так Получится, когда Беннигсен поставил его здесь. И неразбериха эта его ужасно возмущала. Но, как большинство упрямых людей, вынужденных подчиняться насилию, он мстил за него теперь бездеятельностью. Вину за свою бездеятельность и за потери в людях, к которым она приводила, Тучков намеревался возложить на Беннигсена и, прохаживаясь по поляне, обдумывал, как бы поэффектнее это сделать. Тут-то к нему и подскакал Олферьев.

- Каким образом ваше превосходительство здесь, а не за лесом? Не в засаде?

Тучков с неудовольствием посмотрел на адъютанта: это что за шишка? Откуда прыть - допрашивать?

- Спроси, братец, не меня, а господина барона Беннигсена. От кого и с чем присланы? Олферьев доложил:

- Его сиятельство князь Багратион вашему превосходительству повелел представить, что время вам выходить из засады в тыл вестфальскому корпусу.

Тучков топнул ногой.

- Дичь несете, господин адъютант! Какая засада! Никакой засады нет, сами видите! И никому в тыл действовать уже нельзя мне.

Олферьев закусил губу.

- Сверх того, его сиятельство просит ваше превосходительство отрядить в подкрепление левому флангу третью дивизию генерала Коновницына...

- Что? - крикнул Тучков. - Не могу!

- Ваше превосходительство!..

- Я, братец, старый генерал и знаю, что делаю. Аль не видишь, что сам я атакован? Меня уже подвели раз. Довольно!

Он быстро ходил по поляне и говорил, раздражаясь с каждым словом и незаметно, по привычке переходя на французский язык:

- Il parait que tout le monde commande ici{103}... Олферьев понял, что дело потеряно со всех сторон. Вдруг ему ясно представился ужас, совершавшийся на левом фланге, и то, как встретит Багратион грубый отказ Тучкова. Отчаяние и гнев заворочались в его груди, и дерзкое слово само собой слетело с губ:

- Mon general, il parait au contraire que personne ne commande ici{104}!

- Мальчишка! - заревел Тучков. - Vaurien{105}! Последнее слово потонуло в оглушительном грохоте взрыва. Лес застонал. Пламя взвилось кверху. Земля и пыль взвихрились над поляной. И когда Олферьев открыл глаза, взгляд его сразу различил под сосной окровавленного Тучкова. Он сидел верхом на корневище и хватал воздух руками. Голова его падала, бок был вырван. Адъютанты суетились и кричали.

Через несколько минут Олферьев выводил из Утицкого леса на левый фланг третью дивизию генерала Коновницына,

Коновницынская дивизия проходила мимо лагеря московского ополчения. Ратники еще не были введены в бой, они ждали распоряжений. Но лагерь их уже был под сильным огнем. Ополченцы мотали головами, кланялись и крестились, иные даже бухались на колени. Жуковский смотрел, как шли на левый фланг войска Коновницына - из одного пекла в другое. Солдатам казалась смешной и непонятной трусливая опасливость ратников. Нет-нет да и вырывались из солдатских рядов едкие при-смешки:

- Кланяйся ниже, борода! Сними шапку! Крестись большим крестом! Бей поклоны, дуралей!

"Травин прав! - думал Жуковский. - Трудно, очень трудно узнать русского солдата! А что до меня - вовсе его не знаю я..."

Глава сорок первая

У селения Горки, на кургане, при крайнем доме, стояло три орудия. С этой батареи фельдмаршал наблюдал бой, сидя на складном стуле и опершись пухлым подбородком на руки, скрещенные поверх эфеса шпаги. Бой пылал по всей линии. Земля стонала от грома орудий, и стоны ее отзывались глухими раскатами в лежавших за Горками лесных засеках. Куда ни глянь - везде прыгали ядра. Несколько чугунных гостей побывали уже и на батарее фельдмаршала. Только Кутузов не заметил их. Когда грохот канонады усиливался, он отрывисто говорил:

- Не горячись, приятель!

Лицо его было серьезно, но совершенно спокойно. Ход дела был ему ясен. В том, что правый фланг атакован не будет, он не

сомневался. Зато левый фланг и батарея Раевского, покрытые черным дымом и гремевшие выстрелами, полностью занимали его мысли. Семеновские флеши переходили из рук в руки. На батарею Раевского бешено бросалась дивизия генерала Брусье. Но главное левый фланг. Рядом с Кутузовым стоял Беннигген и, быстро облизывая губы, взволнованно говорил по-немецки:

- Bagration... Bagration... Er ist ingrossten Erschopfung und Zerruttung. Aber ein Paar Tausend Kosaken, - und alles ware gerettet{106}.

Кутузов делал вид, что слушает эту болтовню, и даже изредка отзывался на нее короткими фразами:

- Es scheint, Herr Baron, daB desmalen hat der entschei-densten Augenblick begonnen{107}...

Вдруг он поднялся со стула.

- Лошадь!

Свита кинулась к коням. Но он сделал знак: остаться на месте. Ординарцы посадили его на седло. Он слегка ударил своего белого длиннохвостого мекленбуржца нагайкой и рысцой затрусил вниз с кургана. Кутузов давно уже заметил скакавшего к батарее с левого фланга адъютанта. Он не знал, с чем едет к нему посланный Багратиона, но не ожидал приятных известий, а неприятные хотел выслушать один на один, без свидетелей. За батареей он остановился и, когда Олферьев, отдавая честь, с карьера осадил коня, сказал ему просто:

- Рассказывай скорей, братец!

Олферьев быстро доложил обо всем, что делалось на левом фланге. Кутузов слушал, медленно кивая головой. Его лицо, покрытое тончайшей сеткой мелких красноватых жилок, оставалось спокойным. Выражение его не изменилось даже и тогда, когда Олферьев доложил, что третий корпус еще вчера был выведен Беннигсеном из засады, а генерал Тучков только что убит. Однако пальцы Кутузова, короткие, мягкие и толстые, игравшие оплетенным в ремень кнутовищем нагайки, так надавили в этот момент на кнутовище, что оно сломалось пополам. Михаиле Ларивоныч промолчал, но и слушать дальше не захотел. Он повернул лошадь и, опустив голову, двинулся шагом назад, на курган. Олферьев заметил, что губы его тихонько шевелились. Почудилось корнету и крепкое русское бранное слово, шепотком слетевшее с этих синих, глубоко запавших внутрь рта старческих губ. Въехав на курган и сходя с лошади, фельдмаршал проговорил, обращаясь к Беннигсену:

- Как и всегда, вы правы, ваше высокопревосходительство! Надо подкрепить левый фланг, но не двумя тысячами казаков. Потрудитесь взять второй и четвертый корпуса и отвести их к

князю Багратиону. Кому же, как не вашему высокопревосходительству, могу я поручить эту опасную комиссию?

Беннигсен поклонился и пошел к лошади. А Кутузов подозвал Толя и сказал ему вполголоса:

- Поезжай с ним, Карлуша, да с глаз не спускай... А то опять напаскудит!..

Еще рано утром Барклай выехал с адъютантами к дороге, которая вела из Бородина к Горкам, и остановился здесь возле двух батарей. С этого места он уже больше и не сходил. Батареи непрерывно действовали и навлекали на себя жестокий огонь. Барклай был в генеральском мундире со всеми звездами и в шляпе с плюмажем. Его адъютантам приходилось жарко. Он то и дело рассылал их по частям с приказаниями, стараясь не упускать возможности вовремя подкреплять слабые пункты. Это ему удавалось. Зато адъютанты один за другим выбывали. Графа Лайминга какой-то бешеный французский кирасир, зарвавшийся за линию фронта, просто застрелил из пистолета, хотя Лайминг и находился рядом с Барклаем. Четыре лошади уже были убиты под Михаилом Богдановичем. Последняя была куцым серым мерином, очень высоким. Сидя на ней с подзорной трубкой у глаз, Барклай следил за тем, что делалось на левом фланге. Положение Багратиона его тревожило. Вдруг мерин странно, совсем не по-лошадиному взвизгнул и рухнул на колени. Михаил Богданович не опустил трубки, - он только шагнул через голову подыхавшего коня и приказал:

- Лошадь!

Подвели пятую. Взбираясь на нее, он еще крепче прижал к глазам трубку. Левый фланг колебался. Бой шел за последнюю, среднюю флешь. Барклай оглянулся. Ротмистр подъехал.

- Багратион гибнет. Милый ротмистр, прошу вас! Скачите к генералу Дорохову и передайте: Барклай приказал его кавалерийским полкам немедленно идти к Багратиону. Возьмите из резерва лейб-гвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки, две роты гвардейской артиллерии и полка три из первой кирасирской дивизии, отведите все это на левый фланг. Спешите, ротмистр! Это очень нужно, очень.

Клингфер отдал честь и повернул коня.

- Задержитесь на минуту!

Барклай пристально посмотрел на офицера.

- Мы, вероятно, не увидимся больше. Надеюсь, что сбудется мое пламенное желание... Жизнь тяготит меня, Клингфер! Я не хочу, чтобы судьба оставила ее мне. Итак, это почти наверное, что мы видимся в последний раз! Прощайте! С богом!

Барклай протянул руку своему верному адъютанту. Ротмистр крепко прижал ее к груди. Через минуту он скакал прямо навстречу французским фланкерам из наступавшей стрелковой цепи, а потом понесся вдоль этой цепи, осыпаемый ее летучим огнем. "Едва ли я увижу тебя, мой добрый генерал, - думал он. - Быть может, судьба будет справедлива на этот раз и сохранит России Барклая, но я... честь и клятва должны свести меня нынче со смертью!.."

Семеновские флеши имели вид реданов или обыкновенных лагерных укреплений, а форму - острого угла, открытого со стороны нападения. Картечными залпами с задних позиций можно было легко вымести из флешей всех, кто в них находился. По этим же причинам удержаться в них было несравненно труднее, чем завладеть шли.

Багратион видел это. Несколько картечных залпов, а потом атака пехоты могли вернуть потерянную левую флешь. И ее надо было вернуть!

- Генерал! - крикнул князь Петр Иванович Неверовскому. - Бери свою дивизию! Отхватывай левый шанец!

Неверовский молча приложил пальцы к шляпе. В грохоте боя тонули слова. Надо было бы объяснить этому храброму генералу, что начинать дело следует с картечи. Но... где же там! "Ужели сам не знает?" - подумал Багратион и поскакал к правому укреплению, где закипала страшная суматоха.

От пятьдесят седьмого французского линейного полка, ворвавшегося в левую флешь, почти ничего не оставалось. Ней вел сюда дивизию генерала Ледрю, когда натолкнулся на слабые батальоны Неверовского. Вся двадцать седьмая дивизия бежала двумя колоннами к атаке, и колонны эти были так малочисленны, что Ней оказал себе: "Сейчас я раздавлю этот храбрый и несчастный полк!" Он сделал знак. Дивизия Ледрю раздалась и выпустила вперед пушки.

- Ложись! - успел прокричать своим Неверовский.

Пехота прилегла. Через нее с шумом полетела картечь, так сильно ударяя в задние насыпи шанца, что пыль взвилась к небу черной тучей. Неверовского смело с коня при первом залпе. Второй и третий решили судьбу предприятия: левую флешь вернуть не удалось.

Было около десяти часов. С правой флеши пронесли командира восьмого корпуса Горчакова. Голова князя Андрея была закутана окровавленной шинелью. Он глухо стонал. Правая флешь была уже во французских руках. Борьба теперь шла за последнюю - среднюю. Именно там чаще и ярче всего вырывался из дыма блеск пушечных огней и, как пятна на солнце, все гуще и

гуще чернели колонны наступавших французских войск. Принц Карл Мекленбургский с Киевским, Московским и Астраханским гренадерскими полками уже несколько раз ходил в штыки на эти колонны и опрокидывал их. Но новые и новые дивизии врага рвались к флеши. Ядро свалило принца.

Багратион вертелся посреди этого ада, шпоря лошадь и отыскивая взглядом источник спасения. Где взять свежих людей? Однако они еще были. Вот двигалась вперед скорым шагом и даже в ногу гренадерская бригада. Словно на параде, стройно и хладнокровно прошла она мимо батарей. Пушки взяли на передки, выскакали вперед и осыпали наступавших французов картечью. Гренадеры опять прошли мимо батарей. Они держали ружья наперевес и стреляли. Прекратился огонь и со стороны атаки. Колонны сближались в страшном молчании. Впереди бригады шагом ехал на малорослой лошадке Кантакузен.

- Ура, князь! - крикнул ему Багратион. - Я с тобой!

Полковник кивнул головой, не отвечая. Можно было подумать, что он и не узнал Багратиона. Но это было не так. Просто в эти торжественные минуты Григорием Матвеевичем уже безраздельно владело то чудесное, до величия поднимающее дух состояние порыва, когда жизнь со всеми людьми и отношениями отодвигается далеко прочь, а сочувствие друга и ярость врага становятся одинаково безразличными. Кантакузен шел в бой, из которого не было возврата, и он знал это. Только две вещи в мире были сейчас для него не безразличны: расстояние, отделявшее его от французов и уменьшавшееся с каждой секундой, и твердость шага маршировавших за ним солдат. Все чувства его были поглощены этими вещами. Потому-то он и не ответил Багратиону. Князь Петр понял причину, - ему ли было не понять, как безгранична власть святой минуты над душой его обреченного друга!

- С богом, князь-душа!

Чтобы не мешать разбегу людей, который обязательно нужен для хорошего штыкового удара, Кантакузен начал осаживать своего конька в интервалы полков. Гренадеры заметили это. Ухо Григория Матвеевича поймало в стройном шаге их что-то неладное. Он тотчас выскакал вперед.

- Я здесь, золотые, здесь я! Нельзя же мне собой загораживать вам дорогу! Ура!

Шаг снова зазвучал дружно и ровно. Кантакузен въехал в интервал. До французов оставалось не больше десяти саженей.

- Ура! - крикнул он и махнул рукой.

Гренадеры рванулись вперед. Лязгнули штыки, полетели разбитые в щепу ружья, замелькали над головами приклады,

зазвенели тесаки. Бой кипел на месте. И место это с каждой минутой все поднималось и поднималось, вспучиваясь грудами мертвых тел. Кантакузен замотал головой и выронил из руки шпагу. Лицо его побелело. Он начал медленно сползать с коня, барабанщик подхватил его. Смерть командира и внезапное прекращение барабанного боя осадили порыв солдат. Сотни рук, мгновенно обессилев, опустились. Сотни ног бестолково затоптались вокруг барабанщика с телом Кантакузена.

Полчанинов взглянул на труп князя. Черные глаза его были широко открыты, и жестокое изумление застыло в них. Бакенбарды растрепались, в левой завилась соломинка. Темная струйка крови сочилась из густой и косматой брови. "Прощай, князь! Прощай, отец мой!" С этой минуты Полчанинов уже не думал больше ни о чем. Все, что он делал потом, совершалось его голосом, его руками, но не им самим.

Он выхватил у подпрапорщика знамя и швырнул его далеко вперед. Темный шелк тяжело плеснулся в воздухе. Множество жадных чужих рук протянулось к нему со всех сторон.

- А захотят ли гренадеры потерять свое знамя?

Карабинерная рота с такой неистовой силой ринулась за прапорщиком, что вмиг очутилась там, где могла бесследно исчезнуть старая гренадерская слава. Что-то обожгло грудь Полчанинова. Острый огонь зажегся между ребрами - там, куда врезался и где повернулся широкий французский штык. Ухватившись обеими руками за его скользкую двугранную полосу и опрокидываясь назад, Полчанинов ясно различил над собой свободные взмахи ветхого лоскута.

- Отбили, ваше благородие! Как в лес кликнешь, так и отзовется!

Это сказал Трегуляев, нагибаясь к мертвому офицеру.

Атаки генералов Брусье и Морана на батарею Раевского начались в девять с половиной часов и сейчас же приняли крайне ожесточенный характер. Густые колонны французской пехоты с распущенными синими знаменами, музыкой и барабанным боем двигались на батерею, как туча.

- Allons! Avancez{108}!

Травин крикнул пехотному взводному, стоявшему в прикрытии у его пушек:

- Берите, ребята, половину французов себе, другая - нам!

Чья-то жесткая рука легла на его эполет. Он оглянулся. Это был генерал Паскевич, уже два раза водивший в штыки четыре полка своей двадцать шестой дивизии и собиравшийся теперь отбивать атаку в третий раз. Травин удивился неприятной беглости его колючего взгляда.

- Вот что, поручик, - сказал генерал, - сейчас мы отобьем эту сволочь, потом вы пойдете с вашей ротой на подкрепление левого фланга. Завтра я представлю вас к чину, а послезавтра - к переводу из моей дивизии.

- Слушаю! - ответил Травин. - Почему так угодно вашему превосходительству? Паскевич выпрямился.

- Потому что такие люди, как вы, мешают мне быть самим собой. Идите к черту, поручик! Травин не успел ответить.

- Allons! Avancez!

Французская пехота была уже под самой батареей, когда русские орудия грохнули все враз, словно по команде. Никто не подавал этой общей команды! Огонь ворвался в неприятельские ряды и разметал их, но только на минуту. Вот они снова сомкнулись, сойдясь поверх трупов, и плавно двинулись в свой смертный поход. Картечь грохнула еще и еще раз. Опять смешалась колонна. Однако крики начальников не умолкали, и она стройно пошла вперед. Батарея начала стрелять залпами. Выстрелы были удачны. Туча редела, барабаны и музыка притихли. Но французы еще шли. Атака то подавалась назад, то приближалась. Травин дал залп. И ему показалось, что стена стала на месте, колеблясь.

- Молодцы артиллеристы номера двадцать шестого! - закричал Паскевич. Славно!

- Идите к черту, генерал! - отчетливо проговорил Травин.

Атака ринулась на батарею...

Как ни жесток был натиск французов на батарею Раевского, Николай Николаевич отрядил вслед за "принцем Макарелли" на левый фланг чуть не половину своего корпуса. Голицын привел три полка пехоты и несколько артиллерийских рот. Среди них была рота Травина.

На левом фланге было не лучше, чем на батарее. Гранаты квакали, ядра визжали. Вот упал человек из орудийной прислуги, за ним - другой. Третий подпрыгнул и ничком ударился о землю.

Мимо проскакал Багратион.

- Передки и ящики с места отослать назад! - крикнул он. - Орудий не свозить!

Рота подавалась к месту медленно. Внутри средней флеши и поблизости от нее лежало столько трупов, что объехать их не было возможности. Орудия катились через них. Особенно много тел было во рву, перед углом люнета. Тут же поднималась целая гора ружей, тесаков и киверов. На самой флеши орудий почти не было, зато против нее тянулась бесконечная линия французских батарей, - все они были в полном действии. Дым разносило ветром. И Травину было отлично видно, как французы заряжали и

наводили орудия, подносили пальники к затравкам. Гул от выстрелов был так силен, что ни ружейной пальбы, ни криков, ни стонов не было слышно. Чтобы приказать что-нибудь, надо было кричать. Ядро хлопнуло в орудийный ящик. Люди шарахнулись.

- Граната!

Угодников подскочил к ящику и быстро дернул за крышку.

- Господи благослови!

- Что ты делаешь? - крикнул Травин.

- В порядке, ваше благородие! Холостое ядро... повредило сверху гнезда... да и застряло!

Угодников был бледен. Травин схватил его за руку и крепко пожал ее. Между тем ружейный огонь начал отдаляться. Пули уже не свистели, а жужжали, - особый тон звука, свойственный их излету. Затем смолкла артиллерия. Что такое? Перед средней флешью что-то поблескивало в густых облаках пыли.

- Никак, горшки железные на нас валят, ваше благородие?

Действительно, в атаку на флешь неслась колонна французских латников. Это их медные кирасы и стальные палаши блестели под солнцем. Они-то и заслоняли собой действие неприятельской артиллерии. Конница шла малой рысью прямо к цели. Не больше сотни саженей оставалось между ее головными линиями и флешью. Травин видел, как снимались и брали на передки соседние роты. Привычный страх потерять орудия оказывался сильнее всех приказов Багратиона и разъяснений Кутайсова. Какой-то старый артиллерийский полковник из немцев налетел на Травина.

- Господин поручик! Или не видите? Уводите пушки!

- Не уведу! - отвечал Травин.

- Хорошо, душа!

Это крикнул неизвестно откуда взявшийся Багратион.

- К шаху старого дуралея! Ему жизнь славы дороже! Голову снесу! Оборачивай пушки, поручик!

Орудия Травина были заряжены картечью. Он наспех прикидывал, как лучше действовать. Из-за спины Багратиона выскакивал драгунский полк, - он должен был задержать французскую атаку. Травин понял свою задачу: подпустить кирасир как можно ближе и, встретив огнем, помочь отпору со стороны драгун. Грозный момент наступал с неимоверной быстротой. Заметив, что Угодников уже наносит пальник, поручик кивнул головой. Но в эту минуту строй французских кирасир развернулся и показал скрытую за ним артиллерию. Залпы грянули одновременно. От близкой посылки картечи и у Травина и у французов повалились люди и лошади. Сумятица продолжалась, однако, не дольше мгновения. Картузы уже были

готовы. Пушки Травина дали еще залп. Багратион махнул шпагой, и драгуны понеслись в контратаку. На французской батарее кипело: кажется, там взорвался зарядный ящик. Драгуны наскакали на замолчавшие пушки. Батареи больше не существовало. Медные гиганты целыми десятками валились со своих огромных серых коней. Бешено крутя глазами и тяжело дыша, кони метались, роняя всадников и волоча их за ноги, застрявшие в стременах. Задние лошади спотыкались и падали через передних. И все-таки латники уже топтали землю под взгорком флеши. Сверкающая туча поднятых кверху палашей вилась над конями. Травин видел лица всадников, различал цвет их глаз, - так они были близко...

Драгуны прорвались сквозь строй кирасирской атаки и врубились в стоявшую за ней колонну французской пехоты. Линейцы были застигнуты врасплох. Они падали под драгунским наскоком так, как стояли. Люди лежали грудами, и по грудам этим носились всадники...

Угодников отошел в сторону и сел под кустом. Здесь он стянул с себя мундир и снял рубашку. Левая рука была вывернута ладонью кверху, а из-под кожи, близ локтя, высовывался острый конец бело-розовой кости. Канонир ухватился здоровой рукой за раненую и повернул ее на место. Зубы его заскрипели от боли, и жаркий пот облил тело. "Встала!" - прошептал он побелевшими губами. Но кость никак не хотела уходить внутрь. Тогда Угодников плюнул с досадой, живо перевязал руку у локтя и снова натянул мундир. Теперь он хотел подняться на ноги, но ноги дрожали и не слушались. Что делать? Угодников достал из кармана огниво с полным припасом и высек огонь из кремня. С первой искрой мысли его прояснились и ноги перестали дрожать. Трубка отлично раскурилась. Минуты две он прислушивался к грохоту, который доносился с флеши, потом встал и пошел в огонь.

Глава сорок вторая

Наполеон быстро ходил перед палаткой с платком в руке и громко чихал. Сегодня его совершенно одолели насморк и кашель. После бессонной ночи и двух стаканов пунша мерзко слезились глаза. Вообще он был нездоров, и эта отвратительная, болезненная размягченность тела действовала на ˆсердце и голову. Воля его была как-то странно ослаблена, и мысль, блуждая по местам кипевшего впереди боя, никак не могла ухватиться за главное. Положительно император не знал ни того, что было сейчас главным и потому нуждалось в немедленном исполнении, ни того, что надо было немедленно предпринять, чтобы оно стало главным и решило судьбу этого жестокого дня. Такой удивительной нерешительности он никогда раньше не замечал за собой. "Вероятно, я бледен, - думал он с непонятным отвращением к самому себе и к тому, чем вызвана эта бледность. - Нехорошо! Это производит дурное впечатление..." Чтобы скрыть от окружавших его генералов и высших чинов главной квартиры свое состояние, Наполеон принимал меры. Так, несколько раз он проговорил резко и твердо:

- На шахматной доске еще не все ясно. Мой ход пока не наступил!

Произнося эти слова, он, однако, не имел в виду ровно никакого хода. Когда в свите зашептались о том, что необходимо на помощь Нею двинуть старую гвардию, Наполеон сердито бросил через плечо:

- Гвардия не сойдет с места!

Да, гвардию он не двинет, хотя бы это и решило бой.

Почему? Странное, горячее и острое, как искра, чувство шевелилось в груди императора и больно обжигало его душу. Он был бы поражен, догадавшись, что чувство оэто - страх. Но он не догадывался и отнюдь не хотел, чтобы кто-нибудь догадался. Чтобы поддержать заблуждение в себе и в других, он сказал:

- Все идет прекрасно! Русские не дерзают двигаться вперед, но хотят податься назад и умирают там, где стоят. Отлично!

Пыльный офицер подскакал к императору и отдал честь шпагой.

- Ваше величество! Я адъютант маршала Нея. Маршал приказал доложить: все дивизионные генералы ранены, конная атака отбита. Багратион переходит в наступление. Нельзя терять ни минуты. Маршал умоляет гвардию!

Наполеон пожал плечами. Это - Ней! Сын лотарингского ремесленника, маршал Франции, которого сегодня вечером надо будет провозгласить князем московским за то, что он сделал в этой битве. Ней - лев, храбрейший из храбрых, добродушный, честный, пылкий, но... чересчур прямой. Такие донесения

генералы присылают только тогда, когда они разбиты. Неужели?.. Искра страха, шевелившаяся в груди императора, вспыхнула.

- Скачите к маршалу, - приказал он адъютанту, - и передайте: гвардия не сойдет с места. Но сейчас я пошлю повеление королю Неаполитанскому повторить атаку кавалерии и повторять до тех пор, пока маршал не овладеет этими проклятыми укреплениями.

Новую атаку средней флеши Ней, Мюрат и Жюно, вышедший наконец с вестфальцами из-за леса, предприняли совместно.

Неаполитанский король, Иоахим Мюрат, высокий, стройный, с открытым смуглым лицом, на котором весело сияли звезды голубых глаз и жемчужные зубы, сам вел кирасир. Его длинные шелковистые волосы вились по ветру, затканный золотом зеленый бархатный плащ развевался, высокий султан из белых перьев на шляпе с откинутыми полями был далеко виден с разных сторон. Мюрат бешено колол своего рыжего арабского скакуна золочеными шпорами, привинченными к высоким желтым венгерским сапогам. Хриплый голос и гасконский выговор короля раздавались то здесь, то там:

- Славно, дети! Вы атакуете как ангелы! Под самым бруствером флеши он закричал:

- Самые храбрые! За мной!

И вскакал на бруствер. Несколько мгновений он держался на этой высоте, окруженный толпой коловших и рубивших друг друга французов и русских и овеваемый градом пуль. Затем чьи-то заботливые руки схватили его коня под уздцы и столкнули вниз. Еще секунда - и Неаполь остался бы без короля...

Картечь семеновских батарей вырывала из колонн французской пехоты, которую вел Ней, целые роты. Но те, что оставались на ногах, шли вперед, не робея, и даже не убавляли шага. Олферьев вынул из кармана пороховницу и насыпал пороху на полку своего нарядного пистолета с орлиными головками на прикладе. Он стоял, спешившись, и стрелял через седло. Стена французской атаки все ближе и ближе надвигалась на редан.

- Эх, да что ж они? Аль смертушка им свой брат?

Сказавши это, солдат уткнулся лицом в пыль. Вот уже французы подкатились под самую флешь. Огненный ветер продолжал косить их, и, как спелые колосья на ржаном поле, ложились они наземь полоса за полосой. И опять поднимались, тоже как колосья, полоса за полосой. Впереди бежали линейные стрелки. Несколько линейцев рванулись из цепи и вскочили на бруствер флеши, туда, где недавно сверкал и искрился Мюрат. Но теперь французов привел сюда не король, а скромный, седой, красноносый майор Лемуан. Он стоял на валу, размахивая шпагой. Сотни линейцев карабкались за ним. Сейчас их изрубят.

Какая дивная храбрость!

- Славно!

Возглас был так громок и вылетел из такой открытой солдатской души, что даже в грохоте боевой бури был явственно слышен. Олферьев обернулся.

- Славно! - еще раз крикнул восхищенный мужеством врага Багратион.

Лемуана и линейцев уже не было на бруствере. И за бруствером их тоже не было, - жгучие острия русских штыков приняли их на себя. Но следом за ними на редан наседали полки. Внутри укрепления свирепствовал ад. Визжа и крутясь, ядра разили людей десятками, и пол разливами свежей крови внезапно обозначились в линии защиты лысые места. Разрывы шипучих гранат довершали урон.

- Смыкайся!

Шеренги смыкались над лысинами, быстрый огонь ружейной пальбы молнией бежал по шеренгам, и атака то рассыпалась перед реданом грудами трупов, то наваливалась на него снова...

Ровно в одиннадцать часов кирасиры и егеря отбросили вестфальский корпус Жюно в лес, из которого он вышел, а полки Нея заняли среднюю семеновскую флешь. Больше на этом крыле левого фланга не было укреплений. Русские войска толпились между флешами и деревней Семеновской. Картечный ураган сбивал их с ног. На флешах было уже столько французских орудий, сколько можно было разместить, и все они были повернуты против отступавших. Самое скверное заключалось в том, что на малом пространстве до деревни собралось непомерно много людей, потому и положение их казалось безвыходным и ужасным.

- Да, здесь и трус не найдет себе места! - сказал Багратион генералу Коновницыну. - Что ж, Петр Петрович? Надобно отбирать назад флеши! Бери свою третью дивизию и наступай. Я с тобой пойду...

- Не лучше ли, ваше сиятельство, отвести войска за овраг и, выставив сильную батарею....

Худое и серое лицо Коновницына болезненно морщилось, с косматых бровей и длинных белых ресниц срывались градинки пота, ясные, светлые глаза глядели в сторону. Он не верил в успех контратаки и говорил то самое, что сказал бы на его месте всякий другой генерал, храбрый и мужественный, но без гнева и ожесточения в огненной душе. Все сражения, в которых он участвовал и будет еще участвовать, не значили для него так много, как для Багратиона исход одного сегодняшнего боя. Если французская армия не разобьется сегодня о русскую - погибнет

Москва. Гибелью Москвы предрешается гибель России. Итак, Россия погибнет от поражения ее армии в том бою, которого искал, жаждал, требовал с первых дней войны Багратион. И, не мешай князю Петру Ивановичу Барклай, не хитри Кутузов, крушение произошло бы давным-давно. Следовательно, все, что делал князь Петр с шестнадцатого июня по двадцать шестое августа, его мнимые победы и мнимые поражения в жестокой борьбе с Барклаем, - все это было страшной роковой ошибкой. Доверши ее Багратион - и вред, причиненный ею родине, был бы неисчислим. За подобные заблуждения надо платить жизнью! Но что жизнь одного человека, когда гибнет Россия? И случилось так, что именно здесь, на левом фланге, на этих убогих реданах, повисла сегодня ее судьба. Счастливый Коновницын! Он не может рассуждать так. А Багратион только так и может, лишь так и обязан рассуждать. Он взял Коновницына за руку.

- Петр Петрович! Вот тебе приказ мой: бери свою дивизию и иди отбивать флеши! Васильчикову прикажу всю кавалерию весть! А чтобы успеха верного к надежде прибавить, сам возьму часть и поведу...

Он огляделся.

- Вишь, батальоны гренадерские жмутся... Это от князя Кантакузена осталось. Их и поведу. Ступай с богом, Петр Петрович, к дивизии своей! Алеша, скачи к артиллерии, что от Раевского прислана, готовь к атаке! Шпоры!..

От бригады Кантакузена осталось меньше половины. Но эти остатки так и не выходили до сих пор из огня.

Гренадеры стояли в овражке, почти без офицеров, перебитых еще во время атаки, нестройной толпой, переминаясь с ноги на ногу и тревожно оглядываясь по сторонам. Ружейные пули и осколки гранат продолжали вырывать из их сломавшихся шеренг то одного, то другого человека. Но к этому уже привыкли. Пугало солдат другое: а что, если про них забыли? Им не хватало командира.

- Наложи-ка, братуха, трубочку, - говорил Трегуляев соседу, - а то, вишь, как жарят!

- Брось, Максимыч, - отозвался карабинер, - как раз вперед двинут...

- Не двинут... Еще подождем, - чай, не под дождем. Даже в этих тяжелых обстоятельствах словоохотливость не покидала Трегуляева. Брезгун рассердился.

- Уймись, дуралей! Не угадал еще, что с тобой-то будет!

И вдруг перед гренадерами вырос Багратион. Князь протянул руку в ту сторону, где погиб их командир.

- Убили друга вашего и моего! Нет у нас Кантакузена!

Храбрецы мои! Я поведу вас! За мной!

Такого командира гренадеры не ждали. Он гарцевал перед ними на высокой своей лошади, бледный и пыльный, с огненными глазами, сверкая звездами на груди. "Сам Багратион!" Лица солдат зажглись восторгом.

- Ур-ра! Веди, отец! Умрем!

Грянули барабаны. Гренадеры склонили на руки штыки и двинулись вперед стройно и мерно. И в ту же минуту снова от стона орудий потряслась земля. Над головами гренадер прогремело, прошипело, просвистело, - заговорил и смолк ад. Задние укрепления флешей скрылись в густых облаках пыли. По мере того как она рассеивалась, один за другим показывались земляные ходы, заваленные сотнями французских трупов.

- Вот спасибо! - закричали солдаты. - Спасибо артиллерии! Сберегла гренадер!

И пошли дальше. Эта атака горсти людей (Коновницын вел своих егерей и пехоту по сторонам и несколько сзади), во главе с главнокомандующим, представляла собой необычайное зрелище. Едва ли когда-нибудь, в пылу самых жестоких сражений, случалось, чтобы солдаты с такой же железной, неумолимой стойкостью совершали свой наступательный разбег. Едва ли также существовал когда-нибудь главнокомандующий армии, который, забыв о том, кто он, что впереди и позади него, мчался бы, как прапорщик, навстречу огню и крови, давя конем, рубя шпагой, опрокидывая все, что попадалось на пути. Это была атака, грозная, как буря, великолепная, как гроза! Вот и пушки - русские пушки, оставленные на флешах при отступлении. Они расстреливали врага до крайней минуты, - так велел Багратион, - и потому остались здесь. Нельзя сказать, что Олферьев заметил это или даже, что ему это бросилось в глаза. Он был в таком страшном состоянии, когда глаза не видят, но сквозь блеск и туман, окружающие человека, впечатления бегут мимо, как сон или бред. Пушки не были заклепаны французами, - они не успели заклепать их. Не были даже повернуты пушки в русскую сторону, - из них не успели стрелять. Неужели не хватило снарядов?.. Правы были Багратион и Кутайсов! Эти орудия сделали все, что могли: нанесли французам весь вред, причинить который было в их силах, и возвращались теперь к своим, ни одним выстрелом не погрешив против своего долга перед ними. Можно подумать, что, уже находясь в плену, они все еще отбивались от новых хозяев, не желая подчиняться их враждебной воле... Одушевленные верностью пушки... Чудо!

И вдруг Олферьев прозрел. Нет, не было тут чуда! Но мужество русских людей, их доблесть и величие духа были

чудесны. На медном теле орудия, обхватив его дуло правой рукой, - левая была кое-как перевязана клочьями рубахи, - лежал канонир с большими черными бакенбардами. Вот кто не позволил орудию повернуть назад и бить по своим! Вот кто одушевил медное сердце бессмертной верностью!.. Ах! Да ведь это травинский солдат, тот, дружбу которого предлагал Олферьеву Травин... Это он, он... Олферьев тогда еще отказался от его солдатской дружбы... Боже! Корнет вспыхнул от стыда и опустил поводья. Конь споткнулся о сломанное колесо, взвился на дыбы и прыгнул через русского офицера, сидевшего на земле, прислонясь спиной к лафету пушки, со шпагой в левой руке и опущенной на грудь черноволосой головой. Правая рука его медленно поднялась. На ней не было двух пальцев! Травин! Олферьев соскочил с лошади и кинулся к поручику. Травин был ранен в грудь, залит кровью, слаб, но в сознании. Он узнал Олферьева. На суровом, задымленном и бледном лице его мелькнуло выражение радости.

- Друг, - через силу проговорил он, - скажи князю: пушек не снимал... стоял до последнего, ждал пехоты своей... и дождался...

Олферьев прижал к губам беспалую руку Травина. Два казака из конвоя Багратиона с любопытством наблюдали эту сцену.

- Вынести поручика из боя! - приказал им Олферьев.

И казаки бросились к Травину, вмиг подняли его на седло метавшейся рядом без седока лошади, и Травин исчез из глаз корнета. Олферьев пустился догонять Багратиона. Он настиг его на заднем гребне средней флеши.

- Штыки! - звонко крикнул князь Петр Иванович. Штыки засверкали в руках гренадер, с хрустом поворачиваясь в телах французских линейцев.

- Врешь, братцы, не то поешь! - приговаривал Трегуляев, с остервенением работая уже не штыком, а прикладом и бешено стуча им по головам французов. Врешь, братец!

Когда линеец падал, взмахивая руками, Трегуляев и тут не мог удержаться от злобного присловья:

- Вишь, чухломский рукосуй, рукавицы ищет, а они за пояс заткнуты...

И вдруг трегуляевское ружье осело, а сам он, бледный, протянул вперед кровавую культяпку с белой косточкой на конце и замер в ужасе. Могучий удар тесака отхватил от руки его кисть. Несколько мгновений Трегуляев молча смотрел на свою культяпку. А потом взвыл от боли и тоски:

- Эх, рученька моя, рученька! - и, махая культяпкой, еще и еще раз повторял плачущим голосом: - Эх, рученька!

Брезгун нагнулся, поднял ружье Трегуляева и обтер с него

рукавом кровь. Круглые глаза его с невыразимой лаской повернулись к раненому. Ивану Иванычу хотелось утешить беднягу.

- Жаль твою рученьку, Максимыч, - прогремел он, - а вон погляди, сколько наших и вовсе лежат, да ничего не говорят...

Он сказал это так просто, словно разговор шел в казарме за чаем. - И поразительно! - в кровавой свалке, клокотавшей кругом, заулыбались в ответ на эти фельдфебельские слова солдатские лица.

- Стало, и я в рукосуя оборотился! - выговорил Трегуляев и, как-то странно сжавшись в плечах, начал выбираться из свалки.

Рядом с Иваном Иванычем, стиснув зубы, яростно орудовал Старынчук. Каждый удар штыка, которым рекрут награждал французов, исполнял двойное назначение: во-первых, вымещал потерю того дорогого и близкого, что оставил Старынчук дома, и, во-вторых, заслуживал ему столь необходимый и желанный Георгиевский крест. Старынчук действовал, как дровосек в лесу, - штык так и поблескивал в его длинных, могучих руках. Лицо рекрута было красно и потно от усилий, но он не уставал. Наоборот, мочь прибывала к нему с каждой минутой, словно из земли переливалась в него. Нет-нет да и вырывалось у соседних карабинеров, восхищенных работой Власа, невольное восклицание:

- Вишь, прах его возьми, что делает! Аж черно да мокро кругом!

И так продолжал Старынчук заслуживать Егория до тех пор, пока ружье его не перебилось в ложе, а сам он не упал. Падая, рекрут ощутил на лице дуновение чего-то свежего, - может быть, это был ветер. И на этом как будто все кончилось. Однако через несколько минут он поднял голову и сел. Он не понимал, что с ним случилось, и боли не чувствовал нигде. Поведя глазами, Старынчук увидел двух французских стрелков, которые шли на него со штыками наперевес. Рекрут вскочил, - тут он с удивлением заметил на себе кровь, - и схватился обеими руками за вражеский штык. Затем принялся размахивать и колоть этим штыком с такой страшной энергией и силой, что вмиг свалил с ног какого-то французского офицера и несколько солдат. Но здесь снова приключилось со Старынчуком что-то неладное, - руки его одеревенели, сердце ухнуло, в голове помутилось, - и он рухнул на землю.

Атака длилась уже минут пятнадцать. В средней флеши почти не оставалось французов. Коновницын с успехом действовал слева и справа. Васильчиков вел кавалерию. Багратион видел, как засветились медные оклады кирасирских касок, слышал, как

заиграли трубы. Лицо его было весело.

- Ура! - кричал он и махал шляпой, вздернутой на шпагу.

Полковые колонны конницы скакали поэскадронно, на больших дистанциях. Кирасиры сидели на лошадях вороной масти, и оттого лавина их, быстро мчавшаяся к флешам, казалась черной.

- Ура!

Князь Петр Иванович уже почти не сомневался, что отчаянное предприятие его исправит, искупит, покроет славой победы, с лихвой возместит несчастную потерю флешей. Грудь его бурно и вольно дышала.

- Ура!

Страшный удар, подобный электрическому, поразил Багратиона в правую ногу. Он качнулся в седле и выронил шпагу со шляпой. Черные кудри его встали дыбом, смуглое лицо побелело, глаза закатились, полные слез и крови. Зубы насквозь прокусили запекшуюся губу. Нога бессильно повисла около стремени; пониже колена, где сгибается складкой блестящее голенище ботфорта, торчали красные клочья мышц и острые зубцы белых костей.

И на боку Багратионова коня также зарделось красное пятно. Оно дымилось, - кровь князя Петра Ивановича была горяча. С каждым мгновением пятно увеличивалось в размере.

- Ваше сиятельство! - в ужасе крикнул Олферьев. - Ах, ваше сиятельство! Да что же это такое?..

Его рука обнимала Багратиона за пояс, и Олферьев чувствовал, как дрожит все тело князя и как неудержимо клонится оно с седла вниз.

- Ваше сиятельство!..

- Ни-ни, душа, - прошептал Багратион, - ничего! Главное... чтобы не заметили!.. Он обернулся к солдатам.

- Вперед, други мои! Вперед! Добивайте шельмецов!

Князю казалось, что он громко кричит. На самом же деле лишь Олферьев с трудом мог разобрать в грохоте боя эти еле слышные слова последней Багратионовой команды. А кроме него, никто, решительно никто, не слыхал их... Что делалось в эту минуту в душе Олферьева, он ни тогда, ни впоследствии не мог ни понять, ни даже вспомнить. Но знал одно: если бы тогдашнее состояние его духа осталось в нем навсегда, прошло бы вместе с ним через весь его жизненный путь, то не только дурной или двусмысленный поступок, но и мысль, дурная или двусмысленная, были бы для него невозможны.

Никто не расслышал последней команды Багратиона. Однако многие из тех, кто находился поблизости, видели его внезапную

бледность и кровь, хлеставшую из ноги, перебитой черенком чиненого снаряда. И хоть конь князя Петра еще плясал и прыгал, а черные кудри, знакомые каждому солдату русской армии, еще развевались по ветру над славной головой, но сокрушительная весть о бедствии вмиг облетела войска. И атака дрогнула, замялась...

Случилось никогда не бывалое! Четверть века провел Багратион в огне грозных битв, и никогда не посмел прикоснуться к нему ни один кусок вражеского свинца или железа. Четверть века! Солдаты крепко верили в то, что их любимый вождь неуязвим. Да и не только солдаты! И вот он перед ними с раздробленной ногой... Его снимают с лошади и кладут на шинель... Он поднимается на локте и с тоской озирается огромными черными глазами. Лекаря, вынырнувшие словно из-под земли, окружают его стеной своих темных мундиров. Его хотят переложить на носилки, но он гневно качает головой. Нет! Он никогда не лежал на носилках и не будет лежать! Он пойдет сам... И Багратион действительно шагнул вперед. Но лицо его в тот же миг помертвело, и курчавая голова свалилась на грудь. Боль была нестерпимой. Он упал бы, не подхвати его под руки Олферьев, "Макарелли" и лекаря. Тогда его повели - правильнее сказать, потащили - из-под огня, жалко подпрыгивавшего на одной ноге, с бессильно болтавшейся другой и глазами, закрывавшимися от внезапно наступившей жестокой слабости... Атака откатывалась назад по всей линии.

Еще полоса огня не кончилась, когда к печальному шествию подскакал Клингфер. Узнав в генерале, которого вели под руки, главнокомандующего Второй армии, он отсалютовал шпагой и хотел отъехать в сторону. Багратион выбыл из строя! Едва ли ему сейчас до рапортов и донесений... Но Клингфер ошибался. Князь Петр Иванович уже поднял голову и смотрел на ротмистра мутными от страдания глазами.

- С чем прислан? - спросил он еле слышно.

- Лейб-гвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки, три полка первой кирасирской дивизии и две батарейные роты гвардейской артиллерии, ваше сиятельство.

- Славно! - прошептал Багратион. Вдруг голос его окреп, он выпрямился и туго уперся здоровой ногой в землю.

- Передайте министру два слова моих: спасибо и... виноват! Многое... весьма многое лежит теперь в его руках. Да сохранит его бог!

Беннигсен и Толь вели на левый фланг войска второго и четвертого корпусов с величайшей поспешностью. Сами они скакали впереди главной колонны. За ними неслись батарейные

роты, рассадив людей по ящикам, лафетам и лошадям. Тучи пехоты, распустив знамена, с оглушительным "ура" бежали в огонь. Войска уже миновали батарею Раевского и находились против Шевардинского ре-дута, когда передние части с изумлением увидели Багратиона. Впечатление было так страшно, что бешеная скачка артиллерийских рот и яростный бег пехоты с размаху замерли на месте, и вся грозная, тяжелая лавина многих тысяч людей застопорилась за неподвижной стеной головный частей.

Глухой шум пронесся над войсками. Не многие могли видеть князя Петра, но о великом несчастье русской армии сразу узнали все.

- Les troupes restent sans chef et sans ordres{109} - тихо сказал Беннигсен Толю и, повернувшись к войскам, скомандовал: - Смирно!

Толь, бледный, снял шляпу. И войска, как по сигналу "на молитву", тоже сняли кивера. Над морем обнаженных голов реяли, расплескиваясь по ветру, полковые знамена. Но вот и знамена начали медленно опускаться вниз, под гулкую дробь отбивавших "поход" барабанов. Русская армия прощалась с вождем, склоняя перед ним святыню своего величия и своей славы...

Глава сорок третья

"Ее высокоблагородию Анне Дмитриевне Муратовой, в г. Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Леццано.

Netty, дорогая сестра моя! Никогда не случалось мне приступать к письму с таким стесненным духом, с такой одышкой мысли и чувства, как сейчас. Впечатлений больше, чем слов! Они так величественны, что ни в каком лексиконе не найдется для них словесного подобия! Теперь я не сомневаюсь, люди могут пережить все, а поведать лишь кое-что, и главное из пережитого умирает вместе с ними...

В Петербурге, конечно, уже знают о великой битве на бородинских полях. Всю первую половину дня двадцать шестого августа я не выходил из этого ада! Что это было! Вот уже и не хватает слов. Мы бились так, будто каждый собой отстаивал победу. Мы и враги наши так бились, что армии расшиблись одна о другую! В этот час испытано все, до чего доблестью может быть возвышен человек. Нет жертв, более достойных, нежели те, которые принесены нами любви к отечеству. Его защите мы послужили презрением к смерти, терпением, твердостью, и овеялись бессмертною славой бородинские поля!..

...Мой друг и отец, любимый начальник мой, был ранен в начале двенадцатого часа. Я задыхался от горя, сопровождая его с

поля сражения на перевязочный пункт. Дорога за деревней Семеновской, близ которой мы сражались, была завалена подбитыми орудиями и ящиками, лазаретными фурами и сотнями повозок. Одних раненых тащили на носилках, другие шли сами. Их тут же размещали по фурам. Повсюду лежали трупы, вынесенные сюда еще в начале дела.

Легче пробыть шесть часов в бою, нежели шесть минут на перевязочном пункте. Повсюду лужи крови, то красной и теплой, то черной и уже застывающей. Тысячи стонов поднимаются к небу. Лекаря работают, сбросив сюртуки, подвязав передники и засучив рукава до локтей. Воздух кажется кислым, соединение запахов крови и пороховой гари придает ему уксусный вкус...

Почти следом за князем на пункт принесли раненого пулей в грудь начальника штаба Второй армии графа Сен-При. Он был в сознании и даже показывал мне дырку на мундире и самую свою рану. Она не тяжела и не мучительна, но вызвала большое истечение крови и оттого - слабость. Услышав голос Сен-При, мой князь открыл глаза и спросил тихо-тихо:

- Кто командует на левом фланге?

- Генерал Коновницын, - отвечал граф, - временно.

- А кто принимает команду?

- Дохтуров.

Князь вздохнул и вымолвил погромче:

- Слава богу! Москва спасена! Потом опять тихо:

- Ты ранен, граф? Честно служишь России... Спасибо тебе и... прости!

Недоверие князя всегда угнетало Сен-При. Он боролся с этим недоверием, и безуспешно. Кровь оправдала одного и примирила обоих. Я видел слезы благодарной радости, струившиеся из прекрасных голубых глаз Сен-При.

Мадам де Сталь сказала где-то, что человек на диком коне и у кормила ладьи прекрасен. Мне жаль, что эта госпожа не видывала нашего раненого солдата. Вот уж истинно, ничего прекраснее не может быть! На лужайке, под деревом, лекарь трудился возле огромного молодого карабинера. Пуля угодила бедняге в лоб и засела в кости. Он был бледен, но сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. Сперва лекарь пробовал поддеть свинец шилом. Он расковырял карабинеру половину лба, - лоб распух и посинел, - но пули лекарь все же не вынул. Тогда он схватил какой-то другой инструмент.

- А мы ее, брат, выпилим, выпилим, - повторял он с величайшим хладнокровием.

Кость скрипела, пила гнулась, пуля сидела на месте. Из огромных, широко раскрытых глаз карабинера катились слезы, но

ни один мускул не дрогнул на его лице. Наконец лекарь устал, покраснел, вспотел и с негодованием швырнул свою машинку.

- Что ж, брат, делать? Отдохни... После еще примемся...

Мученик встал и вежливо поблагодарил мучителя.

- Ат, нехай, пан лекарь, останется... И со свинчаткой не сгину...

Пошел и лег в тени, накрывшись шинелью. Я спросил прозвище этого героя. Мне сказали: Старынчук. И добавили целую повесть. Я кое-что вспомнил и кое-что сделал. Вероятно, на карабинере уже висит Георгий.

Лекаря осмотрели страшную рану моего князя. Несмотря на адскую боль, которой сопровождались эти жестокие манипуляции, он ни разу не крикнул, только раскусил янтарь у чубука. Лекаря были единогласны: если не отнять ногу под коленом - антонов огонь неизбежен. Когда сказали об этом князю, он гневно повел глазами.

- Не дам! Без ноги - не жизнь мне! И лекаря отступились, зная, как настойчив князь и как неукротим в гневе нрав его.

До самого вечера с невыразимой жадностью ловили мы с Голицыным слухи с бородинского поля и некоторые передавали князю, а некоторые утаивали.

Так, после полудня, слышно стало об атаках маршала Нея на деревню Семеновскую, о том, как славно отбивались от французских кирасир Измайловский, Литовский и Финляндский гвардейские полки, о гигантских боях, огневом и конном, о блистательном отступлении генерала Коновницына за деревню. Вскоре потом достигли до нас и такие слухи, что батарея Раевского взята французами, но случившимся поблизости генералом Ермоловым отобрана обратно вместе с генералом их Бонами. При деле этом, неимоверном по отважной предприимчивости Ермолова и беззаветному мужеству войск, погиб молодой начальник артиллерии Первой армии граф Кутайсов, цвет наших генералов, надежда и будущая слава отечества. Конь его вернулся без всадника, с дымившимся от крови седлом. Мог ли не скрыть я горькую новость эту от моего князя? Зато об атаке Платова на левый фланг французов и о том, как заколебались они под угрозой казачьих пик, донес подробно. И имел утешение уловить слабый смешок и радостный шепот:

- Браво!

О дальнейшем узнали мы уже по дороге в Можайск. Окончательная потеря батареи Раевского и достойные бессмертной памяти контратаки гвардейской кавалерии сделались известными на полпути. И тогда же достигло до нас повеление, отданное фельдмаршалом армии: отступать.

Трудно представить себе картину более грустную, чем та, которую нашли мы между Бородином и Можайском. Артиллерия скакала в несколько рядов по большой дороге на лошадях, покрытых пылью и пеной. Пехотные колонны обгоняли одна другую. Тысячи людей с разноцветными воротниками на мундирах, с изнуренными и окровавленными лицами искали свои полки. Кавалеристы еле держались на седлах. Вьюки, обозы, бесконечная нить повозок с ранеными - все это теснилось и мялось, медленно двигаясь вперед нестройной толпой. Общее уныние после самых радужных надежд, мрачная тишина после бородинского грома, тупое равнодушие после торжественных ощущений, потрясающих душу, - вот что царило на этом пути. Небо было серо, темно. И мелкий, редкий дождь как бы оплакивал русское горе.

Кругом Можайска и в самом городе, на площадях и на улицах, горели огни. Около них сидели и лежали раненые. Вопли, стоны и брань наполняли собой холодный вечерний воздух. Экипажи, фургоны с амуницией, телеги с хлебом и припасами, вьюки с маркитантским скарбом двигались по всем переулкам. Можно было подумать, что в городе ярмарка. Мы остановились в трактире, где был ужасный беспорядок: на кухне, на бильярде, под бильярдом - везде лежали раненые. Их хотели убрать, князь не позволил. Всю ночь он не спал и даже lie закрывал глаз. Но не поручусь, видел ли он то, на что смотрел с таким прилежным вниманием. У него начинался жар. Однако бреда не было. Он молчал, а я и Голицын сидели у его постели, с нетерпением ожидая утра. На заре в Можайск начал втягиваться огромный обоз с ранеными. За ним-то, собственно, и шла армия. До сих пор мы ехали в большой дорожной коляске. Теперь нам подали закрытую карету.

Был полдень, когда мы въехали в Москву. На заставе, вместо обычного многолюдного военного караула, стояло несколько инвалидов-сторожей да мужиков из милиции, в казакинах из грубого серого сукна и с медными крестами на шапках. Улицы были пустынны. Ставни домов и большая часть ворот заколочены. В окнах не виднелось ни души. Из города к заставе тянулись и военные фуры, и подводы с ранеными, и частные экипажи - кареты, дормезы, коляски. Обыватели ехали также на возах, а то и просто шли пешком, с котомками на плечах. Вскоре карету нашу обступил народ. Заглядывая в нее и видя бледное, полубесчувственное лицо князя, женщины ахали и рыдали, мужчины кляли французов. Я опустил занавески. Так мы добрались до Пресни, где и остановились наконец в пустом доме князей Грузинских.

Дорога от Можайска до Москвы - грунтовая. Ее окаймляют высокие валы с крутыми откосами, поэтому в мокрую погоду она чрезвычайно грязна и до крайности беспокойна. Этот тяжелый переезд ужасно растревожил рану моего князя. Жар усилился. Он начал стонать от боли и почасту забываться. Дом, в котором стояли мы, большой, деревянный, со множествам обширных и удобных комнат, был битком набит известнейшими московскими докторами. Повсюду виднелись тазы, рукомойники, бинты, корпия и хирургические инструменты. Доктора имели такой вид, будто шушукались непосредственно со смертью. Один из них, знаменитый хирург, так медленно говорил, что между двумя его фразами можно было бы, кажется, прочитать страницу нового романа. Но ноги и руки, по слухам, ампутировал с изумительной быстротой. Этот прославленный Гиппократ объявил, что антонов огонь и кончина моего князя неизбежны, если тотчас не отнять нижнюю часть ноги. Другой знаменитый лекарь, во фраке и серых брюках, с немецкой фарфоровой трубкой в зубах, согласился. Прочие не смели спорить. К несчастью, в это самое время на краях раны появились прыщики. Лекаря велели присыпать их порошком из квасцов, от этого поднялись в ноге жесточайшие боли. Чтобы унять их, князю поставили мушки. Ему стало худо.

Из армии беспрестанно приезжали вестовые. Чтобы не волновать князя, мы с Голицыным решили не пускать их в дом и принимать на крыльце. Между тем привозимые ими известия были очень важны, так как от московского генерал-губернатора графа Ростопчина мы никак не могли добиться толковых и сколько-нибудь точных сведений. Он очень остроумный и разговорчивый человек, но скрытность и лукавство его не имеют предела. Должны же мы были знать, какая именно и когда угрожает Москве опасность! Утром тридцать первого августа меня вызвали к вестовому, только что прискакавшему из армии. Я увидел странного человека, совершенно заросшего волосами, с маленькими глазками и ястребиным носом. Левая рука была подвязана, половина лица обмотана бинтом через голову, шапка сдвинута на лоб. Он сидел на длинношерстом донском маштаке. Чепрак под седлом лежал криво, путлица и уздечка были скреплены веревочками.

- Кто ты такой? - спросил я.

- Хорунжий войска донского Кузьма Ивлев Ворожейкин, - отвечал он. Прислан из партизанского отряда подполковника Давыдова с грамотой. Очень Денис Васильевич в горе... О князе слезы льют. Да и я... грешным делом...

Тут хорунжий разрыдался так по-детски и так неудержимо, что в груди моей тоже стало тесно от сдавленных слез. Я

прочитал письмо Давыдова и наскоро скропал ответ.

- Передайте, господин хорунжий.

Казалось бы, все. Но казак не уезжал. Он достал из-за пазухи крохотный засаленный полотняный мешочек. Несмотря на всю свою волосатость, физиономия его явственно изобразила благоговейное смущение. Он перекрестился, пошептал что-то над мешочком, поцеловал его и протянул мне.

-- К ранке... прикласть... Провалиться скрозь землю, коли жар тотчас не сойдет! Господин адъютант, будьте милостивы, примите-с!..

- Да что это такое?

- Ладанка... С земли донской пыль... Всю боль уймет... прочь сымет! Сделайте милость! Отцы, деды знали... Уж... без отмены так! Ваше благородие!..

От волнения он забыл, что и сам - офицер. И опять по страшному, дикому лицу его покатились обильные слезы.

- Знает вас князь?

- Бог весть, вспомнит ли... Ворожейкин я, Кузьма Ивлев... Тот, что господина Муратова, по несчастью, сгубил.

Давыдов писал, что решено Москву сдать. Итак, надо было ехать. Куда? Андрей Голицын, который, при известном своем легкомыслии, исполнен, однако, глубочайшей горести, предложил везти князя к своим родителям в село Симы, под Владимир. Отец его, князь Борис Андреевич, начальствует ополчением трех губерний и потому не дома, а скачет по своим областям. Но княгиня Анна Александровна, родная тетушка моего князя, в Симах. Приют этот и недалек, и от опасности уединен, и спокоен, и в заботах недостатка не будет. К тому же в немногих верстах от Сим - село Андреевское, имение графа Михаилы Семеновича Воронцова. По чрезвычайному богатству своему он учредил там огромный лазарет с лучшими лекарями и всеми прочими лечебными способами и средствами. Сам Воронцов рану свою в Андреевском пользует и графа Сен-При к себе туда же увез. Итак, проект Андрея Голицына показался мне единственно разумным из всего, о чем помышлять было бы можно. И мы решились двигаться в Симы, скрыв от князя бедственную причину бегства.

Первого сентября близ полудня открыл он истомленные лихорадкой и муками глаза. Я подал ему на тарелочке белый бисквит и стакан с водой. Он сделал несколько глотков и оживился. Не помню, какие резоны к немедленному выезду ухитрились мы с Голицыным представить ему. Это было вдохновение, отчаянием рожденное! Он согласился. Мы поскакали в четырехместной карете, запряженной шестью

лошадьми, с выносными, форейтором и двумя лакеями на запятках. На улицах было еще пустее, нежели в день нашего прибытия в Москву. Простолюдины сходились кучками, тревожно расспрашивали друг друга и затем шли каждый в свою сторону. Иногда завязывались и долгие разговоры. Толковали о Бородинском сражении, о том, что войска наши спешат прикрыть Москву, что под городом будет еще битва. И они, вооружившись кто чем мог, намеревались в ней участвовать. Ни полиции, ни казачьих разъездов я нигде не заметил. Когда мы проезжали через заставу, князь сделал мне знак. Я наклонился.

- Алеша, - прошептал он, - напрасно везешь меня, душа...

- Почему, ваше сиятельство?

- Должен погибнуть я, ибо и отечество мое погибает.

Начинало смеркаться, когда Голицын и я разглядели через заднее окошко кареты грозный феномен. Над Москвой виднелись не то облака, не то тучи. Постепенно расползаясь по небу, они меняли вид и густели с каждой минутой. Мы с изумлением и ужасом посмотрели друг на друга, не смея обменяться предположениями. Темнело. Облака розовели, краснели, принимали багровый оттенок и, наконец, слились в огромное зарево, сквозь которое прорывались кое-где гигантские столбы пламени. Море огня разливалось по горизонту, за которым лежала Москва.

Я не знаю, что может быть безотраднее и страшнее этой ночи. Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? Давно ли? И где это все и когда возвратится? Темная ночь окружает нас, мы бредем и сами не знаем куда. Где блеснут над нами лучи утра, когда наступит оно? Наступит ли? Много, много раз уже было сердце мое обмануто надеждой. И все же...

Будем мстить! В святом чувстве мщения - источник нашей славы и будущего величия. Наперекор всему, что совершается кругом меня, говорю: зарево Смоленска и Москвы рано или поздно осветит наш путь к Парижу. Война делается народной. Не значит ли это, что бесполезны все злодейства врага, что все преступления его найдут воздаяние? Минута избавления близка. Удар будет отражен и падет на голову виновного. Самый след нашествия иноплеменников мы смоем кровью их...

А Москва? Она восстанет из пепла, прекрасная, богатая, навеки озаренная новой славой великих жертв. Она не забудет дней скорби и запустения, чтобы гордиться ими. Я понял: пожар ее - дело немногих, но мысль о нем принадлежит всем!

Месть, сестра моя! Месть!

Твой А. О. 4 сентября 1812 г. Станция Покров".

P.S. Какой-то раненый кавалергардский офицер на станции

Платове поведал мне новость... Вышний суд совершается не только в судьбах мира, но и на путях моего ничтожества. Клингфер пал жертвой одного из последних выстрелов Бородина. Я - жив, он - мертв. Поединок наш кончен. Но не думай, ради всего святого, не думай, что я благодарен небу за такой исход. Заклинаю тебя, не думай! Что в моей душе, я и сам не пойму. Слов нет, а тоска безмерна. Ах, если бы повидаться мне с Травиным!.."

Глава сорок четвертая

До Сим оставалось верст десять - двенадцать, а дорога все еще была неровной и корнистой. Она пробиралась дремучим бором, где деревья так плотно теснились друг к другу и были так высоки, что даже и в ясный полдень мрак висел над дорогой. Глубокая тишина прерывалась только голосами птиц, да от времени до времени ветер пробегал по вершинам берез и сосен, качая их, и шумел ими в вышине.

Однако под самыми Симами деревья начали редеть. И вдруг, повернув сразу в нескольких местах, ясно обозначилась впереди леса речка. Она огибала широкую долину с деревней, усадьбу и около усадьбы - парк и пруд, опоясанный стеной тростника. Белый ковер водяных лилий, недвижно распластавших по сонной поверхности пруда свои круглые листья, стлался за тростником. Солнце садилось. Сумерки застилали окрестность. От земли поднимался легкий туман. Справа от дороги мутно поблескивала за валом сажалка. Два ряда ив тянулись по валу, пристально смотрясь в воду. У моста с фонарями их сменяли березы. Карета долго катила по этой широкой четырехрядной аллее, тяжело раскачиваясь на рессорах и глухо погромыхивая колесами. Когда она остановилась у подъезда, было уже совсем темно. Из растворенных настежь окон верхнего этажа падал на террасу яркий свет ламп.

Сперва выбежали лакеи в зеленых фраках. Потом - чинные горничные в темных платьях, с большими белыми чепцами на головах. И, наконец, с непривычной быстротой шагая по ступенькам высокой лестницы, судорожно держась одной рукой за мраморные перила, а другой закрывая горбоносое темное лицо, показалась княгиня Анна Александровна. Ее походка была тверда, но на руку поддерживавшего ее Карелина одна горячая слеза падала следом за другой.

Как случилось, что все обитатели этого огромного дома одновременно узнали о великом несчастье, остановившемся у крыльца? Ведь несчастье не успело даже и постучаться в дверь? Огромная толпа людей окружила карету. "Принц Макарелли" прижимал к губам руки матери. Она изредка кивала ему головой,

как будто издали, хотя стояла рядом. Ее глаза были устремлены на то темное и длинное, что выносили из кареты.

- Князь Петр! - вдруг вскрикнула она тем гортанным, резким голосом, каким кричат женщины на Востоке, когда отчаяние и горе надрывают их души. Князь Петр!

И медленно опустилась на руки сына. Багратиона внесли в комнату, большую и полутемную. Тишина ее нарушалась торопливыми, непонятными словами, беззвучными, как речь мертвого, - бредом Багратиона. Князю Петру чудилось, будто кто-то слепой шел поодаль, спотыкаясь и руками ощупывая дорогу. "Ага! - догадывался князь Петр. - Это идет жизнь!" Чей-то равнодушный и черствый взгляд упирался в него безжалостно и угрюмо. "Это судьба моя смотрит на меня!" Но около него стояла добрая старушка мать. Он знал, что у нее много детей, что обо всех она должна позаботиться и что вот и для него отыскалась у нее время, Добрая, добрая старушка!.. "Кто же она?" И он догадывался с тихим удовольствием: "Ба! Да ведь это же моя смерть!.."

Домашний лекарь, в гусарских полусапожках с кисточками, дрожащими руками открывал белые порошки успокоительного - опиум. В тазу варилась цикута для компрессов, благодетельно действующих на раны в течение трех суток. Карелин ускакал в пустом тарантасе в Андреевское за хирургом. В углу комнаты, где бредил Багратион, стояла на коленях маленькая фигурка черноволосого, кудрявого человека. Все тельце его подергивалось в неудержимых рыданиях. Фалды бархатного синего фрака прыгали по паркету. Смуглое лицо искажалось жестокими гримасами сердечной муки.

- Кто вы? - спросил его Олферьев.

- Батталья, - ответил маленький человечек, - слуга его сиятельства... Ах, сударь, и в день погребения Христа я не страдал бы так, как сегодня!..

Прошло трое суток. За это время многое изменилось в состоянии Багратиона к лучшему. С ноги исчезли темные пятна, угрожавшие антоновым огнем, прекратились мучительные боли, спал жар. И андреевские лекаря уже не шептались больше по углам с испуганным и таинственным видом. Слово "ампутация" не произносилось ими. Его заменили другие слова: лубки, костыли, свежий воздух...

Голицынский кабинет, в котором лежал князь Петр Иванович, выходил всеми четырьмя окнами в сад и уютным видом своим веселил душу. Дни наступили отличные. Солнце хоть и плохо грело, но светило ярко. Холодные лучи его играючи падали на гору, закрывавшую горизонт.

Тень от горы причудливым узором ложилась на луга и деревья, оставляя кое-где их верхушки освещенными. Между солнцем и окнами кабинета покачивались столетние сосны, и от этого пятна солнечного света непрерывно бежали по траве, а в кабинете становилось то светло, то сумрачно. Эта постоянная смена красноватого и голубого оттенков странно действовала на глаза: хотелось закрыть их. И князь Петр почти не открывал глаз. Но он внимательно прислушивался к тому, как шумят деревья, кричат иволги и, особенно, о чем и что говорят люди. Он не задавал никаких вопросов. Однако все в доме знали, что душа его полна одним нетерпеливым и жадным вопросом: Москва? Княгиня Анна Александровна строжайше приказала скрывать от князя Петра судьбу Москвы. О столице говорили со спокойными и довольными лицами: "Ан, обчелся Бонапарт! Тут ему и стоять теперь до зимушки..." Газет раненому не показывали. Редкий день не прикатывали в Симы пять-шесть соседних помещиков - поклониться князю Петру и справиться о его здоровье. Некоторых допускали к нему, но с таким жестким наказом держать язык за зубами, что проговориться они никак не могли.

Олферьев проводил все время у постели князя. Иногда целые часы проходили в молчании. А иногда завязывались долгие, тихие разговоры о самых неожиданных предметах. Война в этих беседах почти не участвовала. К величайшему удивлению Олферьева, Багратион обнаруживал в них небывалую склонность к философствованию. Как ни хорошо знал Олферьев своего князя, но он никогда не подозревал в нем ни интересов, ни познаний, которые вдруг выступили теперь на первый план.

- Скажи-ка, душа, - сказал как-то раз князь Петр, - умен был стародавний мудрец... Этот... Сенека?

- Великого ума был философ, - отвечал адъютант.

- Я вот почему спросил... Вспомнилось... Обмолвился он где-то: человек, дескать, выше богов, ибо не знают боги страданий... Есть у него такое?

- Есть! - поразился Олферьев.

- Вот видишь, душа Алеша... Я и думаю: очень умно Сенека отрезал... А не будь он язычник, не отрезал бы столь умно... Ему бы... - Князь Петр тихо усмехнулся, - ему бы язык отрезали...

Почти не выходил из комнаты раненого и Батталья.

Он служил князю с такой готовностью и беззаветной пре" данностью, что Олферьев искренне полюбил этого маленького, быстрого и ловкого итальянца. Однажды, под вечер ясного дня, когда солнце только что спустилось к вершинам леса, разордевшись тем ярким осенним румянцем, которым трогательно оживляются лица умирающих в чахотке людей, князь

Петр и Батталья остались в кабинете вдвоем. Багратион огляделся и вдруг приподнялся на локте. Глаза его загорелись, щеки порозовели.

- Слушайте, Сильвио... Помните клятву мою - умереть за Россию? Я должен знать... Отвечайте... правду!.. В чьих руках Москва?

Если бы под ногами Батталья лопнул паркет, обнаружив под собою кратер вулкана, извергающего огонь, лаву и пепел, итальянец и тогда не почувствовал бы себя так близко к гибели, как в этот момент. Но и тогда, вероятно, не родилась бы в его голове с такой быстротой мысль об единственном средстве спасения. Он сложил руки, как делают католические патеры в торжественные минуты мессы - ладонями вместе, - и поднял к небу глаза, полные слез.

- Вы знаете, князь, - сказал он, - как твердо я верую в бога. И вот я клянусь... клянусь очами божьими, что Москва у русских. Клянусь...

Князь Петр Иванович уже не лежал, - он почти сидел на постели. Глаза его с жадностью впивались в Батталья. И весь он тянулся к нему в страстном и требовательном движении.

- Ну? Клянешься? Еще!

- Клянусь крестом господним, - с отчаянием говорил Батталья, - русская Москва. Пусть пошлет мне господь самое скверное рождество в этом году... Пусть дьявол наплюет мне в тарелку с бобами... Клянусь ключом апостола Петра!.. Русская!.. Русская!..

- Довольно! - тихо сказал Багратион и упал на полушки. - Спасибо, Сильвио! Нет, не от раны умру я, а... от Москвы!

Батталья стоял, закрыв лицо руками. "Боже! - мысленно восклицал он. Великий боже! Прости меня за то, что я лгу, как пьяный монах..."

Восьмого сентября князь Петр проснулся рано. Он чувствовал себя бодро, нога почти не болела. Лекаря разрешили ему первый опыт: с помощью Олферьева и "принца Макарелли" он взобрался на костыли и сделал несколько прыжков к столу, чтобы за чашкой кофе прочитать и отправить в армию кое-какие служебные бумаги. Ему, привыкшему к непрерывной кипучей деятельности, был тягостен и нуден этот многодневный far niente{110} под скучным пуховым одеялом. Работа и кофе придали свежесть его изнуренному лицу, глаза его заблестели.

- Алеша! - сказал он. - Надумал я нечто. Хочу Дмитрию Сергеевичу Дохтурову писать. Мы с ним всегда в одних помыслах были. Каково-то теперь? Садись, душа, как прежде, и пиши, что говорить стану.

"...Вижу, любезнейший друг мой, что едва ли могли бы мы разбить Наполеона при Бородине наголову. И хорошо, что не случилось того. Успех наш был ровно таков, каким ему быть следовало: не больше, да и не менее. А коли отбросили бы мы Наполеона с бородинского поля, отступил бы он к Днепру. Туда подошли бы к нему корпуса Виктора и Ожеро. А мы, обессиленные кровавой победой, рванулись бы за ним и, подкреплений не дождавшись, кинулись бы по следам. Война бы пошла, как война всякая, а не народная, какова теперь стала. Пользы от того не нахожу, как ты хочешь.

А Бонапарту мало было русскую армию победить при Бородине. Надобно было ему ее вовсе уничтожить. Потому пренебрег он правилами военного искусства, столь хорошо ему знакомого, и пошел бить нас в лоб. Что можно усмотреть в том? Наглость и нахальство, - выше правил стать вздумал. Прямые атаки за новое средство решительного успеха взял. С чего голову трудить, ежели силы его числом своим столько наших превосходнее были... Да ошибся в одном, пентюх: не расчел, что моральным духом мы над ним, как небо над землей..."

Письмо было готово и даже подписано, когда Батталья вбежал и доложил:

- Ваше сиятельство! Государев флигель-адъютант, а с ним граф де Сен-Приест из Андреевского!

Князь Петр не успел ответить. Дверь распахнулась, и в кабинет быстро вошел посланец императора - тот самый полковник с равнодушной ко всему на свете картонной физиономией, который в начале войны приезжал из главной императорской квартиры к Багратиону в город Мир. За ним, опираясь на руку лакея, медленно ступал Сен-При, бледный, худой и оттого казавшийся еще красивее, чем был до своего ранения. Государев флигель-адъютант остановился посредине кабинета и вытянулся перед князем.

- Его императорское величество, всемилостивейший государь...

Багратион хотел подняться с кресла и не смог. Олферьев распечатал пакет, вынул из него большой толстый лист синей бумаги и вручил князю Петру. Это был рескрипт императора, в котором значилось:

"Князь Петр Иванович! С удовольствием внимая о подвигах и усердной службе вашей, весьма опечален я был полученною вами раною, отвлекшею вас на время с поля брани, где присутствие ваше при нынешних военных обстоятельствах столь нужно и полезно. Желаю и надеюсь, что бог подаст вам скорое облегчение для украшения деяний ваших новою честию и славою. Между тем

не в награду заслуг ваших, которая в непродолжительном времени вам доставится, но в некоторое пособие состоянию вашему жалую вам единовременно пятьдесят тысяч рублей.

Пребываю вам благосклонный

Александр".

Багратион поцеловал царскую подпись и положил синий лист бумаги на стол.

- Разум и тело, кровь и душу - все отдаю отечеству и службе его величества, - сказал он и наклонил голову.

Флигель-адъютант жал ему руку, щелкая шпорами и сутулясь совершенно так же, как это делал в подобных случаях император. Сен-При подходил с объятиями. Князь Петр благодарил за поздравления.

- Как же ты быстро, граф-душа, ожил! - говорил он Сен-При. - Что за чудо-сила в людях сидит! Жизнь ползет, карабкается, лезет да прыгает - и все вверх. Вот как будто уж и до вершины добралась. А оттуда, сорвавшись, вниз летит. Это и есть смерть.

- Зачем о смерти, князь, говорить? - весело рассмеялся Сен-При. - Будем лучше похваливать каждый свои костыли...

- Кабы не гнусные эти деревяшки, был бы я в Москве... Кстати, душа Алеша, отправь с нарочным письмо Дохтурову нынче же в Москву-то... Не запамятуй...

- Как в Москву? - с удивлением спросил государев флигель-адъютант. Разве вашему сиятельству...

Олферьев бросился за спинку Багратионова кресла и делал оттуда отчаянные знаки полковнику. Сен-При догадался, он вскочил со стула и поднял обе руки, как бы желая закрыть ими полковнику рот. Но флигель-адъютант только с недоумением пожал плечами и договорил--таки с размеренной и отчетливой ясностью:

- ...не известно, что в Москве французы?

Если бы он даже и не договорил этой фразы, непоправимое все равно свершилось бы. Князь Петр Иванович еще раньше понял все. Несколько мгновений он сидел неподвижно, коричнево-белый, с грозно сверкавшим взором. Потом вскочил. Швырнул в сторону костыли, шатаясь, сделал несколько бешеных скачков по комнате, с яростью ударяя о пол больной ногой, и с глухим воплем, похожим и на стон и на рыдания, рухнул на руки Олферьева, "принца Макарелли" и Сен-При...

Снова Багратион лежал в жару и бреду. А Карелин скакал в Андреевское за лекарями. Государев флигель-адъютант был очень неприятно озабочен приключившимся.

- Почему же никто, сударыня, не предупредил ни меня, ни графа об очень умной уловке, к которой вы прибегли? - с

некоторым раздражением говорил он княгине Анне Александровне. - Может быть, осторожнее было бы, зная беспокойный и нетерпеливый нрав его сиятельства, внушить ему, что ведь и Пожарский некогда выгнал врагов из Москвы, а не отстаивал ее... Я берусь...

- C'est trop tard, colonel{111}! - сказал Сен-При и заплакал.

Бронзовый арап с толстыми губами и белыми бусами на шее вдруг начал водить глазами и качать курчавой головой, а часы, которые он держал в охапке, захрипели, готовясь бить. Другие часы, вделанные в вазу с цветами, третьи - на бюро, четвертые, с курантами, на стене в соседней комнате, и еще какие-то, с флейтами, - все двигали свои маятники, тревожно шипя перед исходом последних минут часа. И вдруг со всех сторон зазвонило, запело, заиграло и пробило один раз. Три бульдога, лежавшие у двери кабинета, зловеще завыли и опрометью бросились по коридору из дома. Это было двенадцатого сентября, когда князь Петр Иванович Багратион умер после долгой и мучительной агонии.

Открывшаяся в ноге гангрена порвала длинные четки боевых дней. Странно, что этот удивительный человек все-таки умер. Ведь он жил так, словно у него было не одно, а тысячи тел, и столько же душ и сердец. И он тратил себя с величайшей щедростью, не задумываясь о конце. Казалось, что можно сделать с этакой огромной жизнью? Кто посмеет? И - кончилась жизнь! Мертвый был холоден, неподвижен, тверд и бледен, как камень под лунными лучами. Величавое спокойствие смерти рассеяло все следы страданий на его лице. Резким чертам князя Петра вернулась их строгая чистота. Каждая из них была выведена и закончена с безукоризненной правильностью. Чудилось, будто черные ресницы трепещут над щеками. Густая шапка черных же, но слегка уже тронутых сединой волос буйным ореолом окружала ясный лоб.

Князь Петр лежал, прибранный и парадный, в пышной зале, обитой крепом. У гроба его застыли часовые. На дворе - почетный караул. Сам покойник ничего не хотел больше от жизни. Он был тих. Зато кругом него царили шум и суматоха. Бегали люди, отдавали какие-то распоряжения... Это всегда так бывает: хлопотливые мятежные заботы о покойнике одолевают тех живых, которые остаются возле него. Эти живые как будто нарочно усложняют свою деятельность, чтобы подчеркнуть этим разницу между ними, способными бегать и распоряжаться, и мертвым, который ни на что подобное уже не способен...

В день смерти Багратиона была настоящая осенняя погода. Сквозь редкие золотистые листья деревьев сверкали в парке

белые стволы берез. Как алмазы, поблескивали на ветвях задержавшиеся в их изгибах капли утреннего тумана. Вербы за домом уже потеряли лист; одна из них, сломанная бурей, лежала на земле. Ветер свистел над безжизненными полями...

Эпилог

Весна 1839 года была поздняя. Хотя апрель подходил к концу, но речки в Симбирской губернии были еще в полном разливе, по ним шла икра и скипевшийся снег, а на полях, по буграм, только-только показывались проталинки. Дули сильные, теплые ветры, перепадали частые дожди, и по вечерам высокие деревенские скворешни звенели от веселых птичьих песен.

Помещик села Верхняя Маза, что в Сызранском уезде, числившийся без должности по кавалерии генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов, стоял у окна и смотрел на почерневшую дорогу. Сегодня, 21 апреля, был почтовый день, и старик с величайшим нетерпением ожидал возвращения посланного на станцию за газетами, журналами и письмами верхового. За двадцать семь лет, прошедших со времени великой войны, очень изменился Давыдов. Седина из пряди надо лбом разбежалась теперь по всей его голове, лицо пожелтело и обрюзгло, стройное, крепкое тело отучнело и обвисло жиром. Но черные глаза все еще сверкали горячо и живо.

Нет, братцы, нет! Полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!..

Это стихотворение свое он так и назвал: "Полусолдат". Уже несколько лет Давыдов почти безвыездно жил в деревне. Запершись в кабинете, среди книжных шкафов и охотничьих трофеев, писал воспоминания, стихи, строчил письма к далеким друзьям да рассказывал детям о славных подвигах своего партизанства. Полевал со сворой гончих за зайцами, ходил с ружьем по дупелям, травил ястребами перепелок. Казалось бы, что лучше этакой привольной, спокойной жизни?.. А Давыдов томился ею, жадно искал забот и тревог и никак не давал старым петербургским знакомым позабыть о себе. Вот уже полтора года, как он обстреливал из своего захолустья настойчивыми письмами Петербург. В августе 1837 года праздновалась четвертьвековая годовщина Бородинского боя. На знаменитом поле собралось множество войск. Император Николай производил им ученья и парады. Затем в течение нескольких дней они маневрировали на местах великой битвы, воспроизводя весь ее грозный ход в примерных атаках и отступлениях. Тогда-то и затеял Давыдов свое предприятие: перенести на Бородинское поле из села Сим,

Владимирской губернии, геройский прах князя Петра Ивановича Багратиона.

Царь был согласен. Никто не спорил. Давным-давно все было решено. Но машина двигалась медленно. Летом этого, 1839 года предполагалось открытие на Бородинском поле монумента. Вот время, удобное для того, чтобы возле памятника своей славы лег навсегда Багратион! А переписка разных казенных мест все тянулась, и не видно было ей конца. Давыдов подстегивал. Он писал в Петербург графу Карлу Федоровичу Толю, - напоминал и требовал содействия. Суровый министр отвечал любезными письмами. И - все. Денис Васильевич пытался расшевелить председателя Государственного совета и Комитета министров князя Ларивона Васильевича Васильчикова, - писал ему. Князь выражал полную готовность сделать все, что нужно. А министерство финансов задерживало отпуск необходимой для перевозки останков суммы. Давыдов обращался к Жуковскому. Василий Андреевич был воспитателем наследника престола, ему ничего не стоило добраться и до самого царя. И он добирался. А военное министерство никак не могло назначить для конвоирования останков подходящую воинскую часть. До открытия памятника оставалось два месяца. Давыдов был в отчаянии. Вот кто двинул бы дело без промедления в ход Ермолов. Но Алексей Петрович уже больше десяти лет находился в отставке и жил в орловской деревне. Не случись несчастья с Олферьевым, был бы он теперь важным человеком, и все бы сделалось в один день, в час один. Но Олферьев, вовлеченный приятелем своим Травиным в декабристский заговор, сгинул вместе с ним в Сибири...

Давыдову было скверно - тоскливо, грустно, досадно. От обиды за князя Петра и за себя болела грудь. Кашель обжигал горло. Какие-то камни ворочались в пояснице. Праздное горе томило, усталь от безделья одолевала.

- Живешь - будто с холоду стынешь, - шептал он, вглядываясь через окно на дорогу, - а как вовсе застынешь, тут тебе и конец!

Под ложечкой засосало, бока онемели, кашель взорвался, как порох. Стало душно, тяжело. Денис Васильевич хотел было окрикнуть казачка, чтобы раскурил и подал трубку, но было трудно крикнуть. Он махнул рукой в изнеможении и, запахнув на себе старую шинель, - она заменяла ему халат, - грузно осел в креслах перед камином.

Старая, полуслепая лошадь шла по знакомому проселку размашистой рысью, широко разбрасывая грязь из-под копыт. На ней сидел огромный седой всадник в выцветшей гусарской фуражке и хриплым басом мурлыкал:

Ой, у поли могила
З витром гомонила:
- Не вий, витре, на мене,
Щоб я не чорнила...

Циома ударял своего коня плеткой, щупал сумку с книгами и пакетами, которые вез генералу с почтовой станции, и запевал снова. Привык он к немудрому своему делу при генерале, с которым не расставался все двадцать семь лет. К самому генералу привязался так, что и помыслить не мог, как бы без него день прожить. А с Верхней Мазой так сдружился, что вспоминал о родине лишь в песнях. И в старости Циома остался смешлив. Только не прыскал ни с того ни с сего и не хохотал громовым голосом, а так себе - фыркал, как лошадь, и посмеивался. Так смеялся он и теперь, поглядывая по сторонам. Дед-рыбалка перебирает сеть у камыша и шамкает:

- Здравствуй, служба!

Циома вежливо отдает деду честь и смеется. Крестьянские ребятишки у речки ладят верши к бучилам для скорой ловли раков.

- Здравия желаем, дядюшка Циома! - кричат они хором.

Гусар подмигивает им с веселой усмешкой. За плетневой огорожей на плотине шумит мельница. Под ветлами, склоненными над прудом, стоят возы с мешками. Мужики почтительно кланяются.

- Здорово, хлопцы! - гаркает Циома, и усы его встают дыбом от смеха.

У господского дома старый гусар на полшага подобрал разошедшегося коня, быстро спрыгнул наземь и, разминаясь на ходу, поспешно пошел через черное крыльцо к генералу...

- Вот оно! Слава богу!

Начальник штаба шестого пехотного корпуса рапортом доносил Давыдову, что для конвоирования тела князя Багратиона назначен Киевский гусарский полк. Суммы на покрытие расходов по перенесению праха отпущены из военного министерства в распоряжение Давыдова. На генерала возложена честь начальствования церемонией. Полк должен выступить шестого июля из города Юрьева-Польского и, с пятью дневками, прибыть в Можайск двадцать третьего июля, пройдя триста одиннадцать верст маршем при семнадцати переходах...

Слезы брызнули из глаз Давыдова и покатились по желтым, опухшим щекам.

- Князь! Любимый герой, благодетель мой вечный! - воскликнул он. - Чем иным верность и память свою может мертвому смертный оказать? Из всех эпитафий, какие когда-либо

были начертаны на славных военных могилах, нет красноречивее фермопильской: "Прохожий, скажи нашей родине, что мы умерли, сражаясь за нее". Эти слова...

Он поднялся с кресла и потянулся за пером. Но рука его упала на бювар, а сам он, медленно оседая вниз, повалился боком на подлокотник. Хрипя и страшно выпучив внезапно помутневшие глаза, Денис Васильевич несколько раз вздохнул судорожно и бурно, потом стал дышать все медленнее и тише. Это был удар. За ним шла смерть.

1942-1943

Примечания

{1} Новый стиль, разница со старым на двенадцать дней - 24/12 июня 1812 года.

{2} Грубая солдатская шутка. Объевшаяся ячменем лошадь дрожит от болей в животе и покрывается белой пеной.

{3} Кляштор - монастырь в Польше.

{4} На пакетах со спешной курьерской почтой сургучные печати накладывались поверх двух перекрещенных перьев.

{5} Венский салон княгини Е. П. Багратион, рожд. графини Скавронской, был центром антирусских политических интриг в Европе. Тесть Наполеона австрийский император Франц I.

{6} Вторая (лат.).

{7} Комета не сходила с неба до поздней осени 1811 года.

{8} Из гражданских чиновников.

{9} Военный министр М. Б. Барклай де Толли был вместе с тем и главнокомандующим Первой армией. Его приказания были обязательны для Багратиона.

{10} Мундир без фалд, надевался под сюртук.

{11} Это ужасно! (нем.)

{12} Всему свету (лат.).

{13} Я их предупреждал. Но они не пожелали следовать моим советам и теперь наказаны (фран.).

{14} Центр обширной, многосторонней тактической операции (французское слово).

{15} Атаман донского казачьего войска М. И. Платов.

{16} И. В. Васильчиков был впоследствии (при Николае I) председателем Государственного совета, то есть занимал высшую должность в империи.

{17} Казачьи генералы.

{18} Я умираю от жажды! (франц.).

{19} Это - чудо! (франц.)

{20} Мне кажется, что я умираю от жажды! (франц.)

{21} Убит (или ранен) казаком (выражение 1812 года). О, несправедливая судьба! (франц.)

{22} Я никогда не видел его таким прекрасным, как в эту минуту! (франц.)

{23} Но они ответят за жизнь бедняги Муратова! (франц.)

{24} Болтовня (от франц. causerie).

{25} Именно так и случилось: восьмого июля генерал Бордесуль, командовавший авангардами Даву, захватил Могилев.

{26} Помощь.

{27} Дворянин.

{28} Кисти.

{29} Палочный пикет - место, где подвергали солдат телесным наказаниям. Значительная часть офицерства считала дежурство на палочных пикетах позором для себя.

{30} Боже! Иисус, Мария! Теперь все - к черту! (франц.)

{31}Он хочет казаться сумасшедшим - вот канальство! (франц.)

{32}Боже! Война проиграна, если такие негодяи, как Пьон де Комб, будут водить наши храбрые войска! (франц.)

{33} Господи, о чем они мне толкуют, когда я хочу есть! (франц.)

{34} Французы называли Платова не атаманом, а гетманом.

{35} Орден Андрея Первозванного был высшим в Российской империи орденом.

{36} Квакеры - религиозная секта в Америке. Сухой формализм воззрений отличительное качество квакеров.

{37} Кроки - топографический набросок местности.

{38} Е. Ф. Канкрин - впоследствии министр финансов.

{39} Одна лишь добродетель, а не происхождение различает людей (франц.).

{40} Выпить.

{41} Это был день именин императрицы Марии Федоровны, матери Александра I.

{42} Стрелковые (егерские) роты в гренадерских полках назывались карабинерными.

{43} Калита - кошель.

{44} Кулак.

{45} Вилье - знаменитый хирург того времени.

{46} Если господин фельдфебель еще даст манерку с вином - скажу спасибо... (белорусск.)

{47} Я бы им сто бед с лишним причинил! (белорусск.)

{48} Начальником сводной гренадерской дивизии Первой армии был родственник императора Александра, принц Карл Мекленбургский.

{49} Эполеты были отняты у провиантских чиновников Александром I незадолго до войны 1812 года в наказание за

хищничество и казнокрадство.

{50} Что ты думаешь об этих сумасшедших? (франц.)

{51} Чтобы разобраться, надо выслушать обоих. Посмотрим, что там такое (франц.).

{52} Ученики Аристотеля, имевшие обыкновение прохаживаться во время философских бесед и потому так названные.

{53} Театральные фокусы (франц.).

{54} Ташка - гусарская сумка.

{55} Черт и дьявол! Ну и хороши же вы, однако! (нем.)

{56} В данном случае - место встречи для поединка.

{57} Кознями (от франц. chicanes).

{58} Трудно поверить, но это так! (нем.)

{59} Греку нет веры! (латинская поговорка)

{60} Армия жаждет сойтись со своими врагами (франц.).

{61} Черт возьми!

{62} Сдавайтесь! Вы наш пленник! (франц.)

{63} Господин! У меня отняли мою почетную саблю! Умоляю! (франц.)

{64} Сам бог внушил мне эту мысль (франц.).

{65} Это - он (франц.).

{66} Насмешка никогда никого не убивала, и в особенности тех, кто этого по преимуществу заслуживал (франц.).

{67} Зачем же вы служите таким презренным личностям, как Наполеон? (франц.)

{68} Я никогда не думал, что узость и недальновидаость этого человека могут доходить до такой степени! (франц.)

{69} Я только что был свидетелем чувств наших прекрасных крестьян. Самоотречение, которое они проявляют в этих обстоятельствах, поистине достойно восхищения... (франц.)

{70} Седельные кобуры. - Ред.

{71} Кончайте (нем.).

{72} Не останемся здесь! (нем.)

{73} Поручите мне, я его. пройму! (франц.)

{74} Я сделал, что мог... Кто может, пусть сделает лучше! (лат.)

{75} Может ли быть, чтобы вы предлагали это серьезно? Вероятно это шутка, но она неуместна. Мы - офицеры... (франц.)

{76} Даже в шутках надо сохранять равновесие между слишком и почти (франц.).

{77} Солдат из обоза.

{78} Исковерканное латинское "Salve!" - "Будь здоров!".

{79} В этой стране ничего нельзя делать с толком (нем.).

{80} Вы должны помешать мне сделать глупость (франц.).

{81} Прекрасная страна, где можно предпринять все, что угодно (нем.).

{82}Это сильная позиция! (нем.)

{83} Когда нет позиции - ее надо создать. В этом мое ремесло. Попробуйте так же хорошо выполнять ваше дело (франц.).

{84} Это ужасно! (нем.)

{85} По какому случаю вы здесь, князь? (франц.)

{86} Старинное название младшего офицерского чина.

{87} Прицельные приспособления в артиллерии. Тогда употреблялись очень несовершенные "кабановские" (по фамилии изобретателя).

{88} Ровно, прямо, и один, как все! (нем.)

{89} Места сражений 1805 года.

{90} Полковники при Екатерине II очень часто выходили в отставку с бригадирским чином - "дюжинами". Отсюда - "дюжинные брига

{91} Будем работать, полковник (франц.).

{92} Сдерживаться - значит поднимать себя! (франц.)

{93} Часто на первом месте тускл и незаметен тот, кто блестел бы на втором! (франц.)

{94} О. М. де Рибас - русский адмирал, известный своей хитростью.

{95} Для начала.

{96} Вот где собака зарыта! (нем.)

{97} Ведет - сторожевое охранение.

{98} Будь что будет! (франц.)

{99} Предзнаменование.

{100} Если недостает сил, то похвально по крайней мере желание (лат.).

{101} Вперед! (франц.)

{102} Да здравствует император! (франц.)

{103} Кажется, все здесь командуют... (франц.)

{104} Напротив, генерал, кажется, здесь никто не командует! (франц.)

{105} Дрянь! (франц.)

{106} Багратион... Багратион... Он - в полном отступлении и разброде! Но две тысячи казаков могли бы все исправить (нем.).

{107} Кажется, господин барон, наступила решительная минута...

{108} Идем! Вперед! (франц.)

{109} Войска остаются без вождя и без распоряжений (франц.).

{110} Безделье (итал.).

{111} Слишком поздно, полковник! (франц.)